



И. М. Кокорев

МОСКВА

сороковых
лет



И. П. Кокорев

МОСКВА

СОРОКОВЫХ ГОДОВ

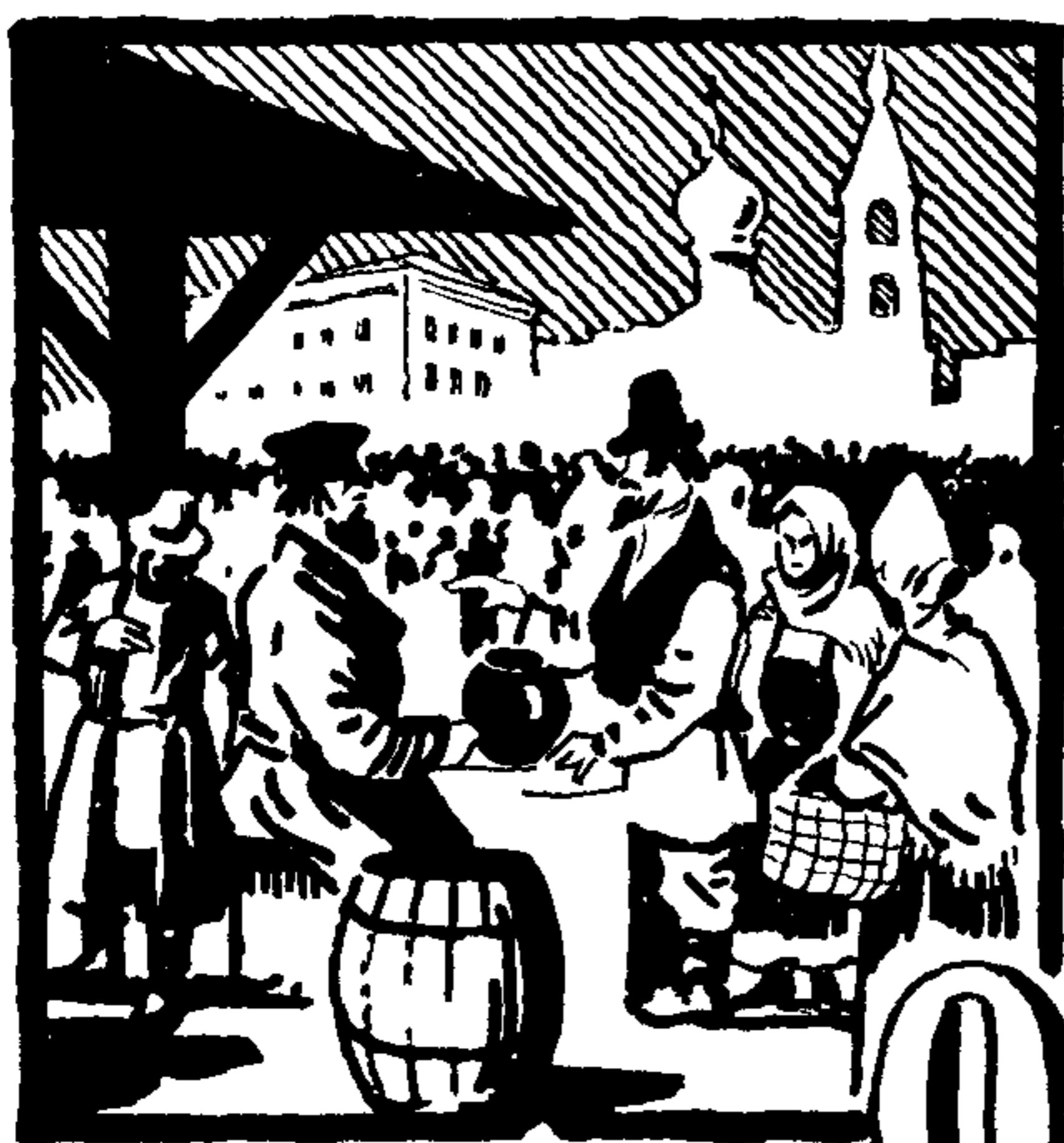
~
*Очерки и повести
о Москве*

XIX ВЕКА



московский рабочий
1959.

Подготовка текста,
послесловие и примечания
Б. В. Смиренского.



ОЧЕРКИ
МОСКВЕ

МЕЛКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В МОСКВЕ



Две промышленности ведутся в Белокаменной: одна — блестящая, казовая, занимающая сотни тысяч рук,двигающая сотнями миллионов рублей, другая, не в обиду ей сказать, грошовая; одна одевает и убирает почти всю Россию, шлет свои изделия к «стенам недвижимого Китая» и в «пламенную Колхиду»; знают о ней и степной хивинец и красноголовый (кизиль-баши) персиянин, другая идет лишь для домашнего обихода, известна одним коренным жителям столицы.

Что же это за промышленность? — спросите вы. — Какие у ней заводы и фабрики, как велик круг ее действий? Да такой, что простым глазом и не рассмотрите, если не вооружитесь наблюдательностью. Я говорю, однако, не о ремесле каком-нибудь, хотя в известных размерах оно и зовется у нас кустарным; нет, речь идет про ту промышленность, которая, отроду не учась ничему, берется почти за все, у которой нет ни фабрик, ни заводов, что, впрочем, не мешает ей быть необходимым чернорабочим для многих из них, которая, наконец, существуя везде, нигде не оставляет прочных, явных следов своего бытия, не подлежит никакому контролю, не упоминается ни в одной статистике. Сознаюсь, что это определение так же неясно, как неуловимо существование мелкой промышленности, но другого, по крайней мере кратко, я не умею сделать, — и для разъяснения предмета считаю необходимым войти в подробности.

Известно, что богатство, счастье и другие редкости в человеческой жизни суть понятия условные. Не трогая многого множество людей полновесных, которым простиительно охать и жаловаться на тяжелые времена, потому что они не в состоянии играть по рублю серебром пуан, как, например, почтенный NN, не входя в разбирательство их сетований, возьмем хоть тот класс, который снискивает себе хлеб в поте лица, — сословие ремесленников. Не легко достается им трудовая копейка, часто говорят они, что перебиваются со дня на день, едва сводят концы с концами; но и их положению завидует не одна тысяча деятелей мелкой промышленности и они богачи в сравнении с этими бездольными тружениками. Как ни будь малоприбыльно мастерство, а все-таки оно прокормит того, у кого в руках; это сознавала и древность, во времена которой на Востоке велся обычай обучать даже владельцев особ какому-нибудь ремеслу, — это сознают и сами мастеровые, надеясь на свои силы вдвое более, чем нужно бы. Но мало ли людей, которые учатся лишь у одной нужды, рады бы работать, да не знают никакого мастерства, хотели бы торговать чем-нибудь, да нет у них ни родового, ни благоприобретенного имущества; есть, правда, невещественный капитал, называемый трудом, да некуда девать его. А между тем ведь надобно жить и нередко с обязанностью поддерживать жизнь других. И вот такие-то бедняги, сознавая, что питаться Христовым именем, когда есть силы, и грешно, и стыдно, принуждены мыкать свой труд то туда, то сюда; принуждены пуститься в мелкую промышленность, где, если судьба не вынесет их на иную дорогу, они каждый день будут отбивать нужду от своего изголовья, пока не успокоятся там, где нет более забот и печалей.

Происхождение деятелей мелкой промышленности очень обыкновенно. Вольноотпущенные, которые имели прежде свои занятия в многочисленной дворне какого-нибудь вельможи старого века — занятия, сделавшиеся никуда непригодными на свободе, при современной скромной жизни, потом люди, которых продолжительное безместье обезнадежило вконец; вдовы, оставшиеся с несколькими детьми на руках и, следовательно, лишенные возможности идти в услужение; иногда мещанин, которого разные таланты совратили с истинного пути; рядом с ним артист, играющий на каком-то неизвестном инструменте; реже всех отставной солдат, почему-либо не нашедший себе приличного места, — вот почти и все. Разумеется, и здесь нет правила без исключений, и здесь из девяти десятых не попадет в водоворот мелкой промышленности. Зато уж кто попал в него, только успевай повертываться, если не хочешь поссориться с желудком,

берись за все, что ни случится, являйся всюду, где можно пустить в оборот свою сметливость, трудись без усталости и хлопочи до упаду.

Вот хоть бы летом: кто сторожит первое созревание земляники, отыскивает самые ранние грибы для стола лакомок, с рассветом идет в заповедную Останкинскую рощу и, промерив ее целый день, несет дюжину березовиков к прихотнику, у которого шевелятся лишние деньги в кармане, — кто? — мелкая промышленность. Или, месяцами двумя ранее, когда земля только что скинет с себя снежный покров и зазеленеет муравою, — кто собирает молодую крапиву, снить, щавель, кто снабжает тогда московские рынки этими новинками? — все мелкая промышленность.

Вообще, весна да лето — самая прибыльная пора для ее деятельности. Как птица, она ничего не сеет, но при чрезвычайной неутомимости успевает кое-что пожать. Кроме ягод и грибов, мелкая промышленность в это время собирает травы, корни, березовые почки для аптек и травяных лавок; рвет дубовые листья для соленья огурцов; добывает муравьиные яйца для соловьев; удит рыбу, ловит птичек; в Троицын день вяжет букеты цветов, а на подходе к осени заготавливает травяные венички для чищения платья. Да всего, что делает она, пользуясь правом собирать дань с окрестностей Москвы, и не перечтешь. Дóлжно, однако, заметить, что цивилизация лишила ее двух постоянных отраслей летнего дохода: до изобретения фосфорных спичек мелкая промышленность собирала в лесах трут, запасалась кремнями, делала нехитрые серные спички и снабжала этими товарами по крайней мере половину столичных хозяек.

Зато уж одного занятия мелкой промышленности, составляющего цвет ее действий, не отобьет у нее никакая цивилизация, потому что занятие это касается предмета первой важности для москвичей — чаепития. В этом случае низкий поклон ей, потому что она делает дела, достойные удивления, и здесь не страшно для нее никакое постороннее соперничество.

В праздник, в знойный полдень, когда истома одолевает и ум и тело, пойдите в какое-нибудь из московских предместий; здесь вы наверно встретите не одну группу вроде следующей: пожилая женщина несет объемистый самовар, мужчина — в одной руке ведро, в другой кулек с углями; двое детей тоже идут не порожняком: у кого бутылка с молоком, узелок с чашками, у кого скамеечка или домашний запас пищи. И без моего объяснения вы догадаетесь, что это мелкая промышленность, целой семьей идущая на заработок. Идет она куда-нибудь за город, на гулянье или на

кладбище, располагает там, на удобном месте, свой скарб, запасается водой и спешит греть самовар для ожидаемых посетителей. Но как и у ней не обходится без состязания,—на гулянье является не один самовар,—то каждый наперерыв старается залучить к себе гостей. Мужчина решительно не умеет исполнять этой важной части самоварной торговли, и гостей зазывает всегда нежный голосок девочки или приветливая речь самой матери. Наконец, явились желанные. Просим милости, господа, садитесь, где заблагорассудится (на что лучше, как не здесь, на зеленой мураве, под тенью развесистой березы); кушайте, сколько душе угодно (особенно если чай и сахар у вас свой, а не владетелей самовара), пейте не спеша, с прохлаждением: за лишний час ведь и вы не постоите за прибавочкой против договорной платы какого-нибудь гривенника; наслаждайтесь невинным сельским удовольствием под отдаленные напевы голосистого хора, под рассказы хозяина, который, как присяжный служивый, не преминет обстоятельно доложить вашему благородию, в каких походах и баталиях был он.

Торговля самоварами (техническое выражение) начинается с первого московского гулянья, в Сокольниках, и продолжается вплоть до самой осени, с наибольшим успехом в Марьиной роще. С чайною машиною (как называют немцы наше изобретение) мелкая промышленность, по пословице, нередко идет «за семь верст киселя есть» и является приятным сюрпризом для любителей чаю там, где ее нельзя было и ожидать, например в Перовой роще, в Петровско-Разумовском. На гуляньях же она торгует иногда (в виде мальчиков) домашним квасом, выручая десять копеек на одну; является с знаменитым райком, заключающим в себе столько чудес и еще более самородных русских прибауток. К сожалению, последний промысел приходит более и более в упадок, и многие остроты раешников сохраняются лишь в преданиях.

При речи о райках, очень естественно, рождается вопрос, почему же мелкая промышленность не возьмется за разные фиглярства, не вступит в компанию с шукарями, не выдумает каких-нибудь представлений? Ответ будет решительный и ясный. «Это дело тальянцев и немцев: они облизьяну выдумали, блох обучили плясать, лошадь часы узнавать, собак муштруют, свинок морских, словно невидаль какую, показывают, шарманкой да волынкой кормятся»; а русский человек, как ни беспечен, совестится быть дармоедом, приобретать хлеб подобными средствами, считает недостойным себя пуститься в комедиянство. Пошутить, сделаться на время паяцом, он (почти всегда из мастеровых) не прочь: только



Охотный ряд. Литография Гедон по рис Дау.



Лубянекая площадь. Литография.

уж всякое слово будет у него с закорючкой, и, простоpletный с виду, он станет казать кукиш хоть из кармана, если нельзя показать прямо. Но это полужанятие идет у него между делом: в свободное время почему ж не позабавить почтенную публику, потешиться самому, да и денюгу притом зашибить. А на завтра, в будни, просим прощенья, по улицам не станем ходить, сядем за работу¹.

Но воротимся к нашей промышленности. Если у кого из ее членов находится столько же оборотливости, сколько есть у ярославцев, тот с рублем, много с двумя, пускается в коммерцию, которая преимущественно процветает также летом. На этом поприще женщины действуют с большим успехом чем мужчины. Горох стручковый и моченый, бобы, копеечные пряники, разные ягоды, продаваемые не на вес, а помадными банками, кусочки арбуза, вареные яблоки, воткнутые на лучинки, и яблочный квас — таковы главные товары их. Не подражая обыкновенным разносчикам, торговки мелкой промышленности не расхаживают с своими товарами по улицам, не выкрикивают их достоинств: для торговли у них есть избранные места, на какой-нибудь бойкой улице, где они усаживаются на целый день, лоток ставят на столбик тротуара, а сами преспокойно вяжут чулок, в ожидании покупателей, большею частью детей, которые несколько раз на дню подбегают к этому магазину соблазнительных лакомств всегда продающихся по таксе, без запроса. — Иные действователи мелкой промышленности выгодно торгуют яствами — то драченою, то студнем, то пирожками; иногда даже забираются с ними в те места, где на десять копеек можно иметь обед из трех блюд — в обжорный ряд или на дворянскую кух-

¹ Понятно, что и тут нельзя без исключений есть и шарманщики из русских, хотя в меньшем числе против иностранцев, — отъявленные забулдыги; встречаются и странствующие комедианты, владимирский мужичок промышляет, вода на цепи почтенного Михайлу Ивановича, господина Толтыгина, а подмосковный иногда посадит глупую речную черепаху в ведро, да и берет по грошу за показ ее. Об одном из подобных исключений, очень счастливым, я не забуду никогда. Лет 15 тому на гуляньях я постоянно встречал старичка со скрилкою, одетого в весьма старомодный фрак. Кроме скрипки, он носил с собою ящик, воткнутый на палку. Бывало, пристроится где-нибудь под деревом, установит палку, заиграет вальс, экосес, из ящика выскочат куклы с бубенчиками, начиут плясать, сойдутся зрители и, по окончании музыки, кладут кто грош, кто пятак в кукольный ящик. Старичок никогда не просил сам платы, игрывал для зевак и даром; но его добродушное лицо, особенно звуки его скрипки, так были знакомы посетителям гуляний, что редкий из слушателей отказывал ему в мелкой монете. После, когда музыканта не стало более видно, я узнал, что он был отставной капельмейстер одного екатерининского вельможи, бедным своим инструментом содержал большую семью и часто любил рассказывать о славном Хандошкине, которого знал коротко

ню¹, и они берут значительный перевес над постоянными торговцами свежестью своих припасов и опрятностью посуды

Да, летом наша промышленность не может пожаловаться на жизнь. Кроме разнообразных занятий, у нее являются и другие подспорья, для собственного существования: то пойдет она на бойню и там даром получит или требуху, или сычуг, а иногда и целого гусака; то, с позволения огородников, на копанных уже грядках нароет свеклы, картофеля, другими овощами запасется тайком; то принесет вязанку хвороста из Сокольников или другой какой рощи. Грибы и разные лесные произрастания у ней тоже свои, не купленные

Но скоро проходит благодатное время. Холодная, дождливая осень как раз въедет на двор, а за нею следом катит и зима с морозом-морозовичем. Средств к жизни становится меньше, а забот больше. Горемычная пора для мелкой промышленности! Счастье, если в семье кого-нибудь из членов ее нет детей мал мала меньше, а все одни подростки, если отец человек находчивый, а мать еще в силах делать что-либо, кроме присмотра за своим небольшим хозяйством тогда нужда не слишком близко подступает к ним. Конечно, и малютки могут достать копейку, собирая кости, стекла, тряпки для старьевщиков, да ведь на сапогах, хоть надевают они их только по праздникам, износят больше; другое дело — взрослая дочь: она может шить что-нибудь, на свадьбу к богатому соседу пойдет и за песни рублей десяток получит, мать берется стирать белье, мотать бумагу для фабрик, ходит домовничать к зажиточным людям; глава семейства трет табак, чинит сапожное старье, делает картонные домики для чижигов и обучает непонятливую птичку подымать ведерко с водой; мастерит немудреные игрушки, преимущественно тележки и качели из теста; ловит черных тараканов для соловьиных охотников; стряпает ваксу; к вербной субботе разукрашивает цветными лоскутками простую вербу; к святой неделе разрисовывает ножичком яйца. Словом, так ли, сяк ли, а промаячится мелкая промышленность бедственные полгода. А там ей опять сполагоря.

Если вы захотите взглянуть на нее поближе, в ее жилище, можете сделать это с совершенно спокойным духом, не приготавливая себя ни к каким потрясающим сердце картинам, ни к каким тайнам. У нас, слава богу, не Париж, а тайн и в заводе нет. Вам придется лишь предпринять путешествие в отдаленные части Москвы, где летом жить так же привольно, как на даче, а осенью можно выкупаться в грязи.

¹ Первое место находится на Солянке, где собираются вольнонаемные чернорабочие, второе — на Площади

вам придется входить в домики самой скромной, чтобы не сказать плачевной, наружности; на дворе этих домиков вы встретите разные принадлежности сельской жизни — стадо гусей, корову, в темных сенях наткнетесь на какой-нибудь хлам, в покоях, может быть, запутаетесь в лабиринте перегородок, и только. Если семья мелкой промышленности занимает каморку, если в ней есть кто-нибудь из женского пола, то в жилище труженической бедности вы найдете не только опрятность, но даже некоторую роскошь: наследственное божие милосердие, нередко в серебряных ризах, как святыня, сохранившаяся в семействе бедняка, несмотря на все тревожения жизни; стенные часы с кукушкой, которая беспорочно служит уже под десять лет; ярко вычищенный самовар, блестящий на самом видном месте; шкаф со стеклами, в котором красуются все ценные мелочи, какие только есть у семьи; наконец, белые занавески у окон, оттененные горшком ветвистой герани. Порядок удивительно как скрывает темные пятна нищеты, а бережливость дает мелкой промышленности средства позволять себе иногда кое-какие удобства и в жизни. Редкий день пройдет без чаю; в праздник непременно являются пироги или какое-нибудь сверхштатное кушанье, но, с другой стороны, в этот же день последний гривенник употребляется на покупку деревянного масла для лампы перед иконами, на свечку в божией церкви, — и ни один нищий не отойдет от окна человека немногим богаче его без посильного подаяния.

Такова мелкая промышленность в Москве. Может быть, вы заметите, что картина ее не полна, что о некоторых действителях я даже не упомянул: на это у меня были уважительные причины. Я хотел изобразить только тех людей, которых «нужда научает и калачи есть». У кого есть одно постоянное занятие, ремесло ли, торговля ли, кто, как говорится, век свекует в одном гнезде, — те не входили в мою раму, ибо об них следует говорить наряду с крупною промышленностью.

Правда, что, кроме той и другой, на свете существует еще одна промышленность, которую я назову темною, потому что она живет и действует в темноте, прячется от добрых людей, словно летучая мышь; и не бойся я оскорбить ваш вкус, мы познакомились бы и с нею. Пошли бы, пожалуй, в дома, где, точно в Ноевом ковчеге, смешано самое разнообразное народонаселение; очутились бы в квартирах, которые отдаются внаймы не по углам и комнатам, а где всякий жилец платит за право занимать известное место на нарах или на полу и где иногда одна комната разделена на два этажа; потом прислушались бы мы к речам здешних обита-

телей, называющих друг друга физиками, механиками, гра-
нилами, а в презрительном смысле — жуликами семикопееч-
ными, мазуриками; узнали бы, что значит лафа, страма, что
такое петух, что за вещь бабки и как кусается шмель¹. Но..
мне уже совестно и за эти подробности. Мало ли есть заня-
тий, о которых знают все, но не говорят вслух, по крайней
мере в порядочном обществе.

Однако все-таки могло случиться, что я «не дописал»
чего-нибудь: так это сделалось не с умыслом, а по незнанию.
Давно живу я в Москве, вырос в ней; но велика она, родная,
и не скоро узнаешь ее вдоль и поперек.

¹ Слова из наречия (жаргона) карманных промышленников: лафа —
пожива, страма — неудача, петух — сторож, бабки — деньги, шмель —
кошелек

ИЗВОЗЧИКИ-ЛИХАЧИ И ВАНЬКИ



«Ну, гnedко, пора и ко двора-рам! Вон и лавочки запирают. Сколько ни стой, ничего не выстоишь. Вишь, какую бог послал погоду и сверху и снизу. А хоть бы плохой седок навернулся: съездить на пяточок, так и будет ровно три четвертака. Что ж, и за это надо благодарить бога! Вчера выездил и больше, до целкового, почесть, хватало, да деньгам-то поклонился. Надо же быть такому греху! Кажись, на что лучше седока: двугривенный в час и езда не дальняя, и на водку тебе будет, коли хорошо поедешь. «Уж заслужу, сударь, — говорю я, — прокачу вашу милость то есть так, что хоть бы на лаковых санках не стыдно». Ладно. Едем мы. Посадил я его на Плющихе, окружили мы Арбат, Тверскую, Петровку. «Стой здесь». — «Слушаю-с». — «Тебе следует за три часа, так ли?» — «Сами извольте знать, — говорю я, — не обидите нашего брата». — «А водку пьешь?» — «Грешный, — говорю, — человек, употребляю». — «Ну, сейчас вышлю деньги, и водки тебе вынесут». А сам и шмыг в трактир. Жду; эдак и с час уже прошло, а я все стою да жду. Кой прах! уж не запомнил ли барин про меня? Дай наведуясь. Вхожу — глядь туда, сюда — нет моего седока «Что тебе, погонялка?» — спрашивают половые. — «Да что, мол, вот так и так, братцы». — «Ну, — говорят зубоскалы, — здесь такого и не сидело: прозевал ты, ворона, ясного сокола: барин-то твой, видно, жулик, улизнул задним ходом на другую улицу» Что тут делать? Подумал, подумал, плюнул, да и поехал. Полавись ты, разбойник, моей трудовой копеечкой; коли много те

бе надо, не разбогатеешь, чтоб тебе ни дна ни крыши, а уж когда-нибудь да наскочишь. «Простофиля ты, — толкует Серега, — настоящего седока сейчас видно по ухватке» Да, поди-кось, влезь ему в душу. На лбу, что ли, у него написано, какой он есть человек: барский ли барин, заправский ли, или просто шишимора? Одет важнительно, с усами, шуба какая, часы, и говорит, как следует барину. Эх, житье, житье ты разбедовое! Ну, гнедко, двигайся, овсеца прибавлю».

Так беседует сам с собой злополучный ванька (он же «бесколodный» и «ночник»), колеся Москву, рыская по улицам и закоулкам, радушно предлагая свои услуги встречному и поперечному, терпеливо вынося насмешливые ответы многих прохожих: «Куда тебе, не довезешь!» А сказать правду, вовсе незаслуженно терпит он такое презрение. Конечно, лошаденка у него взята из-под сохи, сани — самодельщина, сбруя наполовину из веревок, кафтанишка плохой, шапка с нахлобучкой; сам он мешок такой, редко дорос до казенной меры; сидит увальнем, скорчившись в три погибели; едет нога за ногу, трух-трух, беспрестанно понуждая нерьяного своего коня и словом и делом, вожжами и кнутом; среди улицы, в виду всей честной зевающей публики. к невыразимому стыду своего седока, вдруг остановится поправлять шлею или убеждать гнедка, чтобы не артачился и не забывал своей обязанности; случится где ехать в гору, ванька, жалея своего кормильца, слезет с саней, и хоть раскричись седок, пойдет пеший, вожжи в руках, пока минуется трудный путь. Все это так, известно и переизвестно москвичам; но обращали ли они должное внимание на добрые качества бедного возницы? Нет, тысячу раз нет! Пусть же свидетельствуют за него сами факты.

Ранним утром, когда половине человечества — самый сладкий сон, а другой — забот полная охапка, — кто в эту пору появляется на помощь людям, созданным на правах пешего хождения по свету, и ускоряет ход их дел? — Ванька. А в глубокую полночь, у театров, у клубов и прочих приютов веселья, среди карет, колясок, саней с медвежьей полостью, кто предлагает свои дешевые услуги скромным весельчакам, у которых весь экипаж, как говорят они, заключается в калошах, кто развозит их по ночлегам? — Ванька. А в слякоть, в метель, у кого находит успокоение усталый, продрогший пешеход, вызванный на улицу безотступною нуждою? — У ваньки. Поздним вечером кто шажком плетется по малолюдной улице, по глухому переулку, кто, будто чуя, что здесь в одном доме справляется вечеринка, запоздалые гости собираются домой, опасаясь, однако, и вечерней поры, и даль-

ней дороги, и не знают, где найти извозчика? Кто точно из-под земли вырастает в ту решительную минуту, когда радушный хозяин собирается уже сам провожать гостей? — Ванька. Усаживает он многолюдную семью в сани, семилетнего сына берет к себе на руки и едет не спеша, потому что тише едешь, дальше будешь, — дорогою разутешает ребенка, позволяя ему править лошадей, и подобру-поздорову, без всяких приключений, достигает до места. А сколько таких пешеходов, которым нужна не скорая езда, а спокойствие да возможность притащиться куда-нибудь не «на своих на двоих»; сколько еще более таких, которые обязаны нагружать себя кульками и узлами пуда в полтора весом; немало, наконец, и тех людей, для которых прокатиться на извозчике — удовольствие, позволяемое себе лишь в торжественных случаях, когда в кармане шевелится лишняя копейка. Для них всегда и везде готов ванька, и от них уже редко слышится сетования на медленную езду. Обе стороны совершенно довольны друг другом, и во изъявление взаимного сочувствия заводят между собой разговор, большею частью о чем-нибудь о житейском: седок расспрашивает про деревенские обстоятельства, про семейный быт ваньки; а этот последний допытывается, для чего строят «чугунку», и смиренно ли сидит француз. Словом, за пятак тут для обоих соединяется, по правилу Горация, приятное с полезным.

Не таков извозчик-лихач. Не кочует он по улицам порожняком, не выезжает на промысел ни свет ни заря, не морит себя, стоя до полуночи из-за гривенника. Улицы кипят народом, ванька уже успел упарить лошаденку и пробирается в укромное местечко задать ей корму; а лихач только что в эту пору выезжает на биржу. Утром он посиживал в трактире, распивая чай в складчину с товарищами и растабарывая о вчерашних похождениях; потом холил коня, снаряжался сам — времени прошло и немало. Впрочем, дело не терпит почти никакого ущерба от этого замедления, потому что седоки лихача показываются не ранее полудня. Приехал он на биржу, перекрестился, раскланялся на все четыре стороны, стал и будет стоять, не зазывая без разбора всякого прохожего, не гоняясь за дешевым наемщиком, за ездой менее рубля. Седоки наворачиваются к нему редко да метко, и один стоит десятерых.

Вон идет барин: по осанке видно, что ноги его созданы не для ходьбы, и за делом ли, за бездельем вышел он, а следует ему взять извозчика. И лишь едва кивнул он головой — мигом встрепенулась биржа, лихачи шапки долой и обступили желанного. «Куда, ваше благородие?» — «Со мной, батюшка, со старым извозчиком, я и допрежде возил вашу



Извозчик-почник. Рис. В. Ф. Тимма. 1843 г.

милость». — «Возьмите, сударь, рысистую». — «На иноходце прокачу, ваше сиятельство!» — «С первым, барин, со мной, с кем рядились». — «Возьмите меня, сударь, заслужу. У меня и сани с полостью». Оглушенный залпом этих возгласов соперничества, наемщик может зато на выбор выбирать, что более ему по вкусу — окладистую ли бороду, казистые ли сани, или ретивого коня. Выбрал, сторговался — извольте садиться. Ну, Петруха, гляди в оба, не в один, не осрамись, валяй, качай — даст барин на чай. «Эх, голубка!» — крикнет лихач, дернет вожжами, чмокнет — и пошел. Только его и видели, пока разминался горячий рысак. Вот она, русская езда! «Дымом дымится дорога»¹; не едешь, а летишь; дух замирает в груди, а чувствуешь себя как-то бодрее, могучее, сознаешь свое превосходство над всем, что идет и стоит кругом, мелькая в глазах быстрее стрелы. «Пади, пади, держи правей-та! что разинул рот, извозчик?» — кричит лихач, и, послушный повелительному голосу, смиренно жметя к стороне ванька, поспешно перебегает дорогу пешеход или, изумленный, останавливается на половине пути; а лихач все мчится, обгоняет и пару и четверню, даст на минутку вздохнуть разгоряченному коню, вдруг гикнет и опять погонит быстрее прежнего. А как он сидит, как правит, как мастерски избегает столкновения со встречными экипажами, как повелительно приказывает остановиться едущему вереницей обозу! Что за расторопность в отыскивании сбивчивых переулков, что за умение угодить седоку и окольным, но верным путем подобраться к его карману! «Это тебе, братец, на чай», — молвит удовлетворенный донельзя барин при расплате. «Много довольны вашей милостью», — скажет с поклоном лихач, тряхнет кудрями и поедет — «протирать глаза» вырученным деньгам, распивать порцию чаю, если только, к счастью его кармана, не попадетя на пути новый седок.

Вообще лихач хотя не пьяница и не мот, а денежкам у него не вод; особенно, если он живет не в работниках, сам по себе, и большой и меньшей весь тут. Впрочем, к чести его надо сказать, что подушные редко стоят за ним, и в деревню он также посылает подмогу по силе, по мочи. Откладывать же из заработков копейку на черный день не в его характере; а если и заведется она каким-нибудь чудом, мало ли на что можно употребить ее. Хороша у лихача и суконная шапка; а еще лучше купить плисовую с мишурным галуном; ковер мог бы, наверно, прослужить еще год-два; а мы сменим его новым, на зло Терехе, который хвастается своей узорочной попоной; чем, кажись, не сани — лаковые, с резь-

¹ Гоголь.

бою, с камышовым плетеным задком, — а все не мешает приделать к ним бронзовые головки: будет показистее; полушубок — как следует быть полушубку, и под синим кафтаном не видать, романовский ли он или простой, а лихач постарается украсить его лисьей выпушкой — знай, дескать, наших! И пускай бы только подобные улучшения соблазняли лихача: нет; нередко и сшибается он. А отчего? Седок нападет такой, что пей, ешь с ним, что твоей душе угодно; вином, и не простяком, а настойкой, да шипучим, хоть залейся: пой только дорогой ухарские песни, катай во всю ивановскую, да показывай кое-какие столичные диковинки. «Ух!» — гаркает лихач, кружась по улицам с таким молодчиком, да потом закруживается и сам, оживляя воспоминания песни, что распевал с седоком:

Как едут наши купчики
К Макарью торговать,
Приказчики-голубчики
Полнть да погулять..

Ванька, напротив, враг всякой роскоши. Удивишь, что ли, кого этими вычурами? Дома-то, небось, нужда и через ворота уж перелезла. Он временный жилец в Москве и приехал в нее не проживать, а наживать деньгу, и прихотничать ему не из чего. Не дешево обойдется ему знакомство с дистанцией огромного размера, не в один месяц намосквичится он, и, пока продолжается курс этого образования, не один раз попадет он впросак. То седок, не расплатясь, ускользнет проходным двором или городскими рядами; то, по незнанию настоящей ближайшей дороги, ванька сделает версту крюку; то иной наемщик воспользуется этим незнанием, и, наняв его, например, просто на Тверскую, протянет до Триумфальных ворот, или с Арбата вплоть до Смоленского рынка. А легко ли запомнить сотни названий урочищ, приходов, переулков, в которых запутается и старожил? Словом, на первых порах ванька сам не свой и плутает, точно в лесу.

«Извозчик! Что возьмешь ко Всем воротам?» — «Да кое же это место, батюшка?» — спрашивает ванька, теряясь в недоумениях о неслыханном названии: Тверские ворота он знает, к Покровским барыньку вчера возил, у Красных земляк живет, Никольские есть — а Все-то где? «Да вы натолкуйте, где ехать?» — молвит он, приготавливаясь слушать объяснение дороги. «А вот, — отвечает наемщик, — сперва ступай ты на Арбат, с Арбата на Арбатец, отсюда в переулок Безыменный, из Безыменного в Безумный, здесь своротишь в

Пустую улицу, потом повернешь в Золотую¹, а тут и пойдет прямая дорога ко Всем воротам. Понял, что ли?» Поймет ванька, что подсмеиваются над ним, ругнет зубоскала прямым словом; а между тем время-то ушло, глядишь, среди баляс и седока упустил. Случается также, что нанимают ваньку взад и вперед, с условием заехать в одно место на минуту; в простоте деревенского сердца, он и порядится по цене, сообразной времени, а на деле выйдет, что прождет он добрый час, прибавки не получит ни гроша, и тогда смекнет, что значит московская минутка. Да мало ли каким проделкам подвергается он в первое зимовье свое в Москве! Надобно же чем-нибудь наверстывать недостаток опытности, непредвиденные упущения, а чем же более, как не трудом да усердием? Лихач и смотреть не хочет на нерублевого седока, а ванька не прочь ехать и за гривну меди; московского хватает разве калачом выманишь со двора в непогоду, а деревенский труженик тут-то и выручает.

Чуждый прихотей не по карману, ванька выгадывает супротив лихача и в других отношениях. Постоялый двор в предместьях столицы выбирает такой, где бы он не стеснялся необходимостью брать сено с овсом у дворника и где бы плата за харчи не была накладна для его кармана. Биржевых расходов он не знает; да и на что ему колода? Лошадь не дворянка, поест и из торбы, — а стоять можно на любом углу; разумеется, коли у лавочки — подчистишь кой-когда мостовую, а если близ будки — ну, поздравить кавалера в праздник. На особенно бойких для стоянья местах, например около трактиров, у рынков, на перекрестках, ваньки составляют между собою тесную корпорацию, и извозчик, не принадлежащий к их обществу, не смей становиться здесь, под опасением различных гонений со стороны всех членов товарищества. Но и товарищи в ладах между собой только до первой кости. Дружелюбно растабарывают они, собравшись в кучку и похлопывая рукавицами, высчитывают, кто на сколько съездил, кого возил; с хороших прибылей решаются задать себе пирушку — кличут блинника. Вдруг... все врассыпную, каждый благим матом к своим саням, — хлыст по лошади, и поскакали что есть духу в одну сторону. Что же такое случилось? Гром разве ударил над ними? Нет, не гром, а на углу показался седок. Прервана поучительная беседа, забыты узы родства и дружбы, и Ваньки наперебой летят к цели. Явись в эту минуту отец родной, загорись в

¹ Арбатец лежит на Крутицах, Безыменных переулков два — в Грузинах и на Балкане; Безумный — на Трубе, Пустая улица — в Рогожской, а Золотая — на Бутырках.

двух шагах дом, проходи целая армия с музыкой, — ванька ничего не слышит и не видит, кроме седока. И чего не делают, чего не говорят соперники, чтобы залучить к себе желанного! Но счастливец бывает, разумеется, только один, а прочие опять возвращаются к своему пристанищу — «сидеть у моря да ждать погоды».

Крепко хлопочет ванька, зато и не может пожаловаться на судьбу, вознаграждающую его хлопоты. Конечно, пробьет-ся он зиму не в тепле и холе, но всегда сыт, хотя без разносолов; приехал с грошем, а поедет не с одним десятком рублей; и лошаденка откормится. Вот и на следующий год, чуть только запорхает снежок да пойдут морозы-морозовичи, едет он в гости к кормилице-Белокаменной, иногда и парнишку везет с собой на подмогу. Глядя на него, отправляется и сосед извозничать, и другой, и третий, и ваньки с каждым годом прибывают в Москве, — и живут они до поры до времени точно сказочные Иванушки-дурачки, в загоне у своих братьев-извозчиков, да в милости у судьбы. Потребностям московских пешеходов удовлетворяют почти одиннадцать тысяч живейных извозчиков: из этого числа не более трех тысяч постоянно живут здесь, а прочие — все ваньки.

Лихач равнодушно смотрит на это увеличение одинаковых с ним промышленников, потому что не боится никакого соперничества. Но большинство обыкновенных живейных извозчиков, которые составляют средину между лихачами и ваньками, бывают средственные и плохие, летом ездят на калибере-трясучке, а зимою на санках средней руки, — они питают самое враждебное чувство к пришельцам, называют их «голодными воронами» и бранят на чем свет стоит, что сбивают эти «погонялки» настоящую цену.

Сколько-то лет тому назад пошло гонение на калиберные дрожки: «Это не экипаж, — кричали цивилизаторы, а пытка; он постыдный остаток варварства, он трясет все существо человека не хуже лихорадки»... Извозчики вняли справедливым жалобам и завели пролетки¹.

После этого дознали они, что чужеземные наблюдатели, удостоивающие приехать взглянуть на Россию, обратили на них, собственно на них, особое внимание: записали в своих путевых впечатлениях и *droschki*, и *iswostchik*; объявили всей Европе, что последние — люди ужасного вида, носят огром-

¹ Но когда бывает доволен человек? В последнее время стали слышаться жалобы и на пролетки. «Не предохраняют они от простуды», — вопиют неженки, которым мало резиновых калош, вязаных шарфов, непромокаемых макинтошей, зонтиков и прочих защит для защиты от нашей осени. Сострадательные извозчики приняли к сведению и это обстоятельство, и вопрос о заведении крытых пролеток обсуждается лихачами.

ные бороды и снежные очки для предохранения от мороза; происходят по прямой линии от татар; хлопают руками (т. е. рукавицами) так, что слышится звук, подобный ружейному выстрелу, и вдобавок ко всем этим диковинкам распивают шампанское по пятнадцати франков бутылка! Извозчикам все эти слухи, как с гуся вода,—пусть тешатся немцы!

Наконец, в недавнем времени пошли разъезжать по Москве так называемые городские линейки и кареты. Извозчики недоверчиво поглядели на неожиданных соперников их промыслу, подумали и решили, что новая машина не пойдет. Словом, все напасти извозчики переносили равнодушно или великодушно. Одни ваньки как бельмо на глазу у них, и вторжение этих «сынов природы» выводит их из себя. Поэтому назвать простого живейного извозчика-москвича ванькою — значит нанести страшную обиду его амбиции и задеть его репутацию. А ваньку — «как хочешь зови, лишь хлебом корми»; он себе на уме и неспроста поет:

Мужик я простой,
Вырос на морозе,
Летом ходил за сохой,
Зимой ездил все в извозе

СТАРЬЕВЩИК



Если вы прислушивались к разноголосым крикам московских разносчиков, то, конечно, заметили, что у каждого рода продавца свой особый неизменный

напев: раскатисто выхваляется «подснежная, манежная клюква», а скороговоркой кричится «свежая говядина»; большая разница между объявлением о продаже «вареной патоки с инбирем» и «арбузов моздокских, винограда астраханского»; это, впрочем, сейчас бросается в уши. Так, нет сомнения, что среди разносчичьей разноголосицы случалось вам слышать один напев, всегда важный, немножко печальный, но раздирающий любые уши, точно призывный крик муэдзина: «Нет ли старого меху, платья, бутылок, штофов, старых сапогов, нет ли продать?» Так распевает человек неопределенных лет, одетый тоже неопределенно, с мешком под мышкой, иногда за плечами, в который он сваливает свой товар, свою куплю, потому что человек этот — не разносчик, а скупщик, род комиссионера между продавцами первой руки и покупателями второй. Что за люди те и другие — сейчас увидим.

Старьевщик, говоря его словами, знает где раки зимуют. Нет ему торговли, нет и наживы на богатых улицах, жильцы которых слишком горды, чтобы вступить в сношения с ним. Он идет в захолустья, в переулки, где живут люди не щекотливые, знакомые с нуждой и горем, не по слуху, которым ничуть не стыдно показать свои обноски. Тут что ни шаг, то добыча. Старьевщик редко глазеет на улич-

ные окна, как обыкновенный разносчик, зная, что тут казовая сторона жильцов, — а на те, что с надворья, глядит зорко, особенно если дом незнакомый. Для его опытного взгляда какое-нибудь ничтожное обстоятельство уже ясная указка, а не будь ничего, так и распевать не для чего, разве только для освежения горла, по привычке, чтобы знали, что входил на двор не шерамыга, а торговый человек. Где есть продавцы, там на призывный голос старьевщика разом являются они. Мальчишка в затрапезном халате, босоногая девочка, старуха в полулохмотьях — вот обычные его знакомцы; всякое старье, негодный хлам — их товар.

— Что дашь, дядюшка, за это? — спрашивает мальчишка, показывая старьевщику растоптанные опорки, сапоги, «прослужившие на одних подметках семи царям», и штук пять полуобитых помадных банок.

— Что просишь, золото или серебро? — отвечает купец, коли проявится у него охота растабарывать.

— За двугривенный отдам, дядя! голенищи, видишь, какие здоровенные!

— По полушке за банку, гривна за старье, две деньги накинута на пряник: двенадцать копеек берешь?

— Скоро состроишь каменный дом, как будешь наживать по стольку; пятиалтынный, и то по знакомству, можно взять.

— Три пятака взял?

Продавец с негодованием вырывает свой товар и хочет идти домой.

— Слышь, знать быть тебе с обновкой. мальчуга ты хороший, возьми пятак серебра и поди с богом.

Торг колеблется еще несколько мгновений, наконец, слаживается, когда новенькая монетка побеждает твердость мальчика. С другими продавцами торг идет, изменяясь, смотря по достоинствам вещи и характеру продавца, но редко не достигает цели, то есть продажи вынесенных вещей. Со стороны старьевщика не заметите ни малейшего унижения (он знает, что еще делает услугу бедняку, освобождая его от хлама), не услышите никакой божбы; нет у него речи ни о барыше, ни об убытке: спокойный, как судьба, он не имеет ни к кому лицепрятая; даже прекрасный пол, перед которым, как известно, не утерпит ни одно торговое сердце, чтобы не полюбезничать, даже он не в состоянии найти в нем какую-либо слабую сторону...

Лишь изредка выходит старьевщик из своего равнодушия в обращении с продавцами, делает им крошечную уступку. Дом знакомый: ни разу не случилось выходить из него, не нагрузив доброй половины мешка, а теперь, как на

зло, хоть и два раза известил торговец о своем приходе, не показалось ни души.

«Приходится идти ни с чем домой; верно, заработались больно, — думает старьевщик: — дай наведаясь сам». — И он отворяет дверь в мастерскую, останавливается на пороге и говорит:

— Бог в помощь, молодцы-графчики. Не завалилось ли где какой дряни?

Ответ редко бывает отрицательный, особенно если кто из артели нуждается в складчинных деньгах на чай или на русское веселье¹, — тогда и нужное делается ненужным, и последний полушубок переходит в мешок старьевщика. «До зимы еще далеко, да, признаться, этот уж наскучил, поневоле купишь новый», — рассчитывает продавец.

Обход двух-трех переулков наполняет мешок, и старьевщик возвращается домой. Если он не нанимается у какого-нибудь торговца старьем, то сортирует свой товар, тщательно шарит в карманах купленных обносков, хотя знает, что легче сделать деньги, чем найти их здесь: но неровен случай. Под вечер нередко приходят к нему комиссионеры-мальчишки, кто с битым стеклом или со старым железом, кто с тряпьем или с костями, на все эти вещи определенная такса², но за лучшие старьевщик всегда прибавит на пряники — награда, возбуждающая чрезвычайное соревнование между лакомками.

Но как ни велика деятельность и как ни многосторонни обороты старьевщика, он, в свою очередь, тоже комиссионер разных людей, у которых или карман потолще его, или которым не сподручно самим закупать из первых рук кое-какие предметы, необходимые им. Старье сапожное и платяное покупается разными мастеровыми, переделывается заново или обращается первое в поднаряды, последнее в приклад; прочие товары гуртом сбываются заводчикам.

Таков быт старьевщика. День за днем, год за годом проходит его жизнь в трудах, не слишком легких, потому что он не должен знать устали или бояться непогоды. Из чего же биться, зачем не переменить это занятие на более выгодное? «Да затем, — ответит труженик, — что всякая птичка привыкла кормиться своим носком; жизнь — не поле перейти; увидишь и хорошего и худого; бог не без милости». Прошу еще о нескольких минутах внимания к старьевщику.

¹ У мастеровых все попойки или распивания чая делаются в складчину, по сколько сойдет с брата.

² Для соображения политико-экономов вот некоторые из этих цен: стекло $\frac{1}{2}$ коп. за фунт, тряпье от 1 до 2 коп., железо от 3 до 4, разумеется, на ассигнации

Если читатель коренной москвич, то, наверное, знает, что в Белокаменной есть уголок, который с незапамятных времен, неизвестно почему, называется Балканом, оправдывая такое громкое имя разве лишь тем, что осенью он так же непроходим, как Балканские горы. В этой укромной стороне дома подстать улицам, значит, квартиры в них недорогие, есть и каморки и углы, где по деньгам жить людям, у которых все богатство в усиленном труде. Тому много лет (сколько заподлинно лет, читатель, вероятно, не полюбопытствует знать) и я жил на Балкане. В доме, где семейство мое нанимало квартиру, в числе разнородных жильцов был и старьевщик. Все, от малого до большого, звали его дядюшка Игнат, считая лишним прибавлять к этому его отчество, и казалось, что он всегда будет дядюшкою, потому что лета не оказывали на него никакого действия: он все был в одной поре, ни старел, ни молодел. Даже платье дяди Игната не знало износу, и хоть крепко поистерлось, а служило ему с неизменным усердием, не хуже нового.

Старьевщик был человек крепкий, старинного покроя, умел беречь денежку, не употреблял ни чаю, ни табаку и вообще не жаловал никаких прихотей. «Непригодно нам баловаться да нежить свой мамон, — говаривал он, — мы люди маленькие, воспитаны серо». Он так часто повторял эти слова, что, наконец, уже никто не стал удивляться, что у дяди Игната «среда и пятница со двора нейдут», и разве лишь в годовой праздник купит он себе у головщика¹ на гривну вареной говядины или легкого. «По добыче и житье», — замечали однодомцы. В самом деле, откуда возьмутся деньги, когда день-деньской ходишь из-за какой-нибудь полтины, а ведь надобно прожить, заплатить за квартиру, взнести подати за себя и за мальчишку (с дядей Игнатом жил племянник). И так слыл старьевщик за человека, у которого прош с копейкой никогда не сталкиваются. Но это не мешало ему делать одолжение для всех и каждого в доме, конечно, не деньгами, а тем, что под нужду нередко дороже денег. Понадобился кому гвоздик, лоскуток сукна, старые башмаки вместо галош во время грязи, — где взять их, как не у старьевщика, и от дяди Игната не бывало никогда отказа. «Для дружка последняя сережка из ушка», — промолвливал бывало он, удовлетворяя просьбу. Зато уж всякий хлам у жильцов должен был сваливаться в кладовую старьевщика. Нас, мальчишек, снабжал он бабками и кубарями, за что мы оплачивали ему сбором костей и всего, что случалось найти на дворе. Я сверх того доставлял дяде Игнату все произведения моего

¹ Торговец в сбитенной, который продает яства.

пера, то есть, говоря попросту, упражнения в каллиграфии, старые тетрадки арифметических задач и т. п., и пользовался за это особенным расположением его.

Но все эти повадки существовали лишь для нас, а племянника старьевщик держал в черном теле, не потому, чтобы не любил его, а «чтобы не избаловался парнишка, и сызмаленьку привыкал к нужде». Ему только по праздникам позволялось поиграть с нами, а в будни — то ступай по дворам собирать выброшенный хлам, то помогай дяде сортировать товар, то тащи мешки в лавку — словом, Ваня не знал ни минуты отдыха; пища у дяди Игната, как я сказал, была антониевская; но не любил он, чтобы кто-либо из жильцов лакомил племянника куском пирога или другим чем, повкуснее его серых щей, в которых одна капуста погоняла другую.

Что за разносолы, с нашим ли рылом соваться в калачный ряд? Избалуете вы у меня мальчишку, сделаете неженкой. Надо, чтоб из него вышел человек, а не лизоблюд! — зачитает, бывало, старьевщик, как увидит, что его Ванюшка уписывает что-нибудь так, что «за ушами пищит».

— Да как же, дядя Игнат, не полакомить ребенка. Небось, сам был маленький, тешили тебя! — заметят ему.

— Как же, расставь шире карман-то! Соска с жеваным сухарем — вот тебе и пирог... Да зато ведь проживешь двойной век, коли бог грехами потерпит. Простуда, какая ни на есть болезнь, все пятится от тебя задом.

Этим обыкновенно кончались все поблажки, — и разве украдкой удавалось Ване попробовать наших детских гостинцев.

О нравственном воспитании племянника старьевщик заботился не много поболее, чем о физическом. Грамоте и на счетах учил его сам, но иногда, доверяя моим сведениям и званию гимназиста, просил растолковать «что-нибудь из наук, особенно цыфирь». Понятливость ребенка развивалась разговорами вроде следующих:

— А какое это, Ванюша, дерево? — спрашивает дядя Игнат, показывая обломок стула.

— Да спереди словно крашенная береза, — отвечает ученик.

— Ан врешь: это дерево стояростовое.

— Какое, дядя?

— Стояростовое. Ну, а это (показывается ратовище метлы)?

— Рублем прост буду, это береза.

— Болтаешь, дурак: и это стояростовое.

— Что ты, дядя? Ведь то совсем не такое... — замечает Ваня в недоумении.

— Глупый! всякое дерево стояростовое оттого, что стоя растет. А скажи-ка, Ванюшка, отчего собака лает?

— Да я почем знаю! Так уж бог создал.

— Бог-то бог, да и человек должен знать: лает она оттого, что не баит. Зверь ли, птица ли какая, все они бессловесные, а кричат по-своему и понимают друг дружку.

Только и удержалось у меня из воспоминаний детства о старьевщике. Потом прошло много лет, и я его потерял из виду, даже из памяти. Нередко встречались со мною товарищи его по ремеслу, раза два я даже совершал с ними коммерческие сделки; но дядя Игнат канул как будто на дно моря. Однажды понадобилось мне сделать кое-какие дополнения в своем наряде. Немало в Москве магазинов с готовым платьем, да не всякому они по карману, и, когда придется беспрестанно применять к жизни деление, поневоле станешь покупать, по присловью, дешево и сердито. Итак, я отправился на Площадь¹. Только что пробрался сквозь густую толпу народа, запрудившую ее из конца в конец, как тотчас же сделался добычею сидельцев, из которых каждый старался перекричать соседа и затащить к себе покупателя. Смелее других действовал, языком и руками, парень в мою пору, и я не знаю сам, как очутился в его лавке. Спросил, что требовалось, раз пять переменил вещь, пока добрался до порядочной, и, наконец, справился о цене. Запрос был такой бессовестный, что я бросил товар на прилавок и повернулся к лестнице.

— Куда же, сударь? — закричал, по-видимому, сам хозяин. — Иль не по нраву пришлась покупка?

— Да вы запрашиваете вчетверо: так нельзя сторговаться.

— Э, батюшка, запрос в карман не лезет! Пожалуйте-ка, авось, столкнемся с вами, а ты, Ваня, не зевай, видишь, покупатель!

Парень, втащивший меня, занялся с новопришедшими, а я, точно, в первые десять слов сладился с хозяином. Стал рассчитывать, гляжу, точно где-то видал это сухое лицо, быстрые серые глаза, клинообразную бородку цвета ржавого железа, а где, никак не припомню. Торговец скорее моего разрешил это недоумение, назвав меня по имени: это был дядя Игнат!

¹ Москва знает, что это за рынок; для петербуржцев замечу, что их Щукин двор слабое подражание нашей Площади.

— Ведь я знал вас еще вот каким, — заметил он. — А теперь так выросли, что и в очках не узнаешь.

— Да, я думаю, и пора вырасти; вас, Игнатий Емельянович, тоже не думал встретить здесь. Кажется, живете слава богу?

— Нечего гневить всевышнего; вот скоро десять лет, как плачу купеческий капитал.

Пошли расспросы

— Ничего, сударь, потерпите, — сказал мне бывший старьевщик: — бог терпел и нам велел. Лишь не занимайтесь никаким художеством, так все будет ладно. Закона нет, чтобы все были богаты, да ведь и бедняков тоже не сеют. Сам человек пробивай себе дорогу... Ничего, сударь...

— Да полноте величать меня.

— По привычке, сударь; ничего. А помните Ванюшку-то? Выровнялся такой, что выше меня. Женить собираюсь.

Я посмотрел на прежнего товарища своих игр; по наметанности он был типом торговцев, по росту и силе — настоящий русак. В это время он напал на какую-то бабу, торговавшую холодник:

— Износу не будет; забудешь, умница, когда купила. Ты примеряй только.. вот так... Честь имею поздравить с обновой...

И небойкая покупательница, оглушенная похвалами, уверениями в доброте товара, спешила расплатиться за обнову...

С этого времени взгляд мой на старьевщиков, бывший дотоле чисто историческим, проникнулся философией, и никогда не могу я слышать без особого чувства их заунывного припева: «Нет ли старого меху продать?..»

ЯРОСЛАВЦЫ В МОСКВЕ



В царстве, где солнце не знает заката, земли столько, что будь в нем народу вдвое, втрое более, чем есть теперь, переходи в него сколько хочет Европа, — для всех станет места. Но и при этом раздолье у нас в иных местах тесно, то есть, впрочем, только для нашей охоты до простора, а вершковому немцу как раз было бы по мерке. Да вдобавок и земля-то иногда не мать родная, а хуже мачехи, не дает никаких угодьев. Что тут делать, как быть? Перешел бы на другое место, разумеется, если есть на то закон; да легко сказать — покинь свою сторону! Здесь я родился, здесь привел бы бог и кости в землю сложить, на том же погосте, где лежат мои кровные; здесь я вырос, знаю, почитай, всю округу, как свои пять пальцев; везде у меня есть люди близкие, свои — кто сват, кто названный брат, кто просто дружище.. А там, на чуже, ну что я буду? От одного берега не отстану, к другому не пристану. Засядешь как курица на насести. Мне еще мила своя изба. Бог не без милости; авось, промаячимся и на старом, насиженном гнезде. Я не без рук, здоровья и сил не занимать стать. Коли здесь нет работы, поищем ее; земля не клином сошлась.

— Слушай, батюшка! благослови меня идти на чужую сторону, в Москву али в Питер, на заработки; там много нашего брата живет, а я из твоей воли не выйду нигде. На подмогу тебе остается брат, Ванюшка мой подрастает; да и я, по́ силе, по мóчи, стану присылать, что заработаю. Отпусти, родной!

— С богом, сынок; на дурное не благословлю, а на хорошее сам бог велит. Да смотри: Питер бока повытер, а в Москве толсто звонят, да тонко едят, говаривали старики. Так ты глаза-то не распускай, не сшибись как-нибудь.

И пошел мужичок, примерно, к нам в Белокаменную, пошел с одной котомкой, да с тою смышленостью и уменьем приноравливаться всюду, куда ни поверни, — этими двумя способностями, которым мы сами в себе не надивимся. Таким гостям всегда есть место в Москве. Владимирец принялся за плотничество, в офени или в кулаки пошел, а то «по ягоду, по клюкву» стал распевать; ярославец сделался каменщиком, разносчиком, сидельцем в гостинном дворе и, наконец, трактирщиком; ростовец поступил на огороды; тверитянин с рязанцем явились как простые чернорабочие, поденщики¹; туляк принес с собой ремесло коновала, а костромич и галичанин — бондарное мастерство или кровельное со стекольным, корчевец начал точать сапоги; подмосковный — искусник на все руки: и в извозе ездить и с лотком на голове ходить; коломенец, сверх того, печет калачи и на барки нанимается; можаец с звенигородцем — летом мостовщики, а зимой ледовозы, пильщики, древоколы. Из широких степных губерний, где человеку только что в пору управиться с благодатною землею, к нам не ходит никто. С недавних пор стали похаживать белорусские крестьяне, да они большей частью работают на чугунке², так по этому и нейдет им быть в счету московских пришельцев³.

Но ни в Москве, ни в Петербурге нет гостей многочисленней ярославцев, и никто так сразу не бросается в глаза, как они. Не подумайте, однако, чтобы их выказывало высокое *о*, на которое усердно напирает ярославец у себя дома; нет, благодаря своей переимчивости, он, живя в Питере, сумеет объясняться и с чухною и с немцем; а свести понемногу, как пообживется, свое родное *о* на московское *а* ему уж не трудно. Отличие его совсем не то

Взгляните на этого парня: кудрерусый, кровь с молоком, смотрит таким молодцом, что хоть бы сейчас поздравить его гвардейцем; повернется, пройдет — все суставы говорят; скажет слово — рублем подарит; а одет — точно как будто про него сложена песня: «По мосту, мосту, по калиновому» — и кафтан синего сукна, и кушак алый, и красная александрийская рубашка, и шелковый платок на шее, а другой в кар-

¹ Первый нередко и торгует, например, все мороженщики—тверитяне.

² То есть на железной дороге

³ О фабриках и заводах я тоже не говорю, на них рабочие приходят еще подростками.

мане, и шляпа поярковая набекрень, и сапоги козловые со скрипом. Так бы и обнял подобного представителя славянской красоты! Это и есть ярославец белотельный, потомок тех самых людей, которые три пуда мыла извели, заботясь смыть родимое пятнышко.

Да вот вопрос: откуда же взялась у него, конечно, не молодцеватая выправка, с которою он, знать, родился, а та щеголеватая одежда, что далеко не по карману и обычаю крестьянскому? А вот откуда. Между всеми столичными пришельцами и с огнем не найдешь никого смысленнее ярославца. Примется он, положим, за розничную торговлю с единственным рублем в кармане, поторгует месяц, много два, серым товаром, а потом у него заведутся и деньжонки и кредит, и пойдет он разношивать «пельсины, лимоны хороши, коврижки сахарны, игрушки детски, семгу малосольну, икру паюсну, арбузы моздокские, виноград астраханский» — товар все благородный, от которого и барыш не копеечный. Наймет-ся ли ярославец в сидельцы, и тут он умеет зашибить копейку, не пренебрегая, впрочем, выгодами своего хозяина. А что за ловкость у него в обращении с покупателями, что за умение всучить вещь, которая или не показалась вам, или нужна не к спеху, но к которой вы попробовали прицениться! Что за вид простосердечия в божбах и истины в уверениях насчет доброты товара! Какое мастерство в знании, с кого можно взять лишнее, кому следует уступить, с кем необходимо поторговаться до упаду! Как раз применяется к нему поговорка: «Ласковое телятко две матки сосет». Прошу не считать этих похвал преувеличенными: ярославец мне не сродни, взятки я с него не брал и говорю чистую правду. Не угодно ли сравнить его с любым разносчиком, вот хоть с этим яблочником, которого по ухватке сейчас видно, что не ярославской породы.

— Почем за десяток? — спрашиваете вы у мешковатого продавца.

Он объявляет цену, вы торгуетесь, он подается упрямо, как медведь, цедит слова сквозь зубы, чуть-чуть не грубит; настоящий мужичина.

— Пропадай ты и с яблоками! — говорите вы в заключение, не поладив с разносчиком.

— Сами, барин, дорого очень покупали, — отвечает он в свое оправдание, которого, разумеется, вы и знать не хотите, желая, вопреки пословице, купить дешево и мило. Этими качествами всегда готов услужить ярославец.

Подходит к нему покупатель мало-мальски почище одетый, он и шапку долой, и благородием повеличает, если не довольно ходячего «сударя». Запросит он бессовестно, но

зато можете торговаться с ним сколько душе угодно. У него на все есть резоны.

— Сами извольте видеть, какой товар. Дадите дорожке, а такого не купите. Во рту тает, словно ананас, хоть бы королю на стол! Закушайте, сударь, опробуйте, и денег не возьму, коли не одобрите.

— Хороши, да дороги...

— Поверьте честному слову, один грош на десяток наживаю. Как перед богом, сударь, торговля такая стала, хоть в деревню ступай.. А уж каких яблок отберу я для вашей милости, что ни на есть самых лучших. Только лишь для почина, не за продажей дело стало.

Неловко не купить у такого славного парня. А «почин, который дорожке денег», и уважение к вашей милости продолжают у ярославца целый день; под исход же товара он начнет продавать «для вечера». И благодаря своей догадливости он всякий день возвращается домой с порожним лотком, между тем как нерасторопный его сотоварищ, который виноват лишь тем, что природа отказала ему в даре слова и лисичьей натуре, приходит на ночлег усталый, нагруженный — только не деньгами, а нераспроданным товаром.

Тайна превосходства ярославца заключается главнейше в том, что он вполне смекнул торговую аксиому: «Отнюдь не должно упускать покупателя, если навернулся он». Поэтому он чрезвычайно учтив и низкопоклонен не с одними «сударями», но со всяким, даже с своим братом, серокафтаником. Он кланяется не кафтану, а карману. Одного он чувствует «купцом» (преимущественно дородных покупателей), другого «почтеннейшим», третьего «добрым молодцем»; покупательницы у него — кто «умница», кто «красавица» и уж никак не ниже «тетеньки». Политичный человек наш ярославец!

Нередко выручает его и прибаутка. Послушайте присказки блинника, звонко выкрикивающего свой товар:

С самого жару,
По грошу за пару!
Вались народ,
От всех ворот,
Обирай блины,
Вынимай мошны!

И народ окружает весельчака предпочтительно перед другими разносчиками, потому что для рабочего человека случай посмеяться от души стоит в ину пору рюмки водки; клюква и патока любезны ему не столько сами по себе, как потому, что всегда сопровождаются песнями и прибаутками.

Не гневайтесь, читатель, что я осмеливаюсь занимать ваше внимание таким ничтожным человеком, как блинник, который и сам, чувствуя свое незавидное положение, не дерзает показываться в порядочном уличном обществе. Не знаю, случится ли вам когда услышать, что в старинные годы один ярославец, начавший свое торговое поприще с блинным лотком, передал наследникам до полумиллиона рублей капитала, а другой, торговавший сперва яблоками-мякушками, добился под конец своей жизни до трехсот тысяч годового дохода, для меня же эти два факта служат лучшим оправданием и дают законное право продолжать беседу о ярославцах.

Конечно, не всякому так прытко повезет судьба: кому какая линия. Уж если на роду написано тебе ходить день-деньской с лотком, гранить мостовую, распевать что есть мочи, грех ежечасно брать на душу кривой божбой, то и в гроб пойдешь с этим. Но и тут не следует бога гневить: большому кораблю большое и плавание и простор совсем другой требуется, а ты маленький человек и должен мотать себе на ус поговорку: «Всяк сверчок знай свой шесток». Ведь тоже живешь, по милости создателя, не хуже людей: сыт и без разносолов, без соусов, чай в складчину с товарищами пьешь почесть всякий день; и рюмку нашему брату позволительно хватить в праздник, лишь бы дела она не портила, на гуляньях на всех бываешь даром, на ночлег придешь не куда-нибудь в нехорошее место, а на свою фатеру; сочтешь торговлю, смекнешь барыш, да и за ужин, — а стряпает тебе кухарка, на то и нанимаем ее всею артелью Денежка про черный день тоже не переводится у тебя; оброк с подушными платишь как следует, да, кроме того, домой, в семью, рублей с полсотни перешлешь. Все слава богу! Эх, братцы-землячки! подхватывай дружно:

Распрекрасная сторонка,
Ты наш город Ярославль!

Хорошая песня, да некогда слушать ее. До сих пор мы только вполонину познакомились с ярославцем, видели его лишь на улицах; взглянем же теперь на блистательнейшую сторону его деятельности — на ярославца-трактирщика

Здесь прежде всего поражает следующий замечательный факт: между разносчиками встретите многих и не с ярославской стороны, но трактирщики все оттуда. Трактирщик не ярославец — явление странное, существо подозрительное. И не в одной Москве, а в целой России, с незапамятных времен, белотельцы присвоили себе эту монополию. Где есть заведение для распивания чаю, там непременно найдутся и ярославцы, и, наоборот, куда бы ни занесло их желанье



Новая биржа 1839 г. и Гостиный двор. Литография.

заработать деньги, везде норовят они завести хоть *растеряцью*, коли не трактир. Не диво, что при таком сочувствии к чаю в Ярославской губернии найдется множество семейств, в которых от подростка до старика с бородою — все трактирщики; не диво, что иной ярославец три четверти жизни своей проведет в трактире: мальчугон он поступит в заведение, сперва на кухню, для присмотра за кубом, за чисткою посуды, и в это время ходит чрезвычайным замарашкой, в ущерб своему лицу белому; потом, за выслугу лет, за расторопность, переводится в залу, где приучается к исполнению многосложных обязанностей полового, бегаёт на посылках, и, наконец, после пятилетнего или более искуса делается полным молодцом; возмужалый, он нередко повышается в звание буфетчика, а на закате дней отправляет важную службу приказчика — и часто все в одном трактире. Зато уж каким мастером своего дела становится он, и как кипит это дело у него в руках! Разносчик часто из корыстных видов умасливает покупателя, озабочиваясь сбытом своего товара; напротив, побуждения трактирщика к услуге гостю гораздо благороднее. В заведении на все существует определенная цена, запросов нет, всякий приходит с непременным желанием подкрепить чем-нибудь свои силы; следовательно, полному остается лишь оправдать доверие, оказанное его заведению гостем, послужить вам — если не всегда верою и правдою, то, по крайней мере, усердно и ловко. Если гость почетный, ярославец ведет его чуть-чуть не под руки на избранное место; «что прикажете, чего изволите, слушаю-с, сударь» — не сходят у него с языка при выслушании распоряжений посетителя. Воля ваша исполняется в мгновение ока, и ярославец отходит на почтительное расстояние или спешит встречать новых гостей, готовый, однако, живо явиться на первый ваш призыв. И надобно иметь такие же зоркие глаза и слухменные уши, как у него, чтобы среди говора посетителей, звона чашек и нередко звуков музыкальной машины отличить призывный стук или повелительное — «челлаэк», произносимое известного рода гостями; надо обладать его ловкостью, достойной учителя гимнастики, чтобы сновать со скоростью семи верст в час и взад и вперед, то по зале, то к буфету, то на кухню, сновать среди беспрестанно входящих и выходящих гостей и не задеть ни за кого. Ярославец, когда он несет на отлете грузный поднос в одной руке и пару чайников в другой, несет, едва касаясь ногами до пола, так что не шелохнется ни одна чашка, — потом, когда бросает (ставит — тяжелое для него слово) этот поднос на стол и заставляет вас бояться за целостность чашек, — он в эти минуты достоин кисти Теньера ..

Впрочем, доскональная причина чрезвычайного усердия ярославского полового, если раскусить его хорошенько, окажется не такую бескорыстною, как показалось с первого разу, при сравнении его с разносчиком. Предположим, что вы, почитатель народности, рады всякому случаю ознакомиться с подробностями быта простолюдинов: очень естественно, что приятно изумленные ловкостью мужичка, взятого от сохи, но который понатерся до того, что заткнет за пояс любого официанта, вы не преминете потолковать с ним. Расспросите, откуда он, чей, женат ли и проч.; слово за словом, дойдете и до вопроса: «Как идут дела?»

— Да что, сударь, — ответит ярославец, — дела как сажа бела. Жалованье небольшое, туда, сюда все изойдет, еле-еле натянешь концы с концами: оброк надобно заплатить, в деревню что-нибудь послать, на сапогах да на рубашках сколько проносишь — сами изволите знать, что с нас чистота спрашивается. Сказать правду, живешь в этой должности больше по одной привычке. Не то что как в городе, у Бубнова, у Морозова, у Печкина, — там нашему брату житье разлюли. Хозяева солидные, двадцать лет у одного прослужишь, и за услугу он всегда тебя наградит; на волю скольких откупают. Жалованье вдвое супротив здешнего, а дохода втрое супротив жалованья. Народ ходит все первый сорт, на чай дают по малости полтинник; городские купцы ситцами, материями дарят слугителей. Вот это житье, и умирать не надобно... А здесь голо, голо, да посинело. Какие гости ходят? Трое три пары спрашивают, чайников шесть воды выдуют да еще норовят своего сахара принести, чтоб и четвертому было что пить. Все голь перекатная, мастеровщина или выжиги-торговцы — кто пыль в проходном ряду продает, кто колониальные товары — капусту да свеклу развозит. Тут взятки гладки; на масленице разве на пряник что-нибудь из глотки вырвешь. Только слава лишь одна, что заведение стоит на бою: а рынок как есть рынок. Хорошие господа, примерно как вы, очень редко ходят. Вот, сударь, к слову пришлось: на чай бы, если милость будет, ярославцам пожаловали; напились бы мы за ваше здоровье.

Расщедритесь, посетитель, примите во внимание покорную просьбу полового: право, не раскаетесь. Ведь он не протранжирует пожалованных денег, а запишет их в дележную книжку и употребит на дело; чай хозяйский и без того он пьет два раза в день. Сухая ложка рот дерет, а как смажете ее, то встречать и провожать вас станут с поклонами и прислуживать будут вдвое усерднее, и трубку Жукова подадут даром, и «Пчелку» на дне моря отыщут, и сливок принесут с пенками; мало того: если вас посетит безденежье,

благодарный ярославец поручится за вашу добросовестность перед хозяином, примет трактирный долг на себя. И хотя при этом он часто делается жертвою обмана, но деликатность его в отношении к хорошему гостю все-таки не прекращается.

Число ярославцев, временно живущих в Москве, можно определить приблизительно. трактирных заведений в ней считается более трехсот; следовательно, полагая кругом по десяти человек служителей на каждое, выйдет слишком три тысячи одних трактирщиков; да наверно столько же наберется разносчиков и лавочников. Эти шесть тысяч человек составляют здесь промышленную колонию, и как ни привольна жизнь в столице, а все дома кажется лучше. И ярославец как можно чаще навещает свою родину — разносчик ежегодно, а трактирщик, смотря по обстоятельствам, через два-три года. Приезжают они домой в рабочую пору и сгоряча, в охотку, работают на славу; привозят с собой и гостинцев, и денег, и разные прихоти цивилизованного быта, к которым приучились в Москве, поживут себе как гости, да и возвращаются опять наживать копейку. И наживают они ее до седых волос, а все кажется мало, и все не знают они, когда пойдут на окончательный отдых в дедовскую избу, да станут, полеживая на теплых полатях, вспоминать старину и учить внуков, как следует вести себя в матушке-Москве.

Впрочем, не одни ярославцы, все мы, даром что временные жильцы на сем свете, а хлопочем и волнуемся до самой гробовой доски, не ведая и не предвидя, когда начнем приготовляться к отъезду на вечную квартиру.

КУХАРКА



ою тебя»... или

Воспой, о муза, персону
ты ту,
Что желудка глад,
жажды же клич

Нет, не поется, даже по-Тредьяковски, и стих не строится в ряд и меру. Лучше без затей сказать так: «Наше вам почтение, Матрена Карповна, Акулина Антипьевна, Афросинья Панкратьевна, — все имена, никогда не достаиваемые чести принадлежать какой-нибудь романической героине, имена, которые с давнего времени носят особы хотя из прекрасного пола, но считаемые в нем зауряд... Поклон тебе, правая рука, усердная помощница всякой доброй хозяйки! Привет тебе, блюстительница домашнего благочиния, то есть порядка и чистоты, повелительница очага со всеми его принадлежностями, звезда и жемчужина экономии, надежда обеда, радость неприхотливого желудка, подпора и питательница брэнного тела! . Не смущайся этой речью, слабой данью твоим заслугам, не красней, не закрывайся фартуком: спокойно, как всегда, следуй своему призванию, исполняй свою профессию, делай дело. А нам между тем позволь побеседовать с тобой о твоём житье-бытье. Ладно ли?»

— Ничего. Да некогда мне растабарывать с вами: пожалуй, щи перекипят.

— Не перекипят, мы посмотрим. Сделай одолжение, всего-то пару слов перемолвить.

— Да вы не с подвохом ли с каким?

— Вот еще что выдумала! Как тебе не стыдно. точно

деревенская какая, необразованная, будто не умеешь различать людей с людьми?

— Так-то так, с виду вы как должно, и обращение у вас политичное: да поди узнай, что у вас на душе?

— Одно удовольствие познакомиться с тобою. Давно ли ты на этом месте?

— Да вот скоро год доходит.

— И хорошее место попалось?

— Э, захотели вы!.. Жалованье красная цена шесть рублей, да за шестерых и делай: ты и лакей, и горничная, и прачка, и кухарка. Еще куры не вставали, а ты уж будь на ногах, принеси дров, воды, на рынок надобно идти, а придешь с рынку — сапоги барину вычистишь, одежду пересмотришь, умыться подашь; а тут самовар наставляй, а тут печку пора топить, в лавочку раз десять сбегай, комнаты прибери; в иной день стирка, глаженье; тут на стол велют накрывать, беги опять в лавочку — то, се, пятое: до обеда-то так тебя умает, что и кусок в горло не пойдет. Просто поваляешься, как сноп. Ведь все на ногах, на минуту присесту нет.

— Да, это трудно.

— Уж так трудно, что и господи! День-деньской отдыху себе не знаешь. Еще хорошо, что заведенья-то большого нет, а то смоталась бы совсем. Да и то в праздник кипишь, как в смоле. Туда же — голо, голо, а луковка во шах. Пирьы, банкеты разные заводят..

— А кто твои хозяева?

— Господа, да не настоящие. Так себе — из благородных. Сам-то служит в новоституте, да по домам ездит уроки задавать. Достатка большого нет. Только что концы с концами сводят... А добрые люди, грех сказать худое слово, и не капризные, и не гордые. Этак, года с два тому, жила я у одного барина. Сливошниковым прозывался: так тот, бывало, никогда не назовет тебя крещеным именем, знай орет: «Эй, человек, братец!» — «Какой же, говорю, сударь, я человек?» — «Кто же ты?» — «Известно, говорю, кто, совсем другого сложения». — «Ну, говорит, когда ты не человек, так у меня вот какое заведение: слушай!» — и засвистит, бывало, бессовестный этакой! «Ну уж, после такого сраму, говорю я, пожалуйста расчет». Взяла да отошла, а три гривенника так-таки ужил, не отдал!.. А здесь нельзя пожаловаться: Акулина да Акулина, либо Ивановна. А сама барыня точно из милости просит тебя сделать что-нибудь: «Пожалуйста, говорит, милая, послушай, говорит, Акулинушка!» Хорошие люди. Жалованье хоть и небольшое, а на плату поискать таких. Чай идет всегда отсыпной, не сливки, пью сколько душе угодно; пришел кто в гости — запрету нет,

станови самовар, барыня и чаю пожалует. Здесь сама себе я госпожа. Искупила что на рынке или в лавочке, отдала отчет — и ладно; не станут скиляжничать, допытываться до последней денежки, — знают, что не попользуюсь ни единым грошем: душа мне надобна. А в другом месте живешь, так горничная на тебя ябедничает, нянька в уши хозяевам нашептывает, лакей или кучер что сплutowали, а на тебе спрашивается. Такое-то дело. Здесь, по крайности, живешь в тесноте, да не в обиде. Одно лишь забольно: насчет подарков очень скудно. Год-годской живши, только и награжденья получила, что линючий платчишка к святой. Заговаривала не раз, что у хороших хозяев так не водится, да мои-то иль вдомек не возьмут, или подняться-то им не из чего.

— А разве у других хозяев по многу дарят?

— У хороших-то? Как и водится. Жила я у купца Митюшина, по восьми рублей на месяц получала, кушанье шло с одного стола с хозяевами; а дом-то какой — полная чаша, все готовое: и мука, и крупа, и солонина, и капуста, — в погреб-то, бывало, войдешь, сердце радуется. Так вот-с, жила я у этого купца, у Авдея Матвейча. Бывало, окромя годовых праздников, и в свои именины, и в женины, и в твои — всякий раз дарит тебе: то ситцу на платье, то платок прохоровский, либо шелковую косынку. Житье было такое, что просто малина. И не рассталась бы с этим местом, да грех один случился...

— Напраслина, верно, какая-нибудь?

Но Акулина Ивановна, не отвечая, оборачивается к печке и начинает поправлять дрова.

— Гм!.. Стало быть, у купцов хорошо жить?

— Ну, это как случится. Всякие бывают. Иной попадет-ся такой жидомор, что алтынничает хуже всякого кашея. Какой у кого карактер. Коли сам хорош, так иногда сама-то перец горошчатый, либо семь хозяев в одной семье. У немцев тоже жить очень хорошо. Только строгости большие: уж этак что-нибудь... мало-мальски... чуть заметят, сейчас и пашпорт в руки. Штрафами допекают. Разбейся посуда, пропади простыня, — все тебе на счет. «Это, говорят, твой виноват, что не смотрел». Насчет постов тоже нехорошо: перемирай почти на одном сухом хлебе. Ведь у них круглый год скоромное, и за грех не считают...

— Вот в Петербурге, говорят, вашей сестре житье отличное.

— В Питере-то? Слыхали мы про него. Знаем тамошних белоручек: чепешницы, чухна бестолковая, а туда же, кофию просит, танцами занимается. Видела я здесь одну питерскую-то. Стоит на вольном месте, словно барыня какая, на нас и

смотреть не хочет. Приходит нанимать кухарку какой-то купец, прямо к ней (с рожито она как и путная), спрашивает у нее. «У меня, говорит, любезная, хлеба дома пекут, а если случится стирка, так и принанимаем». А она ему залепетала что-то, да и сует в руку свой тестат. «Я, говорит, жила у хороших господ, черной работой не занималась». Уморушки, да и только. «А если так, говорит ей купец, так прощенья просим, мадам; выходит, не ты мне, а я твоей милости должен служить». Взял да и нанял из наших. Так-то-с, сударь вы мой. Видали мы этих тистатчиц. Для близиру — оно так, а на деле пустяк.

— Напрасно так думаешь. Аттестат — ведь это порука и за умение и за поведенье.

— Так оно и есть! Еще за поведенье! Извольте-ка выслушать. Есть у меня товарка, Агафьей зовут, женщина работающая, а уж в летах, этак с залишечком сорок. Вот была она без места. Прослышали мы, что вызывают в газетах ученую повариху, понимаете, чтобы за повара отвечала. Хорошо, что ж, и это можно, и за повара ответим, а ученье известно какое. не в пансионах воспитывались «Ступай, говорю, Агафья, может статья, и выйдет толк» Приходит она к этому барину. Холостой он, собою такой видный. Посмотрел на нее, усмехнулся. «Нет, говорит, ты мне не годишься» «Помилуйте, говорит, сударь, я и соусы разные, и пирожное всякое могу состряпать». «Нет, говорит, мне надобно »

Но в эту минуту что-то гневно забурлило в печи, уголья зашипели, пламя вмиг вспыхнуло ярче, кухарка взглянула и ахнула; любезные ее щи так и хлестали через края горшка.

— Ах, чтоб вас! — с негодованием крикнула она, и этим словом кончилась беседа. Смущенный гость спешил уйти, и напрасны были его извинения в невольной причиненной досаде Акулине Ивановне.

Он ушел, но в воображении его не переставал носиться образ кухарки, ее лицо, ее наряд, ее быт. Одна картина сменялась другой.

Вот кухня — что-то вроде комнаты, более или менее закопченной, так что иногда трудно решить, из какого материала построена она¹. В кухне печь, простая русская, сложенная из кирпичей, не хитро, но удачно приноровленная к

¹ Понятно, что здесь идет речь о кухне в самом обыкновенном, простом значении этого слова. Другое дело — кухня поварская, с плитами, вертелами и разными затеями, управляемая метрдотелем — кухонным головою (chef de cuisine), и которую приличнее бы назвать стряпательною палатою

своему назначению, — печь с печкою, иногда даже с полатами. Далее глазам представляются две-три полки, на которых стройно расставлена разная кухонная посуда; потом следуют: самовар, блистающий на почетном месте; стол почтенных лет, но всегда вымытый на загляденье, и около него скамья, вероятно для противоположности, более или менее серого цвета; рукомойник, семья ухватов и кое-какой домашний скарб довершают принадлежности кухни. Тут и постель кухарки, и имущество ее, заключающееся в небольшом сундуке; тут красуется и двухвершковое зеркальце, обклеенное бумагою, и рядом с ними наклепена какая-нибудь «греческая героиня Бобелина», или картинка с помадной банки; тут и лук растет на окне, а иногда судьба занесет и герань; здесь и чайник с отбитым рыльцем, окруженный двумя-тремя чашками, в соседстве с какою-то зеленою стеклянною посудой, выглядывает с полки; здесь и жирный Васька посиживает на окне, греясь против солнышка или созерцательно рассматривая ближайшую природу, особенно стаи ворон, которых привлекает что-то лежащее на дворе, как раз против окна.

Вот и сама обитательница этого уютного уголка. Что она делает? — «Стряпает, разумеется». Да, стряпает; но это слово не выражает всего круга ее многообразной деятельности, хотя он и ограничивается небольшим пространством — от кухни до погреба или до кладовой, из лавочки на рынок, или с рынка в лавочку; хотя центр его все-таки, ни больше, ни меньше, как кухня. Но ведь на кухарке лежит весь порядок дома; она незаметный, но крепкий столб, поддерживающий его благосостояние. Она виновата, зачем вздорожала говядина, а сливки оказались кислыми, зачем лавочник дал мало угольев или обчел на одну копейку; с нее спрашивается, почему горшок прожил не два века, или как смела шаловливая кошка сделать неосторожный прыжок и разбить фаянсовую тарелку; ее требуют к ответу, отчего суп пересолен, а жаркое недошло; на нее гневаются, что печь изводит много дров, а в комнатах сыро и холодно; ей выговаривают, величая «деревенщиною глупой», зачем она сказала правду, когда приказано было объявлять всем посетителям, что господ нет дома, а она в простоте сердца на вопрос одного гостя: «Дома ли барин?» — радушно отвечала: «Пожалуйте-с, у себя, трубку изволят курить».

Вот ранним утром спешно идет она на рынок с кульком под мышкой, с кувшином в руке. «Тетенька, умница, пожалуйста сюда!» — кричат ей лавочники, разносчики, молочники, а иной плут так еще и шапку снимет. Но она не поддается на учтивые приветствия, не верит божбам и правому слову продавцов, а торгуется донельзя, рассчитывая и выгадывая

всякую копейку. Как внимательно рассматривает она доброту припасов, как заботливо считает по пальцам сдачу; скольких иногда убеждений стоит ей склонить несговорчивого продавца на уступку; сколько возов обойдет она, покупая, например, картофель, и то прицениваясь, то прислушиваясь к купле других, пока, наконец, решит свой выбор. А тут еще зелени разной требуется, корицы, перцу, кофею, сосисок; барин велел взять четвертку жукова табаку: «У нас, говорит, в лавочке семь копеек лишних берут»; барыня наказывала забежать в аптеку за гофманскими каплями; а яблоки-то к пирожному совсем было из ума вон. Легко ли упомянуть все — и грошовую, и рублевую покупку, легко ли, потому что у кухарки нет ни реестров, ни записок: одна голова обязана отвечать и за неграмотность и за непонятливость. Неудивительно, стало быть, что, возвращаясь с рынка, она не раз пересмотрит сдачу или пойдет к знакомому лавочнику, с просьбою проверить итог ее расходов.

Вот она дома, отдала отчет, принимается за стряпню. Приказали борщ сварить и жаркое изготовить, а говядины всего пять фунтов на четверых. Как ее делить? Надо, чтоб все вышло хорошо — и борщ вкусен, и жаркое сочно, и чтоб всего было довольно, а то неравно навернется лишний человек, не достанет чего — тебя же обвинят; расчесть, скажут, ничего не умеешь. И в глубокой думе, изоцряя свою опытность, мерекает она, на сколько частей резать небольшой кусок говядины, чтоб сделать оба кушанья в лепорцию. А тут Васька, мяуча и мурлыкая, ластится около ног, просит обычной своей подачки. Нельзя не дать и Ваське: брошен ему добрый кусок; съел, просит еще. На и еще. Не сыт Васька, не отходит от стола, а говядины убавилось чуть ли не на осьмушку фунта. Не дать жаль — кот-то славный такой, а дать.. «Ну вот тебе еще кусок, кстати жила попалась, да уж больше и не проси!» Опять — мяу! мяу! «Ах, ты, обжора этакая!» И любимец получает справедливый толчок, после которого отправляется философствовать на окно.

Наконец, кухарка устроилась совсем: печь затоплена, дрова разгорелись, горшки закипают — и дело кипит. Слава богу. Вдруг...

— Ульяна! а Ульяна! иди сюда скорее! — раздается звонкий голос хозяйки через отворенную дверь.

— Сейчас, сударыня. (Ах, чтоб тебе пусто было!)

— Да иди же скорее! Боже мой, какая ты неповоротливая!

— Нельзя же, сударыня, зря бросить дело.

— Ну, разговорилась! Вымой ручищи-то.

Это значит, что барыня изволит одеваться и нуждается в помощи своей единственной прислуги.

Во время застегиванья платья, для чего кухарка употребляет невероятные усилия, барыня вступает с нею в «задушевный» (если угодно, интимный) разговор, выходящий из пределов кухни.

— Стало быть, Василий Григорьич был-таки на порядках?

— Уж так на порядках, сударыня, что всю посуду перебил. Жене говорит: «Жить с тобой не хочу, ступай вон!» До Ивана Петровича дело доходило.

— Ну, это у них всегда так бывает. Поссорятся да помирятся. А что свояченица его?

— Варвара Кузьминишна-то? С прибылью скоро будет, с прибылью, сударыня. Соскучилась ждавши.

— Гм!.. — и барыня предовольно улыбається.

— А правда, что Верочка Козлицына выходит замуж?

— Как же, сударыня, я не облыжно докладываю вам. И образом благословили. Через неделю быть свадьбе.

В эту минуту платье у барыни начинает почему-то застегиваться туго.

— Жених-то, нечего сказать, молодчина собой, и достаток, говорят, есть. Кондитеров нанимал на стговор, музыка, танцы были, — продолжает кухарка свое донесение.

У барыни лопається крючок.

— Дай бог им совет да любовь: парочка славная! — радушно говорит кухарка.

— Какая ты неловкая, Ульяна! — сердито вскрикивает барыня, вдруг рванувшись из рук своей собеседницы и пожертвовав одним крючком своей досаде.

Но виновата, разумеется, не Ульяна, не ее неловкость, а известие, что Верочка Козлицына выходит замуж, делает хорошую партию, — партию, когда барыня знавала ее еще вот какой девчонкой и чуть не за уши драла! Барыня вовсе не злая женщина, и досада ее легко объясняется чувством, свойственным не одной тысяче порядочных людей: «Как, дескать, распоряжается судьба: чем такой-то лучше меня, а на него сыплются все земные блага, экипаж один чего стоит, — а я изволь покатываться на извозчике!»

Кончено многосложное одеванье барыни, кухарка освобождена от должности горничной и опять суетится около печки, наверстывая потерянное время.

Спрашивается, откуда же, из какого богатого рудника почерпает кухарка современные новости, не помещаемые ни в одной газете и между тем благодаря языку облетающие известное пространство с быстротою телеграфа, — новости,

которые составляют насущную потребность для нее, занимают соседей и служат приятным развлечением для хозяйки; откуда? Я не знаю — спросите у нее. Известно только, что население любого околотка, по месту жительства кухарки, все на счету у нее, и если она знает соседскую курицу, то как же не знать ей самого соседа, как не разведать, поправился ли Иван Григорьевич и ладно ли живет с мужем Аграфена Ивановна, и все такое прочее? Потом, когда сойдутся в лавке или встретятся на рынке Ульяна с Акулиной, да подойдет к ним еще Маланья, о чем же им и говорить, как не о хозяйских делах! «У наших вот то и то». — «А у моих вот какая напасть случилась». И пойдут, и пойдут. «Голубушки, — скажет сторонний человек, вслушавшись в их любопытную беседу, — ведь это значит сор из избы выносить» — «Как выносить! — возразят говоруньи. — Нешто мы сплетницы какие, разве мы славим по Москве? Так, к слову пришлось, дело соседское, а не что-нибудь этакое. Понимаете?»

Постараемся смекнуть.

Кончена стряпня, прибрана кухня, вымыта посуда, поспел борщ, и жаркое впору подавать на стол. Да господа что-то не рассудили обедать дома, в гости пошли. «Диковина, право, — говорит кухарка сама с собой: — нынче к себе бы гостей надо ждать, — давеча дрова стрекотали и Васька замывал вот с этой стороны, — я так и думала: быть гостям, а нет. Поди ты, случай какой! Ну, да и то сказать хлопот меньше. Хоть отдохну маленько».

И с этим намерением кухарка опускается на свою постель. Проходит несколько минут. Но что теперь за сон! Разве самоварчик поставить? Хорошо бы этак пропустить чашечку-другую, да воды нет, а в лавочку идти не хочется. Ну, так и быть... «Охо-хо, — кухарка зевает. — Грехи наши тяжкие. Все в суете да в маяте, живешь не как человек, и лба некогда перекрестить». (Следует продолжительное молчание, и думы о суете житейской сменяются мимолетными воспоминаниями о недавнем путешествии на рынок, о свежих новостях, слышанных в лавочке, и тому подобном.) Наконец, это состояние полусна наскучивает кухарке, слышит она, что на дворе раздаются чьи-то голоса, с улицы доносятся крики разносчиков, стук экипажей, солнце весело глядит в окно кухни, на хозяйских часах пробило два, — кухарка решается. «Что это взаправду я разлежалась, — говорит она, — не целый же день ходить такою неряхой! Хоть умоюсь да платье переменю: ведь нынче праздник».

Сказано — сделано. Мы не будем входить в подробности туалета кухарки и раскрывать тайны ее наряда. Довольно сказать, что, употребив на свою особу несколько ковшей



Русская ресторация. Рис. В. Ф. Тимма. 1843 г.

воды, прибегнув к помощи чего-то, бережно спрятанного в двухвершковое зеркальце, кухарка изменяется совершенно. Точно сказочный Иванушка-дурачок, который, бывало, влезет в одно ухо сивки-бурки вещей каурки дурнем и неряхой и выйдет из другого молодец-молодцом, — так и кухарка, снарядившись, молодеет на десять лет, прибавляет себе красы столько, что и узнать ее нельзя. Та ли это Акулина, которая давеча, покрасневшись от жару, со следами хлопот около печки на лице и на руках, с засученными по локоть рукавами, в затасканном фартуке, суетилась за стряпней? Та ли это Акулина, которая, накинув на плечи старую кацавейку, бежала утром на рынок и потом, вовсе неграциозно склонившись на бок, несла из лавочки ведро воды и кулек с угольями? Нет, она переродилась, лицо ее побелело, на щеках появился румянец первого сорта, на голове кокетливо повязана шелковая косынка, из-под которой еще кокетливее выказываются косички волос, лоснящиеся, как стекло; новое ситцевое платье резко бросается в глаза яркостью цветов и пестротой узоров; на плечах, сверх платка, обнимающего шею, накинута удивительная красная или голубая шаль, такого ослепительного цвета, какой только может произвести искусство купавинских фабрикантов, шаль, которую и можно встретить единственно на кухарках; а что за башмаки у Акулины Ивановны! Козловые, со скрипом, который слышен издалека, деланы на заказ, заплачены три четвертака и просторны до того, что надевай хоть три пары чулок, а в них еще найдется место для ножки какой-нибудь барышни, вскормленной на булочках и сливках. Такие башмаки и шьются только для одной Акулины Ивановны с подругами и составляют предмет тайной зависти для многих подмосковных «умниц», которые щеголяют в котках с красною оторочкой и с медными подковками.

Кухарка охорашивается еще раз перед зеркальцем, приглаживает косички, берет в руки вчетверо сложенный белый миткалевый платок и стоит несколько минут, полная сознания собственных прелестей, любуясь ими, а еще больше ослепительным своим нарядом, и в маленьком раздумье, что ей теперь делать. Ведь она уж не просто кухарка, а подымай выше, не целый век возилась с горшками да с ухватами, а также видела добрых людей и от них не отстала; и летами еще не перестарок какой-нибудь: всего-то...

Но лета кухарки более или менее покрыты для зрителя мраком неизвестности, и наше дело сторона.

Вот принарядилась Акулина Ивановна и сама знает, что стала не хуже других, да все-таки чего-то недостает ей для полноты счастья. А чего бы именно? Полюбоваться ею неко-

му, ласковое слово сказать, что вот, дескать, точно принцесса какая, Ми актриса Кирбитьевна, а не Акулина Ивановна.. Сидишь в четырех стенах, и живой души нет кругом тебя Одна-одинехонька. Ты да Васька только и живете в кухне; да что Васька — кошка, как есть кошка, и понятия никакого не имеет.

Но пока эти думы носились в воображении кухарки, ее любимец Васька, все время нежившийся на окне против солнышка, вспомнил ли он вследствие требований желудка, что в эту пору обыкновенно накрывают на стол, с которого ему всегда сходит подачка, или среди сонных грез какой-то тайный голос шепнул ему, что кухарка имеет не слишком выгодное мнение о его понятливости, — неизвестно, по какой из этих двух причин, только Васька встал, живописно сгорбился, потянулся лапками, замурлыкал и сел, любопытно устремив глаза на разряженную свою хозяйку. Что он любовался ею, созерцал красную шаль и казистое платье, — это было видно из его взглядов и свидетельствовало о развитом в нем чувстве изящного. К сожалению, Акулине Ивановне некогда было обратить внимание на эту кошачью любезность и вознаградить за нее Ваську куском говядины или хотя погладить по голове Недоумения ее кончились, она решилась поступить точно так же, как поступала всегда в подобных случаях: если нельзя идти со двора, то очень можно побывать на дворе; нельзя оставить дом, но выйти из кухни никто не мешает. Дело в том, что необходимо «людей посмотреть, себя показать».

И вот она на крыльце. Яркость ее наряда спорит с блеском лучей солнца; башмаки скрипят на славу; кончики головной косынки распущены необыкновенно ловко. Но на дворе нет никого. Верно, все обедают или отдыхают после обеда. Нет ни Маланьи, кухарки, что живет в верхнем этаже, у старика-француза, и умеет говорить по-немецкому; ни Прасковьи, которая нянчит детей у Петра Ивановича и за что-то каждый день ссорится с своей дородной барыней; не видать и Аксиньи, которая недавно сшила себе салоп; нет и повара Ивана, что нанимается у Чувашиных во флигеле и всякий раз обсчитывает своего барина, даром, что тот — сам пальца в рот не кладет; и кучер Матвей, верно, завалился где-нибудь на сеннике... Нет никого! В другом доме хоть бы за ворота вышла, немножко развлекла бы тоску-скуку, а здесь нельзя: проезжая улица, скажут, что, мол, за вывеска такая стоит. Надо же и амбицию знать.

Скучно!.. Что ни думай, что ни делай — скучно Нечем себя рассеять. Хоть бы орешками позабавиться, да орехов-то нет. Да и что орехи: ведь это на гулянье их очень приятно

грызть, а одной-то и всласть не пойдет.. Скучно... Да что же это такое? «С горя хлеба не лишиться, со печали жизни не решиться», и кухарка, усевшись на крыльце и приложив ладонь к щеке, вдруг затягивает:

Отлетает мой соколик
Из очей моих, из глаз

Недолго, однако, тянется одиночество кухарки; в награду за песню и за перенесенную скуку судьба посылает ей кого-нибудь для компании. Обыкновенно прежде всех является кучер, питающий большое сочувствие к особе кухарки и преимущественно к ее заунывной песне, распеваемой самым пронзительным голосом.

Заснул он было сном богатырским, да мухи помешали сладкому отдыху, и далеко разносившийся голос песни окончательно решил спор между желанием потянуться еще полчаса и удовольствием покалякать с хорошим человеком. «Сон не уйдет, а тут приятство и все этакое может случиться: ишь ты как закатывает Акулина», — основательно подумал кучер, задетый кухаркиною песнею за самую чувствительную струну своего сердца и любви к вокальной музыке. Надел он пливовое полукафтанье, набил крепчайшею махоркою трубку, закурил ее и медленными шагами отправился на призывный голос.

Кухарка продолжала заливаться все звончее; одиночество и скука довели ее до патетического одушевления..

— А, наше вам! С праздником, — молвил кучер, слегка приподнимая картуз.

— Также и вас. Садитесь на чем стоите, — отвечала Акулина Ивановна, захохотала своей остроте и потом продолжала петь:

Уж ты злодей, варвар ты, разбойник,
Прострелил ты пистолетом грудь мою .

Кучер остался очень доволен и чувствительными словами песни и наружностью кухарки. Песня хорошая, не мужицкая какая-нибудь, и сам он частенько поет ее тоненьким голоском, посиживая на козлах и дожидаясь господ. Акулина тоже баба славная: и с поведением, и с политикой. С собой.. что ж, и собой ничего. Шаль-то какую надела — ахти мне! Да шаль-то что — шаль ничего, сама по себе; а ты, вот, приди к ней о празднике, как пироги пекут: ведь какую середку откромсает тебе: «На, говорит, Матвей, продовольствуйся, у нас этого всегда остается», да еще и чаем напоит. Известно, не то чтоб не видали мы эвтого, а ласка, приятство, уважение — вот что дорого... Словом, кучер остался очень доволен

и, пуская струйки зловонного дыма, собирался сказать какую-нибудь любезность.

Акулина Ивановна, с своей стороны, была очень тоже довольна и приходом Матвея, и его нарядом. Не могла она не заметить, что на нем красная александрийская рубашка с иголки, плисовое полукафтаные без рукавов (для легкости) и новые сапоги с голенищами чуть не выше колен; серьга, продетая в левое ухо Матвея, и павлинье перо, торчавшее на картузе, тоже приятно останавливали ее внимание. Про наружность и говорить нечего: кучер, как следует быть кучеру. Не могла она притом не вспомнить, что Матвей очень хороший человек, не такой, как другие озорники бывают. Случится досуг, он и дров тебе принесет, и сапоги барину вычистит; ну, и насчет всего прочего... Стало быть, и кухарка была очень довольна кучером, но сказать ему какую-нибудь любезность не была расположена, вполне понимая, по свойственной всему прекрасному полу тактике, что все выгоды разговора на ее стороне. Итак, думая и ожидая любезничанья, она не переставала наполнять воздух раздирательными звуками своей песни.

Кучер между тем надумался, что следует сказать голосистой Акулине Ивановне.

— Ишь ты, какие штуки откальываешь! Ах, чтоб тебе!

И, сказав это, он шлепнул кухарку по плечу, что, по его мнению, означало очень большую любезность

Кухарка не отвечала ничего, но довольно больно ударила своего кавалера по руке, вероятно, полагая, что и это любезность с ее стороны. Кучер, по-видимому, был тоже этого мнения, потому что на лице его показалась самодовольно-радостная улыбка, и он располагался отпустить еще какую-нибудь «штучку».

Конечно, со стороны могли бы заметить, что подобные выходки неприличны, что с прекрасным полом следует обращаться совсем иначе, соблюдать учтивость, политику вести. Но что же на кучере и взыскивать! Лакеи, например, или другие должностные лица, занимающиеся службою в барских комнатах, они в этом отношении не могут подвергнуться ни малейшему упреку: и обхождение у них галантерейное, и комплименты всякие есть, и красноречия пропасть. Но ведь им и есть где заняться и наслушаться хороших речей, — они обращаются в сфере высшего света. Ну, а круг кучерской деятельности известно какой...

— Ваших, знать, дома нет? — спросил кучер после нескольких минут молчания, в которые, по-видимому, ему не удалось придумать никакой любезности

— Ушли в гости. А ваши?

— Дома. Да мне что: я свое дело справил, так мне сполагоря.

Кухарка перестает петь и грациозно обмахивает свое лицо миткалевым платком. Кучер молодецкато поправляет картуз, подпирает одной рукой в бок и значительным тоном произносит такие многозначительные слова:

— А что, Акулина Ивановна, разве хватить нам куражного? Как вы располагаетесь? Жара такая, что мочи нет.

— Чего это вы?

— Да так, по маленькой, по шкальчику. Я мигом слетаю

— Благодарим покорно. Мы уже пообедали.

— Что ж за важность, что пообедали! Лишь бы во здравие пошло. Это не что-нибудь другое. Я сам, признаться, перехватил кусочек, да для компанства завсегда приятно выпить. А одному что-то не куражно, петиту совсем нет.

— Нет, не хочется, в душу не пойдет.

— Ну, орешками позабавиться?

— Орехи ничего, это можно.

За такую, уже настоящую, несомненную любезность кухарка дарит щедрого кучера взглядом, описать который нет никакой возможности.

Приносятся орехи, начинается шелканье, являются новые собеседники — и Маланья, и Прасковья, и все хорошие люди, кто только есть в доме, которые любят компанство. Заводится самый одушевленный разговор, пересыпается из пустого в порожнее, обсуживаются поступки хозяев, безапелляционно решается, кто добрый и кто нехороший человек, кому давно на тот свет пора и кому дай бог много лет здравствовать... Все это любопытно и поучительно. Но вот, наконец, удостоивает беседу своим посещением и повар, тот самый, который ухитряется каждый день обсчитывать своего барина. Он одевается франтом, курит папироски, водит знакомство с княжескими поварами и прочею лакейскою знатью и сам знает себе цену.

— Банжур, гутморген, мамзель Лизет, — говорит он, обращаясь к смазливой горничной, прелести которой затронули его франтовское сердце. — Салфет вашей милости, красота вашей чести.

— Мерси-с, — отвечает образованная горничная, улыбаясь не менее образованному своему поклоннику.

Он отпускает еще какую-нибудь любезность, в минуту становится душою общества, затмевает всех мужчин (если таковые имеются налицо) и приводит в восторг весь прекрасный пол, начиная от смазливой горничной до Акулины Ивановны включительно. Если обстоятельства благоприятны, заводится хоровод, и веселье тянется до той поры, пока

служебные обязанности не позовут участников компании во-свояси или пока не настанет ночь...

Акулина Ивановна ложится спать с самыми приятными ощущениями, и, вероятно, ей грезятся очень хорошие сновидения.

Еще довольнее судьбою, еще счастливее бывает она, когда отпросится у своих хозяев «со двора». Это случается не каждый месяц, потому что путешествие кухарки «со двора» редко продолжается менее дня. Во-первых, она идет (разумеется, разряженная впуск) по какому-нибудь делу, потом ей надобно навестить двух или трех знакомок, куму, а иногда и кума; наконец, если день праздничный, необходимо побывать на гулянье (особенным предпочтением кухарки пользуются Марьяна роца и Новинское). У знакомок и у кумы кухарка напьется чайку и не откажется от чего-нибудь другого, более основательно действующего на сердце и на голову. На гулянье она покачается на качелях, распевая песни, погрызет орешков, посмотрит на добрых людей, на комедии и иногда сведет очень приятное знакомство. Домой вернется она позднеенько, немножко навеселе, и в это время благоразумная хозяйка не должна делать ей никаких замечаний касательно продолжительного отсутствия или «растрепанных чувств» (выражение кухарки). Иначе эта последняя тут же потребует расчета или чересчур выйдет из пределов должного уважения к особе хозяйки.

Познакомившись с отдельными чертами быта кухарки, необходимо бросить взгляд и на ее биографию.

В известной бумаге токмо значится, что кухарка такая-то, стольких-то лет, наделена от природы темнорусыми или другими какими волосами, такими-то глазами и прочее, а особых примет не имеет. Какой же материал для ее биографии может составить из этих сведений? Где ключ от загадочного ее происхождения? Где родилась кухарка, какую должность исправляла она, прежде чем приняла на себя стряпательные обязанности? Кто знает это? Может быть, была у ней и молодость, полная желаний и ожиданий суженого; являлся этот суженый, брал за себя душу-девицу, жил с ней медовый месяц, как голубь с голубкою, потом похолоднее, потом начал слишком придерживаться чарочки, а наконец и угодил под красную шапку. Дал ему бог талант, да не умел он им владеть; знал он мастерство золотое, да стало оно у него хуже самого последнего. Куда деваться, куда голову преклонить? Было свое хозяйство, умела она распорядиться домом, сошьет, бывало, все, что нужно, и себе, и мужу, состряпает какое угодно кушанье; ну, а теперь что поделаешь? Жить трудами рук — не к тому готовили ее

отец с матерью. В няньки идти — своих детей бог не дал, так сумею ли ухаживать за чужими? А вот, под этот раз и находится добрый человек, соседка какая-нибудь; говорит она одинокой, что есть хорошее место для нее, восемь рублей в месяц жалованья дают, окромя подарков, хозяева хорошие, из купечества, семья небольшая: ступай, Акулина. «Да как же это? Я, право, не знаю, в чужих людях никогда не жила, — говорит Акулина в нерешимости. — Пожалуй, строгости пойдут разные, взыски... Да, может статься, я не сумею и работу такую делать...» — «Э, какая тут работа! — возражает соседка. — Известно, состряпать, что нужно, да прислужить — и все тут. Не ты первая, не ты последняя, бывали и получше тебя». И Акулина склоняется на такие убедительные доводы и нанимается в кухарки к «хорошим людям из купечества».

Сначала куда как дико кажется ей на новом, небывалом месте. И вставать надобно рано, и ко вкусу хозяйки приноровиться, и хозяину потрафить, и маленьких деток его уважить. Нечем важничать: кухарка ты, и на твое место двадцать человек пойдут с охотою. И мало-помалу привыкает Акулина, и года через два окухаривается до того, что не всякий из прежних знакомых узнает ее... А еще через годик она ссорится за что-нибудь с своими хозяевами и переходит на другое место, с которого спустя более или менее непродолжительное время перебегает на третье, на четвертое, и так далее, до той поры, когда мы встречаем ее у барина, что ездит по домам уроки задавать, и где она уже не прочь выслушивать любезности кучера Матвея...

А бывает, даже еще чаще, так, что какая-нибудь подмосковная умница, разлучившись с мужем, идет, по милости лихого свекра и золовок, что поедом ее едят, — идет в матушку-Москву отыскивать себе место и трудового куска хлеба, которым не кололи бы ей глаза. Выходит ей место в шпульницы на фабрику, зовут ее и в пололки, вот и кондитер нанимает баб на лето чистить ягоды для варенья, и немец ищет народу для переборки шерсти; да, кажись, места-то эти все непрочные. Лучше послушаться совета земляка, у которого есть пряничный курень и артель мастеровых, — пойти к нему в кухарки. И идет наша Маланья к пряничнику, намосквичивается, набирается столичного духа — и окухаривается.

А то бывает и так. Был у Аксиньи горе-муж Григорий, хозяйствовал он когда-то, потом маленько сшибся, пошел в работники, мастерство его вышло из моды, стало упадать, квартиру жене не из чего нанимать, а на улице жить не станешь, пить-есть тоже надо, и идет Маланья в кухарки, с мужем выдается только по праздникам, снабжает его деньгами на похмелье, а иногда и сапоги ему купит, и рубашку

ситцевую сошьет. Нельзя иначе: врозь живут, а свой своему поневоле друг.

В кухарки нанимается и вдова круглая, у которой мужа бог взял, а близких родных нет никого.

В кухарки идет и та молодлица, которая неизвестно куда прожила свои цветущие лета и красу, зазнобившую не одно сердце. Провела ли она бурную молодость или сгубил ее какой лиходея, — того не знает никто, да и сама она едва ли помнит все, что было с нею лет за десять тому, пока она не сделалась кухаркою. Много воды утекло с того времени, и тяжело крушить себя воспоминаниями о том, чего не воротить... Кухарки этого сорта носят довольно благозвучные имена.

Бывают еще кухарки и других сортов, других подразделений, из подразделений-то случаются даже исключения; но главные категории их все-таки именно те самые, о которых мы сейчас говорили.

Почему все они делаются кухарками, а не чем-нибудь другим, почему не ищут более почетных и прибыльных должностей — трудно определить. Знать, так на роду написано. Сказала судьба, положим, хоть Акулине Ивановне: «Вот, дескать, ты женщина работающая, домовитая, надобно дать тебе какое-нибудь дело, чтоб не пропала ты со скуки, не тяготила землю даром; будь же ты кухаркой». И стала Акулина кухаркой, и сотни подруг ее, на том же основании, пошли тою же дорогою. С судьбой спорить не станешь.

Но дело не в том, не в борьбе с судьбою. Замечательно, что из какого бы житейского моря ни вынесли кухарку волны обстоятельств на стряпательное поприще, всегда она бывает в одинаковой поре, не молодых и не старых лет, а как должно быть кухарке, от тридцати до сорока, с большею или меньшею моложавостью на лице, с большим или меньшим расположением приобрести приличную дородность, смотря по тому, какая линия в жизни пойдет. Огонь ли закаляет их от влияния времени, от бурь и треволнений житейских, или так надобно тому быть — право, не знаю. По крайней мере, встретить очень молодую кухарку или преклонных лет — чрезвычайная редкость. Кухарка-старуха, разумеется, недолго наживет на месте: и хозяева не совсем довольны ею, да и ей-то работа становится уж не под силу — и идет старушка жить к подростку-внучку, который сам говорит, что бабушка не объест его хлебом... Попадись молодая кухарка — ветер у нее в голове ходит, не установится она на одном месте, увлекают ее с этого пути на разные дороги то собственная воля, то чужие советы да обманы.

А бывает и так. Живет, например, какая-нибудь Фе-

досья, девка кровь с молоком, и ни в чем дурном не замечена, живет она у какого-нибудь Евтихия Ивановича, у которого нет ни жены, ни родных, а имеется кой-какой благоприобретенный достаточек, — получает пять рублей в месяц жалования (потому, что Евтихий Иванович скуповат немножко), заменяет ему лакея, а подчас и дворника, удивительно умеет угодить на его вкус, приноровиться к нему... Крепко привязывается к ней Евтихий Иванович, по врожденной скуposti ссорится иногда с единственною своею прислугою, пытается даже отослать ее, — но привычка вторая натура, и видит он, что без Федосьи существование его не полно, что одиночке скучно жить на свете. Сбирался он было жениться, да свахи все надувают, показывают невест с изъязном или не тот товар, какой сулили; посвататься самому — духа не хватает, робость берет, чуть только взглянешь на какую-нибудь расфранченную барышню... Да и что думать об этих барышнях: смолоду не было судьбы, а теперь, как начала побаливать поясница и на голове появилось что-то сияющее, круглое, величиною в старинный пятак, — теперь и подавно нечего думать о какой-нибудь девице Берендеевой или Вахрамеевой, за которую чадолюбивые родители платили в пансион по двести целковых в год. Женишься, пожалуй, возьмешь без приданого, так она и разорит тебя, по собраниям да по театрам станет ездить, и выйдет что-нибудь нехорошее, чего бы, кажется, и ожидать нельзя от такого милого существа... Ну, как же расположить свое житье-бытье? Сказано, что человек слаб, а окружающий его соблазн силен... И вот, неизвестно через сколько времени после прибытия Федосьи в дом Евтихия Ивановича, повторяется сцена вроде той, какую вы, вероятно, видели на картине одного даровитого художника, выставленной года два тому назад в Москве. А спустя несколько лет где-нибудь в Замоскворечье или в уединенной улице близ Камер-Коллежского вала вырастает уютный домик, на воротах которого значится: такой-то (бывшей Федосьи).

Наша *ex*-кухарка теперь сама себе госпожа; хотя она по-прежнему ухаживает за Евтихием Ивановичем, называет его своим «момочкой», бережно укутывает для защиты от простуды, лакомит вареньями и соленьями собственного производства, но все эти супружеские нежности не мешают бывшей Федосье держать Евтихия Ивановича в руках, особенно когда он вздумает увлечься воспоминаниями молодости. Надобно еще заметить, что его супруга очень разборчива в выборе кухарок и горничных, строго смотрит за их нравственностью и, как наредкость, нанимает таких, что нет ни кожи, ни рожи...

Впрочем, ведь это исключение, и довольно редкое. Зачем же так долго останавливаться на нем и не лучше ли будет обратиться к общим правилам...

В один прекрасный день на какой-нибудь из московских улиц вы встретите следующую сцену. Тихим шагом едет ломовой извозчик; легко нагружен его воз, легко и оригинально: на тюфяке или на перине возвышается небольшой сундук, а на сундуке посиживает женщина в салопе или (смотря по погоде) в красной шали и держит в руках либо самовар небольшого объема, либо горшок ерани. Это переезжает кухарка с места на место и, подобно одному древнему философу, может сказать: *Omnia mea mecum porto* — «все мое при мне», потому что нажитое годами и трудами имущество ее заключается в сундуке, на котором посиживает она, равнодушно поглядывая кругом, на прохожих и проезжих, что мелькают перед нею, на улицы и дома, которые придется миновать ей, пока не достигнет она цели своего путешествия — места у новых хозяев или уголка в каморке, который надобно нанять, пока не отыщется теплое местечко.

Зачем же, Акулина, отошла ты от прежних хозяев? Чем было не место? Жила бы ты да жила, наживала бы себе привязанность хороших людей и копейку на черный день! А то ведь почем знаешь, каковы-то будут новые хозяева, — пожалуй, не пришлось бы потужить и о прежних; да хорошо еще, как едешь ты прямо на место, а не угол нанимать приходится. Разочти-ка, во что обойдется тебе свое собственное хозяйство. За угол заплатишь ты по крайней мере два с половиной (по твоему счету, на ассигнации); пить-есть надо, и чаек ты привыкла попивать всегда два раза в день; случится, завернет к тебе знакомка, на ту пору также без места, и ее ты напоишь чайком, а еще, пожалуй, вздумаете с горя и по рюмочке выпить; а все это счет да счет, из твоего кармана-то вон да вон. Проходит месяц-другой, и как ни грустно тебе менять заветную бумажку, бережно спрятанную в самом потайном месте сундука, а делать нечего, достаешь ты ее и размениваешь...

Почти каждый день отправляешься ты на вольное место¹, в надежде, не наймут ли тебя; но не всегда скоро сбывается эта надежда, и не одна ты прстоишь понапрасну в ожидании наемщика, по крайней мере такого, который давал бы настоящую цену, а не какой-нибудь целковый либо пол-

¹ Для немосквичей надобно заметить, что так называется место, где собирается в ожидании найма прислуга разного рода. Таких сборных мест в Москве два: на Новой площади (существующее исстари) и у Варварских ворот, где, кроме домашней прислуги, всегда можно найти толпы чернорабочих. Кухарки предпочитают площадь

тора в месяц: «Мне, — говорит, — хоть попроще, деревенску бабу, да подшевле»... Прослышишь ты случайно, что вот в таком-то месте требуется кухарка, — идешь туда, а там уже успели нанять. Рекомендует тебя какой-нибудь старинный кум или так хороший человек к какому-то барину; не нравится тебе рекомендованное место, кажется трудновато, либо в цене не сойдешься, и сидишь ты опять — не у моря, а в наемном уголку, ждешь не погоды, а местечка.

А накопленные денежки все убывают да убывают, и от заветной бумажки, которая еще не так давно составляла для тебя предмет тайной гордости и самых приятных мечтаний, от нее остается небольшое количество мелочи. И спустя еще немного времени принуждена ты нести в заклад свою любезную красную шаль и тогда уже рада какому-нибудь месту.

Зачем же, Акулина, довела ты себя до такого стесненного положения, зачем сошла с насиженного места?

Мало ли «резонов» найдет она в ответ на эти вопросы, то сошлется на пословицу: «рыба, дескать, ищет где глубже, а человек — где лучше»; то скажет: «чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу»; или: «грех да беда на ком не живут»; или выставит такие доводы, почему ей нельзя было не отойти от места, что житейскою основательностью их не убедится разве только один закоренелый скептик. В числе этих доводов чаще встречается обстоятельство, что хозяева «прогорели», из покоев переехали в комнатку; а реже всего, особенно с настоящею кухаркою, случаи, когда ей необходимо месяца два пожить где-нибудь в укромном захолустье... Последние случаи составляют сердечную тайну кухарки, и нам не годится обнаруживать их...

Как бы то ни было, на какие бы причины ни ссылалась Акулина Ивановна, на поверку все-таки выходит, что она любит переселения из дому в дом, что ее точно магнитом каким тянет от одних хозяев к другим, и не живется ей долго на одном месте. Люди, которые имеют привычку глубоко вникать во всякое явление, анализировать его, объяснят, может быть, эту черту в быте кухарки жаждою новых впечатлений, любознательным желанием изучать жизнь в различных ее проявлениях. Не пускаясь так далеко, я могу сказать лишь то, что кухарка, которая прожила бы на одном месте пять лет, заслуживает почетной награды от своих хозяев, — и средний срок, в этом случае, для всех Акулин Ивановен редко превышает два года.

Переходя с места на место, от одних хозяев к другим, в каком быту не наживется кухарка, чего не насмотрится?

Начинает она, положим, с артели фабричных. Здесь ей выгодное жалованье, носка дров и воды лежит на очередных

дневальных, в стряпне не спрашивается никаких разносолов, но зато уж и придется постряпать; щи и каша варятся не в горшках, а в котлах громадного объема; ранним утром надобно сварить какое-нибудь хлебово к завтраку, а обед с ужином идут своим чередом. Вследствие ли этих трудов или особенно-го расположения кухарки к какому-нибудь молодцеватому парню (из-за чего возникают справедливые укоры и ревность со стороны товарищей отличенного предпочтением), или по другим причинам, — только кухарка недолго наживает на фабрике, тем более, что служба здесь составляет большею частью еще только первый дебют ее, и она поступает на другое место.

Переходит она к артели разносчиков, которые сообща нанимают себе и квартиру и стряпуху. Здесь повторяется почти та же самая история.

Покидает кухарка и балагуров-разносчиков, и через чью-нибудь протекцию определяется в купеческий дом. Здесь она постигает все тайны домашнего хозяйства и выучивается печь удивительную кулебяку. Смотря по характеру, темпераменту и большей или меньшей свычке с столичными обычаями, кухарка живет или в ладах с прочею прислугой дома (горничною, кормилицею и нянькою), или ссорится с ними зуб за зуб. Только к тому, кто холит хозяйских рысаков, она почти всегда чувствует невольное влечение.

Пожила кухарка у купца, очутилась потом и у господ. В эту эпоху кухонные ее познания приближаются к искусству повара, и ей становятся не чужды разные заморские названия супов и соусов, хотя она переиначивает их по-своему.

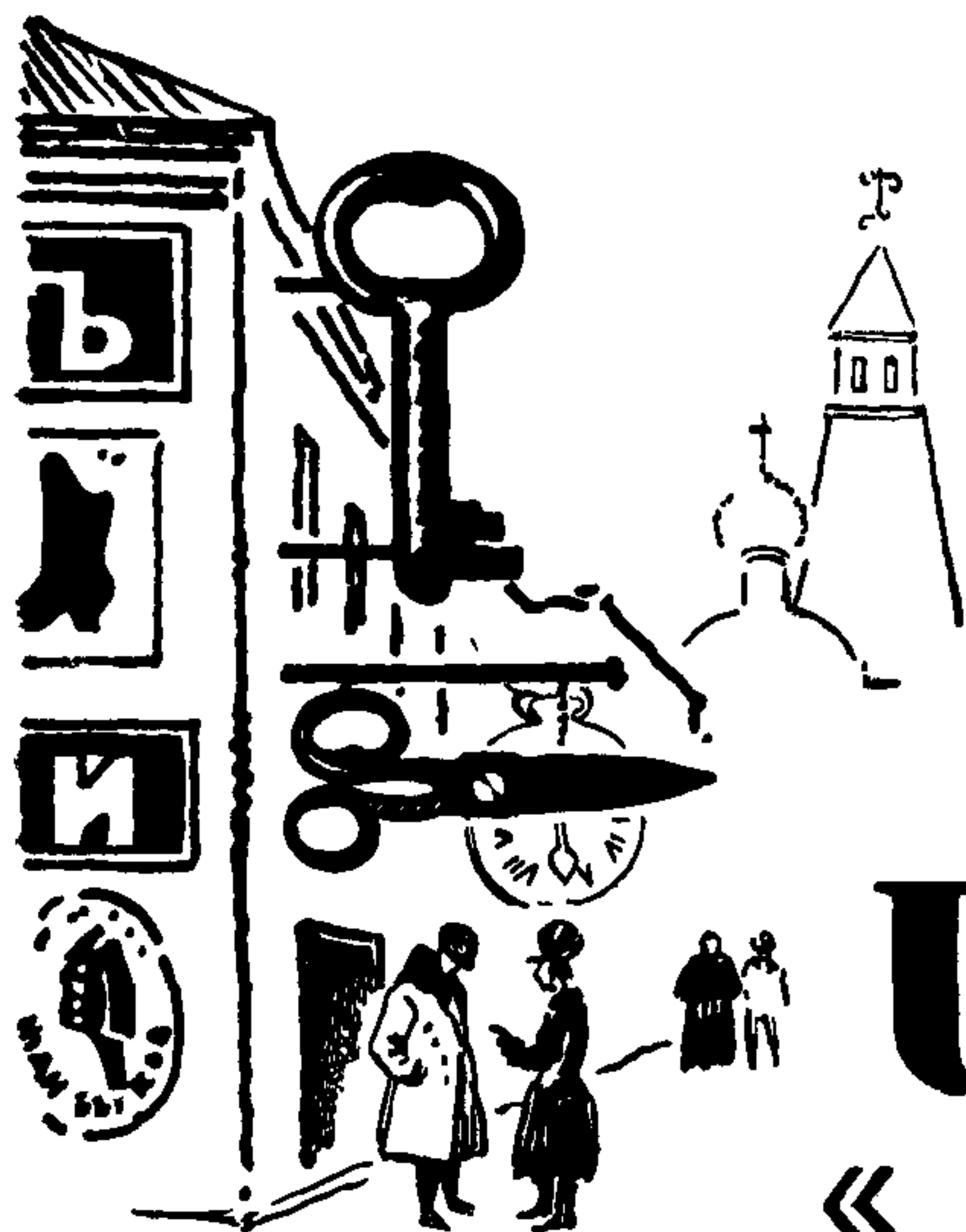
Семья аккуратного немца, небогатый чиновник, зажиточный мастеровой, барин так из благородных, вдова, которая держит нахлебников, старый холостяк, грек или армянин, — у всех этих лиц, с различными видоизменениями, по нескольку раз поживет кухарка, и всех оставит, чтобы перейти к новому, у которого еще не приходилось ей жить, или к кому-нибудь из числа тех, с чьим бытом она уже ознакомилась.

По краткости времени житья кухарки, по ее непосидчивости редко где привязываются к ней тою приятною, какая достается на долю другим членам домашней прислуги; редко где кухарка оставляет по себе продолжительное воспоминание, да и то ограничивается большею частью сравнением с ее преемницами в уменье стряпать и служить. И сама она одинаково равнодушно расстаётся почти с каждым домом, — и как горячо принимает к сердцу на первых порах те маленькие невзгоды, какие случалось ей перенести в этом доме, так же легко забывает и те приятности (относительно лакомого куска и чашки чаю), которые видела от хозяев его.

Равнодушные с обеих сторон, — и разве только на минуту прервется оно, когда где-нибудь на гулянье встретятся кухарка и ее бывшие хозяева. — «А, да это наша Акулина!» — скажет барыня, кивнув головою в ответ на поклон прежней своей стряпательницы; промолвит еще два-три слова, да и пойдет дальше под ручку с своим мужем. А кухарка пытливо посмотрит ей вслед, насмешливо улыбнется и проговорит сквозь зубы: «Ишь ты как раздобрела, не такая была!» — скажет это, да и отправится на качели с каким-нибудь подвернувшимся на ту пору кавалером. Тем и кончится эта встреча людей, которые когда-то были близки друг другу.

Но барыня знала, вероятно, одну только внешнюю сторону жизни кухарки, внутренней, может быть, даже и не подозревала в ней. А кухарка была невольною свидетельницей всех семейных историй, из которых иные, ограничиваясь четырьмя стенами, не переходя за порог дома, разыгрываются иногда сильнее и поразительнее всех драм, какие мы смотрим на театральной сцене; кухарка видела и знала все эти мелкие житейские огорчения, которые, как микроскопические насекомые, подтачивающие крепкий дуб, вконец обессиливают самую твердую волю и ожесточают самое мягкое сердце. Кухарка знала, отчего ее молодая хозяйка плачет тайком, и какая забота заставляет мужа, что души не видел в ней перед свадьбой, возвращаться теперь домой за полночь. Ей известно, куда хозяин девал деньги, когда сказал, что потерял их, и три дня ходил точно сам не свой. От ее глаз не укрылась та сцена, когда влюбленный и нежный супруг страшно грозил своей обожаемой супруге, не соглашавшейся подписать какую-то бумагу. Кухарка видела... мало ли что она видела, да молчала: «не мое, дескать, дело». С одной стороны, перед нею проходили семейные драмы и трагедии, с другой — комедии, водевили, и все это исчезло, исчезает, сменяется одно другим, забывается среди ее частых перекочевок с места на место, перекочевок, продолжающихся до той поры, пока судьба не скажет: «Ну, будет, послужила ты на своем веку, пора и на покой!..»

ПУБЛИКАЦИИ И ВЫВЕСКИ



«**Ч**то такое публикация и вывеска — известно всем и каждому. Кому принадлежит честь изобретения их — грекам или римлянам, когда последовало

это изобретение, во времена ли глубокой древности или под ведомством истории? — не место здесь и недосуг пускаться в разыскания. Для нас, русского люда, достоверно лишь то, что обе эти принадлежности развитой общественной жизни выдуманы не на берегах Волги, Днепра и Дона; публикация прикатила к нам вместе с первым кораблем, в одном и том же тюке, где заключались цивилизация, аттестация, рекомендация, амбиция, градация, генерация, вариация, грация, репутация, нотация, экскузация, профанация, мистификация, традиция, эрудиция, композиция, кондиция, конкуренция, сентенция, протекция и многое множество всяких акций, анций, инций и енций, содействующих обогащению отечественного языка; вывеска же приехала с зимним обозом натяжеле. Публикация породила у нас, в известном слое общества, поведенцию и надуванцию (*ars padivandi*¹, по выражению одного остряка), но еще продолжает ходить за море для усовершенствования; а вывеска обрусела, как немецкий булочник. Вот все, что можно и позволительно сказать об их истории, и чего, кажется, достаточно для приступа к современному быту той и другой.

Была пора, когда слухом земля полнилась, язык доводил до Киева и г-жа Простакова верила, что извозчики лучше всякой географии знают дорогу; прежде по горло было

¹ Искусство надувать

дела кумушкам-вестовщицам и тем добрым людям, которые готовы пять раз на дню пообедать, лишь бы услужить через это ближнему... То ли ныне? Слухи под опалую скептицизма, языку не дают более веры, г-жи Простаковой с огнем не найдешь, удел кумушек — сватовство, а добрым людям, переименованным в порядочные (*comme il faut*), осталось на долю составлять партию виста. . Человек сам стал машиною и требует, чтобы все шло у него, как заведенные часы, и никто не мешался бы не в свое дело. Встретилась ему какая надобность — продать, купить, заложить, — все, что только продается, покупается и закладывается, — он публикует, и дело в шляпе. Машина приготовит перья и бумагу, машина напишет публикацию, машина напечатает ее, машина разнесет во все концы вселенной, кликнет клич, — и будь желаемое хоть на дне морском, а явится оно перед чудодеем, как лист перед травой, по щучьему веленью, по его прошенью, вызванное могучею силою публикации. Рычаг,двигающий эту машину, не нужно называть: его слышат глухие, и видят слепцы; его зовут «презренным», а он сам презирает всех, потому что он и есть та точка опоры, которой искал Архимед, чтобы сдвинуть земной шар с места; и поэтому владелец полновесного груза смело плывет на всех парусах по широкому морю, а у кого оказывается недовес в балласте или балансе, тот садится на мель, удит рыбу в мугной воде или мечтает да пишет стихи... Но

Пофилософствуй — ум вскружится!

Лучше вот целая кипа публикаций всякого рода, вида и цвета. Посмотрим: «Продается дом на веселом и бойком месте. Требуется лакей трезвого поведения, знающий поварскую должность, а в случае нужды — кучерскую. Иностранец ищет компаньона из русских с капиталом. Сбежала собака, приметам хвост и уши рубленые... Приведена шестерня караковых лошадей, из коих одна известного завода: отец Юпитер, мать Пенелопа .»

Ну, для нас это неинтересно. Мимо. Пусть читают те, кому о сем ведать надлежит Далее. Мадам такая-то извещает, как о событии чрезвычайной важности, что модистка, которую она ожидала, приехала на днях из Парижа и привезла с собой большой ассортимент уборов *á la to, á la это и á la ни то, ни се* Гастрономический (попросту — съестной) магазин уведомляет о первом транспорте свежих фленсбургских устриц, доброты доселе здесь невиданной, так что «оныя даже пищат». Содержатель зубного кабинета публикует о получении из Америки «партии лучших искусственных зубов, превосходящих натуральные как в отношении прочности, бе-

лизны, так и удобства к жеванию и произношению». Рядом с этой публикацией какой-то добрый человек всенародно объявляет, что у него вставные зубы, которые он приобрел у одного зубоврача в столице, где «обретаются все блага жизни». Ну, эти известия не мешает принять к сведению.

А ведь в самом деле не ошибся добрый человек, сказав, что все блага имеются в столице. Вот кипа публикаций о разных увеселениях: каких здесь нет, и чем не потешает человек человека! Миновав обыкновенные театры, концерты и тому подобное, — потому что здесь не умеют писать порядочных публикаций, — далее видим: Олимп; Олимпийский цирк; удивительные эквилибро-механико-гимнастико-конные представления; бриллиантовые фейерверки с великолепным табло; Венеру, проезжающую на огненной колеснице в гости к Плутону; медвежью травлю; концерты на барабанах и кошачьи (первые представляют сражение при Ватерлоо, последние играют польку-мазурку); воздушные полеты; картины живые и туманные; зверей и людей в натуре и из воску; панорамы, диорамы, косморамы; механико-оптико-магические фокус-покусы; египетское волшебство; Геркулесов, Адонисов, тирольцев, американцев, — все это в великолепно-пышных программах, «не щадящее трудов и издержек, ласкающее себя надеждою заслужить благосклонность почтеннейшей публики», возвещаемое в разных чудовищных публикациях (аппопсе-monstre), вершковыми буквами, украшенное нередко политипажамы времен царя Гороха, — все это в состоянии наполнить пустоту обычной жизни людей, которые няньчатся с своим временем. Но только что готовишься запеть:

На радость жизнь нам боги дали

вдруг... улыбка замирает на губах, шутка улетает недоговоренная, лицо вытягивается, волосы топорщатся, дрожь пробегает по леденеющему телу... Из-за сборища игр и смехов, как тень в Гамлете, как гроб на пирах древних египтян, мрачно выглядывает следующая публикация: «Фабрика надгробных памятников. . . Рекомендуются почтеннейшей публике надгробные монументы в новейшем вкусе, с ручательством за прочность оных и за красивую отделку. Образцы можно видеть на всех кладбищах...» О ужас, ужас, ужас!.. Итак, должно умереть, а сперва сесть написать завещание.

Вот здесь, когда меня не будет... поставьте памятник новейшего фасона, сделанный на такой-то фабрике... Умереть по милости этого зловещего *temento togí*¹, которое своим появлением отравило радостную мину-

¹ Помни о смерти.

ту и грозит торчать, судя по двум почти годам, беспрестанно в глазах, нагнать тоску, истомить душу, уморить, пока не догадаешься умереть сам, не сделаешься потребителем изделий фабрики или заблаговременно не закажешь себе монумента в новейшем вкусе! Умереть во цвете лет, не дочитав всех публикаций, не посмотрев ни одной вывески!

Так назло, не хочу же, не стану умирать, не поддамся никакой фабрике, хоть распубликуйся она: у меня в руках «Истинный способ быть богатым, веселым, счастливым, здоровым и долговечным»; несомненная польза этого сокровища доказывается третьим изданием. Куплю его — и буду застрахован от всех бед и напастей, в том числе и от фабрики надгробных памятников. Мало того, обзаведусь всем, что может содействовать успешному осуществлению драгоценного «Способа». Разумеется, что потребуются прежде всего: «Копите золото, золото до конца...» Вот «Искусство наживать деньги», сочинение Ротшильда, денежного царя, а такой сочинитель уж, верно, не обманет. Стоит всего три гривенника. Хорошо; куплю я «Искусство», разбогатею, заживу пан-паном, все будет покорно моей воле, — и вдруг влюблюсь, потому что против молнии прекрасных глаз бессилён всякий «Способ»; влюблюсь и не буду любим взаимно: золото мое и сердце отвергнут, над вздохом улыбнутся, клятвам не поверят. Лишусь я сна и пищи, исхудаю, как скелет, и снова буду близок к надгробной фабрике. Что делать тогда?.. О добрая публикация! опять выручаешь ты несчастливца, и с сладостным трепетом сердца читаются следующие строки: «Нет более несчастья в любви, или истинный и вернейший ключ к женскому сердцу, искусство нравиться женщинам, основанное на изучении женской природы и примененное к духу нашего века». Книга петербургского изделия, цена полтинник, а с пересылкой во все города Российской империи три четвертака. Покупаю этот алмаз любви, и, как говорили в старину, самая неприступная крепость женского сердца спускает предо мною флаг. Будущей супруге своей, вместо свадебной корзинки, дарю «Искусство быть всегда любимой своим мужем»; «Секреты дамского туалета»; «Лучшее приданое для молодых девиц, желающих быть счастливыми в супружестве»; сам запасуюсь «Супружескою грамматикою, посредством которой каждый муж может довести свою жену до той степени, чтобы она была ниже травы, тише воды», — и женюсь в полной уверенности, что буду наслаждаться супружеским счастьем, благодаря и вспоминая бумагопрядильную литературу.

Но не всякий выберет себе такую блистательную долю. Иной пожелает довольствоваться скромною умеренностью, провести свой век тихо, не беспокоя никого и не мешаясь ни



Магазин русских изделий на Кузнецком мосту. Литография И. С. Гоголина.



Русские менялы. Раскрашенная литография Логинова. 1841 г.

во что. Хорошо. Да будет по его желанию. Год за годом, и вот придет к нему старость-нерадость и приведет с собой ватагу немощей. Лечиться скучно, расстаться с жизнью жаль. Что же делать в таком случае? Стоит только купить «Домашнего врача» (если лечебник Енгальчева уже потерял свой давний авторитет), посоветоваться с «Новейшим и вернейшим способом лечить все болезни смесью французской водки с солью», — и здоровье восстановится заново, в самом прочном виде. Это универсальные средства против всех болезней; а специальных и не оберешься: «Нет более геморроя»; «Лечение от запоя и пьянства»; «Трактат о болезнях волос»; «Симпатическое средство против сердечных болезней»... да всех и не сочтешь. Словом, перечитывая публикации, не удивишься, как скоро бумагопрядильная литература вникла во все подробности страждущего человечества, озаботилась о малейших его нуждах и во многом перещеголяла заморскую свою учительницу. Случится кому выжить из ума, ошалеть, — купи «Искусство сохранять память и приобретать, ее потерявши, не обман, а истину», — и ума прибудет палата; бегают какой-нибудь современный человек от долгов, пусть купит «Искусство не платить их», и кредиторы завоюют; один бережливый человек желает сократить свои расходы, немаловажную статью в которых составляют счета сапожника: пусть он пожертвует двугривенным на «Секрет носить сапоги и всякую обувь, не изнашивая», — и сапожный цех обанкротится; выдумает он, то есть этот бережливый человек, лично, своею особою, заменить кухарку, — к его услугам «Русская поваренная книга, составленная обществом хозяек, под дирекцією знаменитого Яра»; захочет он обойтись без цырюльника, — вот «Способ бриться без бритвы, мыла и воды», придет кому охота посмеяться над готовым остроумием, — извольте разориться на «Зубоскала; Анекдоты всех веков и народов; Приятного и веселого собеседника», — и хохочите до упаду.

Бумагопрядильная литература доставляет «надежных управляющих, которые удешевят доходы с имений»; вырачивает крыловскую спаржу; преподает «курс светских приличий»; сводит мозоли и бородавки; истребляет клопов и разных насекомых; изобретает новые печи, требующие вдвое менее дров; приготовляет блистательную ваксу, лучшую горчицу; отбивает хлеб у Боско, обнаруживая его фокусы; делает солод без сушильни, сахар без заводов, топит сало без котлов; гадают на картах, кофе и бобах, — делает все, что угодно публике, только себя не дает провести на бобах. Лишь бы придумано было заманчивое заглавие ее изделиям да написана ловкая публикация, — и хлопотать более не о

чем. земля русская велика и обильна, прокормит не одну тысячу дармоедов...

Мастерица бумагопрядильная литература составлять публикации; но и другие промышленности мало уступают ей в благородном стремлении завлечь публику. Послушайте:

«Не нужно нам более сальных свеч! Их могут теперь заменить такие-то...»

«NN et C^o, портные (Marchands tailleurs) из Парижа. Большой ассортимент готового платья. Заказы, исполняемые в 24 часа (не на живую ли нитку?). Экспедиции (!!!) во все губернии. Они ангажируют публику не оставить их своим вниманием...»

«Смерть клопам, тараканам и прочим нарушителям спокойствия мирного крова человека! Нижеподписавшийся ручается своею честью...»

«Правда красильного искусства. *Nes plus ultra*¹ совершенства: старые платья, без распарывания, чистятся и красятся заново в 24 часа...»

«Где вы обедаете, мой почтеннейший, что отрастили себе такую благостыню?» — спрашивает господин-спичка у господина весьма упитанного жизненною полнотою (как видно на политипаже, помещенном в заголовке объявления от одной гостиницы, под которым напечатан этот разговор). — «Постоянно там-то. Чистота, аккуратность, ловкость прислуги, умеренность цен, гастрономический шик на всех блюдах — вот девиз этого заведения, единственного в своем роде...»

Впрочем, русский человек иногда пересолит, занесет такую небылицу в лицах, что сейчас скажешь ему: «нет, брат, не наторел ты еще в надувательской системе». Зато залетные к нам гости, для которых Московия — обетованная страна, кипящая рублями и простофилями (*bonhomme*), — они тогда только попадают впросак, если какой-нибудь злой дух натолкнет их на мысль перевести свое широковещательное аппопсе² по-русски. Но на родном их диалекте, на этом конфетном языке, на котором чем больше слов, тем меньше дела, — здесь все шито да крыто. Немец занимается по большей части чернорабочими ремеслами, где дело говорит само за себя; притом солидная наружность и многозначительные: *ja, ja, so, so*, — поднимают его по крайней мере на десять процентов. Публикации здесь редко требуются; и француз жить без них не может, и дело у него не будет клеиться, и сам он затрется в толпе грошовых промышленников. Великолепная обстановка, бросающая пыль в глаза, размашистое,

¹ До последней степени.

² Объявление

высокопарное объявление — вот что подымает его в гору, вот на чем выезжает он, первый в свете красной и непременно артист какой-нибудь профессии — хоть ножниц или щипцов. — «Messieurs et mesdames, — говорит он поучительным тоном, как с кафедры, обращаясь к нам, северным варварам: — до сих пор волосочесальное искусство в России находилось на самой низкой степени, нисколько не соответствующей прогрессу других частей цивилизации. Им занимались большею частью ремесленники, не чувствовавшие в себе никакого призвания к этому артистическому занятию. Надобно родиться куафером. Посвятив всю жизнь свою шевелюре, я нарочно покинул Париж, где находился членом одного из знаменитейших волосочесальных заведений, переплыл моря и явился в эту столицу с пламенным желанием принять на себя попечение о ваших головах и головках. Могу смело сказать, что я обладаю всеми сокровеннейшими тайнами куаферии, и успехи мои по этой части не оставляют желать ничего более. Кому не известно, что прикосновение артистического гребня решает участь головки, дебютирующей в свете, а мастерски приколотый цветок или грациозный локон определяют число побед на бале. Для человека хорошего тона прическа то же, что оружие для воина. С этой целью я открыл роскошно комфортабельный зал для стрижки и завивки волос, в котором находятся особые апартаменты для дам. Здесь имеется все, что может удовлетворить самому прихотливому вкусу: большой запас настоящих французских волос, превосходный ассортимент готовых кос, париков, накладок, буклей, бандо, торсад, лучшие парфюмерии, косметики, феноменальная вода, окрашивающая волосы в одну минуту, и проч., словом, все, что принадлежит до моего искусства. Надеюсь, что публика» и т. д. Надейтесь, г. профессор гребенки, надейтесь; а мы на домашнем совете вздумаем думу крепкую: куда же девалась шелковая коса души-красной девицы, перевитая лентами, пересыпанная жемчугом? кто обрезал кудри русые добра-молдца? — подумаем, вздохнем да и пойдем стричься под приезжую гребенку á la что-нибудь пожалуй хоть á la Russe, если скажут нам, что Париж удостоил издать такую моду.

Стоит еще заметить в публикациях различные прилагательные, какими сопровождается слово продажа: продают — за отъездом, за излишеством, по ненадобности, по обстоятельствам, по нужде... Сметливые покупщики соображают по этим эпитетам план приступа и ход дела: нужда человеку, воспользуйся ею, прижми его и несколькими удачными покупками составь себе славу умного человека. Впрочем, и продавцы не всегда промах, и слова: обстоятельства, нуж-

да, отъезд — нередко одна приманка, на которую идет крупная рыба. Вообще, известное выражение «дешево и сердито» искушает не одного добропорядочного человека, и, пользуясь этим невинным желанием, многие магазины назначают, кроме громкой Фоминой недели, еще несколько недель в году для продажи «по самым дешевым ценам»; иные вдруг объявят, что спешат распродать ассортимент таких-то товаров «с необыкновенною, неслыханною уступкою», да и публикуют это добрый год, к удовольствию расчетливых покупателей и к пользе своего кармана. А один книгопродавец, которому досадно было видеть, как хватают барыши Ножевая линия с Панским рядом в Фомину неделю, объявил, что у него продаются литературные остатки!!!

Но не все же одни пуфы (по-русски — надуванья) встречаются в публикациях. Много в них вызывающего не одну насмешку; есть в них и горе и тайны, скрытые под формою букв: говорят они и мысли, лишь надо читать их

С толком, с чувством, с расстановкой

«Одинокий пожилой человек ищет места управителя в надежде заслужить себе вечный приют усердием и честностью. Спросить там-то. Тут же продается канарейка, которая дерется на руке и поет». И вот представляется бедная комнатка-уголок в глухом переулке, в старом деревянном домике; убранство ее — ветхий стол, давно приговоренный к сожжению, стул без задка да матрас с чемоданом вместо подушки. Здесь, на хлебах у какой-то вдовы, приютился в ожидании места объявитель. Издалека притащился он в надежде основаться и дожить свой век в столице. Ни родных, ни знакомых — нет у него никого в огромном городе; был, правда, один сослуживец-однокашник, да он живет теперь в таких палатах, что и подойти страшно; верзила-швейцар стоит у дверей, докладывает по выбору, а на прищельца и не взглянул. Потолкался кое-куда будущий управитель — везде один ответ: «подождите». Ждет он и месяц, и два, и полгода, перебиваясь со дня на день последними крохами; наконец, и крохи под исход, и продавать более нечего, разве единственный заслуженный фрак. Хозяйка отдыха не дает: «когда же, батюшка, разбогатеешь ты деньжонками? Сама вдова горькая, бьюсь как рыба об лед». — «Дай напечатаю в газетах, авось, будет толк, навернется, может быть, какой приезжий помещик», — думает бедняга и отдает трудовой четвертак за скромную публикацию. Но если кому и нужен управляющий, кто поедет такую даль? А когда и завернет случайно наемщик, не сойдутся: не учился, дескать, рациональному хозяйству, осанки управительской не имеет, смирен больно, не

сумеет прикрикнуть как должно, распечь кого следует. И опять тягостные дни бесплодного ожидания, опять пуще прежнего пристаёт хозяйка, грозит жаловаться... «Делать нечего, продам Анночку», — решается бездольный управитель; а Анночка — канарейка, вскормленная и обученная им в счастливые годы. Привез он с собою желтобокую певунью и век бы не расстался с нею, да нужда, авось дадут на редкость рублей двадцать... Новая публикация, новое мучительное ожидание. Кого-то бог пошлет — покупателя или наемщика? Ну, Анночка, прыгни, голубочка, на руку, запой в последний раз бриллиантовой флейтой с раскатами... Ох, нет, ни за что не расстануся с тобой!»

«Гувернантка, знающая языки французский, немецкий и музыку, желает поступить к малолетним детям в самую дальнюю губернию». Почему же в самую дальнюю, в глушь, в Саратов, в Оренбург? почему не здесь, в столице или в ближней губернии? Не высказывается ли тут же желание унести далеко от суетной, шумной жизни, от любопытных взоров, от людских пересудов следы душевного горя, неизлечимой сердечной раны, и среди новых впечатлений, однообразного, скромного быта, заглушить в себе грустные воспоминания? Кто знает! Чужая душа, что лес темна.

«Проездом от Арбатских ворот под Девичье потерял старинный кинжал с простой деревянной рукояткой; доставивший его по адресу получит такую-то награду». Это что значит? Потерял антикварий, возивший показывать другому любителю старины свое приобретение, стоившее ему немалых хлопот; поднял потерю уличный мальчишка и, рассмотрев, что ножик крепкий, усердно отточил его на камне и определил исправлять какую-то домашнюю службу? Мигом разнесла публикация весть о дорогой для древно-любителя потере; но, увы! мальчишка не читает газет и ценит свою находку не на вес золота, которое мог бы получить от хозяина вещи, а дешевле обыкновенного ножа, потому что у этого последнего ручка-то костяная... А между тем бедный антикварий не знает себе спокойного часа; чуть стукнули в дверь — кто? не кинжал ли принесли? Займется делом — мысли бегут за мечтами, в строках мерещится узорчатая рукоятка с надписью, объяснение которой доставило ему столько удовольствий; забудется сном — сердце не на месте, и тревожная дума пробуждает ежеминутно.

Потеря другого рода — и другая сторона медали. «На маскараде в Большом театре обронено золотое кольцо, с медальоном из волос, на котором вырезаны литеры Н. И. 18..» Здесь как гадать? Действительно ли волею злой судьбы,

потерян сердечный сувенир, или какое-нибудь остроглазое домино похитило его с согласия владельца за ужином tête-à-tête¹? Сожалеет ли потерявший об утрате, или с приятным чувством вспоминает о милой болтовне, которой предшествовало похищение кольца, и только для формы, для успокоения особы, с которой связало его кольцо лет пять тому, публикует во всеобщее известие о сомнительной потере? За неимением фактов решить трудно.

«Отставной унтер-офицер желает быть дядькой или смотрителем за домом; он же может быть камердинером, дворецким и поваром; знает мастерства: сапожное, башмачное и портное». Нет никакого сомнения, это суворовский чудо-богатырь. Бил он турок и поляков, в Париже пировал, под Варшавою стоял, — а теперь, уволенный вчистую, не хочет, да и не может жить без дела: со скуки пропадешь. Нет нужды, что на плечах он носит за шестьдесят: любого двадцатилетнего парня заткнет за пояс. Прошел он сквозь огонь и воду, едал хлеб не из семи печей, — так ему всякая должность знакома, как свои пять пальцев, ничего из рук не вывалится. И малюток он будет няньчить, и за подростками присматривать, и взрослым прислуживать, и кушанье какое угодно состряпает, и платье заново поставит. Не упускайте же такого клада, благо сам в руки дается; а ты, храбрец-кавалер, здравствуй на многие лета!

«Душеприказчики покойного NN (по слухам — миллионера) сим вызывают, по неизвестности местопребывания, единственного его наследника (такого-то), в установленный законом срок, для вступления во владение завещанными ему благоприобретенными капиталами покойного». Итак, оказывается, что богатые дядюшки существуют не в одних романах. Где-то и как застанет счастливица нежданная весть? Может быть, под железным гнетом обстоятельств, в долгу как в шелку; может быть, у него не найдется и рубля, чтобы угостить первого, кто, как живой водою, вспырнет его этим известием, — у него, который через сутки, отуманенный волшебным превращением, не будет знать, что делать с своим богатством!

Но ведь это одни мечты, работа воображения, заметит иной положительный человек. Спорить не буду; а если угодно вам положительности, потрудитесь прочесть заключительную нашу публикацию: «Отдаются под верные залогов от 30 до 50 тысяч рублей серебр.». Кажется, увесистее нельзя и требовать, даром что напечатано неказисто. Скорее же, скорее все, владеющие верными залогов, садитесь — не на

¹ Tête-à-tête (франц.) — наедине

ковер-самолет, изгнанный из употребления, а на паровоз — и спешите по адресу, пока не упредили вас.

Паровоз — эмблема нашего парового века, требующего, чтобы всякий мало-мальски разумный человек хоть бы рысцою, да бежал и успевал за его семимильными шагами, под опасением, в случае обыкновенной ходьбы, прослыть отсталым от века, — паровоз, и ты попал в публикацию «Магазин под знаком паровоза». Что ж это такое? Да ничего более, как вывеска, изображающая паровоз, ксторый мчит на себе колесную мазь, чернила, лошадиные лекарства да бритвы с ремнями, потому что эти предметы, вероятно, выражающие дух века, продаются в означенном магазине.

Следовательно, вывеска — это указатель, способствующий отысканию какого-либо предмета, и название свое получила от того, что вывешивается. Это ясно и не требует никаких филологических изысканий. Публикация — указатель временный, вывеска — постоянный. В древности всякий, занимавшийся какою-нибудь промышленностью, вывешивал признак, по которому легко было бы найти его без расспросов. С распространением образованности обычай этот, по многим причинам, оказался неудобным, слово заменило дело, и возникла новая отрасль живописи — вывескописание. Впрочем, следы древнего обычая сохранились местами еще и донныне; обручник вывешивает над своею лавочкою-мастерскою связку обручей; местопребывание стекольщика означается неказистой рамкой из разноцветных стекол, иногда с изображением долота; лавку шорника указывает висящий на дверях хомут или дуга; на притолоке у дышащего паром окна калачника торчат «крупичаты-горячи». Но скоро-скоро эти незатейливые приметы уступят место вывескам, и скоро все будет вывеска...

Постепенное усовершенствование этих последних можно видеть и в настоящее время; но скромные остатки старины как-то совестятся стоять рядом с надутыми произведениями современности, и почтенная, изъеденная временем наружность их боится сравнения с блестящей золотом и разными узорочьями, видной на всю улицу. — «Ваеннай и партикулярный партъной Иванъ Федаравъ» — прячется подальше от «*Marchand-Tailleur de Paris*»¹; «Авошенная лафка» живет в захолустье от «Магазина колониальных товаров»; «Перукумахер и фершельных дел мастер, он же отворяет жильную, баночную и пиявочную кровь», изобразивший важнейшие моменты своей деятельности на вывеске, украшенной кавалером

¹ Портной из Парижа

с дамою, не смеет приютиться рядом с великолепным «Salon pour la coupe de cheveux»¹. «Въхот взаведения растеряцую» — устроен на почтительном расстоянии от «Hôtel de Dresde», смиренная домашняя вывеска — лоскуток бумаги, возвещающая, что «Всем доме одаетца каморка», краснеет, глядя через улицу на затейливую дощечку с надписью: «Chambres garnies á louer»² ..

Антикварию городской жизни любопытно будет заняться исследованием стародавних вывесок; «блюстителю русского языка» может прийти охота побалагурить насчет их ссоры с грамматикою, но нам решительно некогда: животрепещущая современность раскидывается перед нами такой великолепной картиной, поражает столькими диковинами, что нет никакой возможности устоять против ее обольщений.

Кузнецкий мост, Тверская, Никольская, Ильинка — какое зрелище пред очи представляете вы? Домище на домище, дверь на двери, окно на окне, и все это, от низу до верху, усеяно вывесками, покрыто ими, как обоями. Вывеска цепляется за вывеску, одна теснит другую; гигантский вызолоченный сапог горделиво высится над двухаршинным кренделем; окорок ветчины красуется против телескопа; ключ в полпуда весом присоединился бок о бок с исполинскими ножницами, седлом, сделанным по мерке Бовы-королевича, и перчаткою, в которую влезет дюжина рук; виноградная гроздь красноречиво довершает эффект «Торговли российских и иностранных вин, рому и водок».

Это вывески натуральные, осязательно представляющие предметы; а вот богатая коллекция вывесок-картин: узкоглазые жители Срединного царства красуются на дверях чайного магазина; чернокожие индийцы грациозно покуривают сигары при входе в продажу табака, а над ними длинноусый турок, поджав ноги, тянет наслаждение кейфа из огромного кальяна; пышные платья и восхитительные наколки обозначают местопребывание парижской модистки; процесс бритья и пускания крови представляет разительный адрес цырюльни; различные группы изящно костюмированных кавалеров образуют из себя фамилию знаменитости портного дела; ряд бутылок, из которых бьет фонтан пенистого напитка, с надписью «эко пиво!» приглашает к себе жаждущих прохлады; Везувий в полном разгаре извержения коптит колбасы; конфеты и разные сласти сыплются из рога изобилия в руки малюток, а летящая слава трубит известность кондитерской; ярославец на отлете несет поднос с чайным прибором; люби-

¹ Салон для стрижки волос

² Сдаются меблированные комнаты

тели гимнастики упражняют свои силы в катании шаров по зеленому полю...

Но что ж тут удивительного? Товар лицом продается, а публика, хоть и почтенная особа, однако любит разные приманки. Все это тешит взор, а сердце ничуть не шевелит: надписи, надписи — вот отчего оно бьется сильнее обыкновенного. Какой прогресс, какое быстрое развитие, какая скороспелость!.. Смотришь — и не верится, начнешь думать — и мысли врозь от радости. Русский дух насолил не одному порядочному человеку, а здесь его и видом не видать, и слыхом не слышать, и баба-яга может разъезжать безбоязненно во все четыре стороны. Париж, настоящий Париж, то есть, разумеется, самый заманчивый уголок его, в футляре и за стеклом, чтобы наш северный мороз не пошутил с залетным гостем... *A la mode du jour, au pauvre diable, à la coquette, à la renommée, à la confiance, à la locomotive, au Rocher de Cancale, à la ville de Paris, à la ville de Lyon, à la ville de Moscou...*¹ Позвольте, как же это Москва попала в Москву, и из златоглавой первопрестольной столицы-матушки сделаласьвиллой? Да так! Век приказал, а кто смеет спорить с веком: поневоле нарядишься в маскарад...

Мало ли чего не знала и о чем не воображала добрая старушка прежде! Были у ней, например, просто лавки да ряды, что ломились под товарами; прошло не много, не мало лет — и магазины затерли лавки чуть не в грязь; минуло еще годков десять — приехали депо, и теперь, куда ни погляди, везде депо: у хлебника депо печенья, у табачника главное депо сигар, у помадчика депо благовонных товаров, здесь депо пивок, там депо дамских кос... Потом пожаловали пассажи, галереи, маленькие базары и *à la*, которые, по-видимому, имеют волшебную силу притягивать к себе русские кошельки и опорожнять их *à la* так или сяк. Прежде, например, один русский человек, портной по профессии, Иван по имени, Иванов по отчеству, вздумал написать на своей вывеске, что он «из немцев», вздумал единственно потому, что немцам на Руси шибко везло, — написал и сел у моря ждать погоды. Куда! не тут-то было: земляки подняли такую тревогу, такой хохот, что чуть не сжили бедняка со свету. А потом, лет через двадцать появились *frères Koussmin, frères Pantelejeff, Wolkof père et fils, Williamson Koubasoff*² (в паспорте значится: Василий Васильев из Коломны), Егор обратился в

¹ Часто встречавшиеся вывески французских магазинов «Последние моды» — «Дешево» — «Кокет» — «Репутация» — «Доверие» — «Двигатель» — «Скала Канкаль» — «Париж» — «Лион» — «Москва» .

² Братья Кузьмины, братья Пантелеевы, Волков отец и сын, Вильям сын Кубасов.

Жоржа, Федор в Теодора, — и ничего, все с рук сошло, и теперь еще сходит, потому что «нам без немцев нет спасенья», и смесь французского с нижегородским долго еще будет теснить смиренный русский язык... Прежде, например, Москва в простоте сердца верила, что запрос в карман не лезет, и что если изба красна углами, то и лавка хороша не зеркальными окнами, не лаковыми шкафами, не в барашки завитым *commiss*¹ и не вертлявою *dame du comptoir*². Вдруг подул ветер с полуночи, и все перекувырнулось вверх ногами, и русский человек, особенно борода, сделался таким плутом, что без обману и часу не проживет, и торговаться стало стыдно, *mauvais ton*³, и в лавках наступили холод с темнотою, и сидельцы разжалованы были в неучи. *Prix-coustant, pris-fixe*⁴ — как магнит, потянули к себе покупателей, и добрые люди, не морщась, приплачивали по пятидесяти процентов и за комфорт магазина, и за галантерейное обхождение *commiss*, и за улыбочки конторщицы: дорого, дескать, да мило. Счет всегда круглый, рубли да рубли *en argent* и удивительно как округляет карман. К счастью, снова проглянуло солнышко и разогнало туман, заставший было всем глаза. Перекрестился русский человек, нанял целый дом, разубрал его как следует, битком набил товарами собственных своих трудов, обозначил скромной надписью: «Русские изделия» — и заторговал на славу. Десятки тысяч рублей оборачиваются здесь ежедневно, сотни тысяч переходят из рук в руки в других местах, где дело делается по-русски, не в затейливом магазине, а просто в лавке, в полутемной палатке, не обозначенной даже и вывескою. И если покупателю нужны не *bijoux*, не *parfumerie* с *galanterie* и не *bonbon*'ы⁵ да разные вздоры, он может смело, с полным доверием к старинному «праву-слову», обратиться к земляку, помня, однако, что на грех мудреца нет, и в семье не без уроды.

«Но вкус, — слышатся возражения, — вкус: кто даст нам его? Ведь мы и с заграницею торгуем одними сырыми, грубыми произведениями: салом, кожами, пенькою!» О вкусах никто и не спорит, господа. Законодательство по этой части, издание мод, острот, любезностей, болтовни и всяких вздоров пусть и остается, по праву давности, за великой нацией. Например, касательно одежды — пусть они одевают нас, лишь бы в лапти не обули; пусть чистят наши перчатки, лишь бы вовсе нас не обчистили; касательно волос — пускай привозят сюда

¹ Продавцом, заведующим.

² Продавщица

³ Дурной тон

⁴ Прейскурант, цена без запроса

⁵ Ювелирные украшения, парфюмерия, галантерея, конфеты

французские, лишь бы наши при нас остались, касательно болтовни — пускай тешатся сколько душе угодно, только бы не нам пришлось платить за чужие грехи, и прочее, и так далее.

Впрочем, это дело уже решенное, и отставные учителя наши давно пользуются своими преимуществами безданно, беспошлинно. Вон — длинный ряд вывесок, возвещающих место жительства разных артистов по части гребенки, иголки, шила и ножниц: это все знаменитости. Такой-то, одна фамилия, без всяких атрибутов ремесла, — и фамилия эта гремит. Мало того: если Пьер был знаменит, то и Жан, называя себя его *successeur*¹, пользуется такою же известностью; если основатель магазина нажил своей профессией дом, то его преемник питает надежду нажить два...

Может быть, надоело глазеть на мертвые вывески, — так смотрите на живые, на ходячие: не одна Москва — весь свет полон ими ..

¹ Преемник

САМОВАР



К ипит медный богатырь,
полымем пышет его гнев-
ное жерло; клубом клубит-
ся из него пар; белым
ключом бьет и клокочет
бурливая вода...

Близко наслаждение; готов душистый чай. Какой вкус, какой запах: что пей, то хочется! Чашка за чашкой, и вот мало-помалу во всем существе, по всем жилкам и суставчикам, разливается неизъяснимое самодовольствие; тепло становится жить на свете, легко и весело на сердце; ни забота, ни печаль не смеют подступить к тебе в эти блаженные минуты. Хорошо. Тихая лень обаяет душу и тело, все чувства в бессрочном отпуску; хлопотливому уму-разуму отдых, игривому рою мечтаний полная воля... Приходят и сумерки, задумчивые зимние сумерки. Кругом тишь и темь, сидишь в каком-то полузабытьи, дремать не дремлешь, а похоже на то. В легких облаках вьющегося пара вереницей мелькают фантастические лица; воображение уносится за тридевять земель, точно в пору детства, когда засыпаешь, бывало, под сказки бабушки и летишь раздольною думою в тот волшебный мир, где живут Иван-царевичи с жар-птицами, бабы-яги да мужички с ноготок, борода с локоток...

Вот и самовар заводит обычную свою песню на разные голоса. То затянет ее дребезжащим голоском подгулявшего старика, то хватит пронзительного дисканта, то возьмет мягкого тенора, из него возвысится до громкого basso-cantante и вдруг спустится в певучее mezzo-soprano. Замолкнет на минутку, как будто раздумывая о чем-то, и зальется опять звон-

кой песней, то радостной, то заунывной. Какой же смысл таится в ней? Ведь не на одну забаву себе и хозяину надрываешь ты грудь, шумишь и гудишь во всю мочь! Что-нибудь не даром. Давно мы знакомы с тобой, часто прислушиваюсь я к твоему загадочному пенью; иногда, кажется, нахожу ключ к нему; неопределенные звуки облекаются в слово, в мысль, — и вдруг обрывается путеводная нить, и опять слышатся одни неясные вариации на непонятную тему...

Попробуем еще раз Запой, сделай милость

А! Так. Плачешься ты на судьбу, вспоминая старину славное было время — и люди были долговечнее, и посуда крепче. Все делалось особого крепкого закала, не хруптело от какого-нибудь ничтожного толчка, не знало износу и храбро сопротивлялось губительному времени. Что за вековая была прочность! Медь — жила увесистая, такая, что из одной вещи вышло бы пяток современных; серебро — все было настоящее, высокой пробы, широкого размера, никак не голь накладная, или самозванец нейзильбер; бронза добротностию и красою мало уступала золоту; камень дорогой — настоящий самоцвет, не шутовское *imitation de diamants*, изобретенное веком, который хочет рожь на обухе молотить и зерна не уронить. Да. Служили вы отцу, заново переходили к сыну, и внук получал дедовское наследие и бережно хранил его, как родовую святыню, зная, что не на прах и не на час собиралось оно, а скоплялось потом и бережливостию, заготовлялось в прок и на век, с мыслию о нем, еще не родившемся потомке. Привольно было обжиться в одной семье, весело было служить признательному человеку. Теперь как в воду кануло это золотое время. Разлюбил человек воспоминания, отрекся от старины и, закалив свое сердце в броню из металлов, бежит вперед без оглядки, точно вырос он в парнике, а не на почве, увлажненной слезами и кровью нескольких поколений. До вас ли, стариков, ему, занятому исключительно одним собой, своими нуждами и выгодами? На что ему дедовские кубки, братины, столетние кресла, фамильные портреты, вековые пергаменты? Одно он переплавил в хрупкие столовые приборы, другое продал менялам, заложил ростовщику, третье валяется в кладовой, обреченное тленью и в добычу мышам... Если самого себя меняет он на неделе семь раз, то какого же постоянства ждать от ветренника в отношении к самоварам! Вот и ты, того и гляди, попадешь под опалу, забудется долговременная твоя служба, и продадут тебя в лом — не за порок какой-нибудь, а единственно за то, что старомодного ты фасона, отстал от века. Пройдут года, и никто не вспомнит о тебе, никто не скажет, что был такой-то самовар, который

столько-то лет грел воду для наслаждения и утешения человечества! Грустно... На каком же основании создалась жизнь зонтика? Как смели калоши иметь свою историю? Кто позволил вести путевые впечатления зайцу? Откуда взялись приключения булавки, червонца, синей ассигнации? Да, словом, редко у какого из предметов, ничуть не полезнее, не заслуженнее тебя, не было своей биографии, своего историка. За что же ты один подвергаешься несправедливому забвению? За какую провинность обижают тебя судьба-мачеха? Бедный самовар!..

Чу! радостно загудел ты, давая знать, что поняты твои жалобы. Начнем же скорее, пока не простыл в тебе жизненный пыл, повествование о твоей кипучей жизни, соберем в одно все отрывки ее, что слышались и виделись мне под твой говор в длинные одинокие вечера.

Вышел ты на свет в городе, где по части металлических изделий — чего хочешь, того и просишь. Это свидетельствует старинная надпись, кудрявым почерком вырезанная на ободочке твоей крышки: «*Василей, Иванъ Ломовы в Туле*». Не долго пробыл ты на родине, и как пришла пора, хозяева повезли тебя к Макарью, вместе с многочисленной артелью разных самоваров и всякой медной посуды. Поехал тут самовар-будан в три ведра объемом, председатель вечеров с наемными кондитерами и загородных трактиров-палаток; поехал и самовар-крошка в десять чашек величиною, отрада холостяков; приютились и дорожный складной, и десятки семейных самоваров разной вместимости; кастрюлям, чайникам, подсвечникам не было счета. Приехали вы на всесветное торжище, покрасовались в лавке недели две и разошлись по разным концам земли Русской, кто куда. Тебя привела судьба жить в Рязани, в Солдатской слободке. Хозяин твой пожилой чиновник какого-то суда, богат лишь одними детьми да заботами. Уже давно собирался он обзавестись самоваром, и жена сколько раз говорила: «Когда же мы, Егор Афанасьевич, перестанем греть воду для чаю в горшке? хоть бы постыдились добрых людей!» — да на всякое хотение было терпение, и не явись неожиданно наградные деньги, пришлось бы еще не один год довольствоваться горшочком. Зато уж и было радости, когда привезли тебя в трехконный с зелеными ставнями домик новых твоих хозяев! Настоящий годовой праздник, особенно для детей, которые не могли наглядеться на твою светлую, как стекло, наружность, на узорочную конфорку, на хитрый кран, хлопали ручонками, кричали, бегали, — так что, благодаря их возгласам, почти весь околоток мигом узнал, что Егор Афанасьевич купил самовар, и не одна домовитая хозяйка позавидовала такой дорогой в то время

вещи. А радостная семья, как водится, тотчас принялась обновлять покупку, и для этого важного случая устроена была надлежащая закуска и приглашено несколько говорливых соседей. Вот запылала уголья, зашумела вода, пошло диковинное бурчанье — ну, честь имеем поздравить: поступил ты самовар на службу, дана тебе жизнь и душа — служи же на пользу человеку и себе на славу. На новоселье все идет хорошо. Кипя ключом, горя жаром, на столе, покрытом белоснежной скатертью, среди семьи старинных чашек, дружелюбно приклонившись краном к объемистому чайнику, ты составляешь главный предмет разговора, к тебе относятся все похвалы за чай. «Нет никакого сравнения с водою, грекою в горшке!» — слышится со всех сторон, и никто не прочь выпить лишнюю чашку аппетитного напитка; даже маленькому Мише позволяется выкушать более обычной порции.

На следующий день горшок получает первоначальное свое назначение — служить на кухне, самовар вступает во все его права и, разумеется, с честью исполняет свою многотрудную обязанность. Работы вволю. Прежде семья Егора Афанасьевича пила чай изредка, по праздникам, или для гостей, а в будни довольствовалась мятой, бузиной, липовым цветом и другими домашними травами, да и то когда сподручно было согреть воду в горшочке; а как завелась благодетельная машина, то и питье чаю обратилось в привычку, почти в необходимость, тем более, что во всякое время, как только захотелось, можно мигом поставить самовар и усладить свою душу. Пришел кто из знакомых, чем лучше попотчевать его, как не чаем? Заболела у кого-нибудь из малюток голова, понездоровилось самой сожительнице Егора Афанасьевича — на что полезнее лекарство, как чай? А случалось нередко и так: вечером Егор Афанасьевич придет от должности с огромною связкою бумаг, которые непременно надобно перебелить к следующему утру; мочи нет, как болит у него поясница, и глаза плохо видят ночью; да что ж делать-то: служба! Походит-походит труженик по горенке, побрюзжит на судьбу, на обстоятельства, кстати даст нагоняй кому-нибудь из шалунов-ребятишек, да и кончит тем, что скажет жене: «Поставь-ко, матушка Катерина Александровна, самоварчик: авось, будет полегче! бог не без милости!» И точно, напившись чаю, он перестанет хмуриться, развеселится, от сердца отойдут житейские невзгоды, как рукой снимет нездоровье, — усердно засядет ворчун за дело и просидит за ним, не разгибая спины, пока не осилит срочной работы.

Другу-утешителю человека в горе, другу-собеседнику в радости — самовару особенный почет и любовь ото всех. Занимает он самое видное место в комнате на комод; каждую

субботу чистится кирпичом с уксусом и, благодаря этой операции, смотрит всегда как будто сейчас с молотка, случись кому из соседей попросить его на часок, хозяйка дает, но с строгим наказом, чтоб не испортили ее любимца. Только тогда и бывают в семье Егора Афанасьевича недовольные самоваром, когда мать подвергнет крошку-шалуна за провинность чрезвычайному наказанию — остаться без чаю; да и то не более часа продолжается это неудовольствие: материнская нежность оттирает детские глазки, и самовар снова делается миленьким, хорошеньким, певунчиком.

Но время-то между тем знать ничего не хочет — ни горя, ни радости, и бежит быстрее воды; день исчезает во дне, год поглощается годом. Прошло не мало лет твоей службы у доброй семьи. Два раза успел ты побывать в полуде; врос в землю, избоченился уютный домик; поседел как лунь и сгорбился Егор Афанасьевич; а Катерины Александровны нельзя и признать с первого взгляда: настоящая старуха. Много горя и мало радостей видела среди себя согласная семья. Детей, кроме двоих, всех бог прибрал; да от этих двоих не скоро можно было ожидать подпоры родительской старости. Миша еще учится в гимназии, а сестра его на возрасте, через год невеста — но кто же возьмет бесприданницу?

Вот и еще минуло года с два. Егор Афанасьевич приказал долго жить. Известно, что хорошие люди и богу надобны; да и по летам-то смерть глядела старику уже через плеча, со дня на день следовало ожидать ее; но как будто вовсе непредвиденным, страшным ударом поразила она осиротелых. Как быть, чем жить? Делать нечего, бросай, Миша, науку, ступай служить, благо начальство помнит старика-отца, а ты, Аннушка, полно гадать о женихах, просиживай ночи за работой; прощай, буренушка, лет десять снабжавшая нас молоком: приходится вести тебя на базар; прощайте и яблочки из своего сада: вас снимет барышник.. Но какие средства ни употребляли сироты, чтобы не чувствовать горя горького, не терпеть нужды безотступной, — без головы, без надежной подпоры им было куда как туго, и завтра всегда являлось печальнее сегодня. Редко развлекал самовар тоску своих хозяев; сплошь и рядом случалось, что вместо отрады он приносил с собою новую печаль. Подадут его на стол, закипит он как следует, зальется песнею, — и вдруг старушка вспомнит, что покойник любил этот говор, или что весел он был в этот же самый день, столько-то лет тому назад, — вспомнит, да и зальется слезами; глядя на нее, заплачут и дети...

Но не одни заботы о насущном пропитании, что тяжким камнем налегали на всю семью, мучили старушку: пуще всего тяготил ее Миша. Каким примерным мальчиком он был в

гимназии, как любили его учителя! А поступил на службу — бог знает, что за рассеянность и за небрежность напала на него! То забудет поклониться кому следует, то, переписывая бумагу, вздумает исправлять слог ее, то найдет на него такой стих, что сидит пень-пнем целый час да бормочет что-то сквозь зубы. Раз дали ему переписать набело какое-то дело Миша отличился, переписал ровным, четким почерком, и рука не расходилась у него ни на одну прибавку Григорий Пантелеевич в первый раз похвалил Мишу и понес бумагу к Петру Федоровичу. Петр Федорович как взглянул, так и ахнул на последней странице Миша удосужился приписать стихотворение Державина. «Властителям и судиям», и прибавил к нему несколько строк собственного своего изделия Изумление всех сослуживцев нового поэта было чрезвычайное «Пишет стихи! в эти лета!? Не имея даже классного чина!!!»

Один старый сослуживец покойного Егора Афанасьевича поспешил довести это казусное обстоятельство до сведения матери Миши «Конечно, матушка, — заключил он, окончив свой рассказ, — сочинительство вещь не глупая, но надобно знать, как потрафить. Бывали примеры, что через сочинительство попадали и в генералы, например господин Сумароков, да ведь это на редкость. А Михайле Егоровичу надобно послужить да и послужить; уж если есть у него такая смертная охота сочинять, так пусть напишет стихи на день именин Петра Федоровича: чрез это можно кое-что и выиграть Так-то-с» Старушку это известие удивило не менее всего служащего люда. Тотчас к Мише. «Что с тобою делается, мой голубчик?» — «Ничего, маменька» — «Какое ничего а стишки-то откуда берутся, каким манером ты их сочиняешь?» — «Мудрено», — отвечал Миша, и одно только поняла мать, что он хочет учиться, спит и видит ехать в Москву, чтобы удовлетворить своим «высшим потребностям». «Охо-хо ты, мой сердечный, — промолвила мать, покачав головой, — высоко занесешься, упадешь, пожалуй Помилуй бог как зачитаешься!.. Сем-ко я поставлю самоварчик?»

Но как неожиданно падали беды в бездольную семью, так внезапно посетило ее и счастье. Свет стоит не без добрых людей, и не всегда с огнем отыскиваются они К бесприданнице Аннушке присватался жених...

«Свадьба, свадьба!» — раздается на полгорода, «свадьба, свадьба!» — гудит самовар, весело шумя на пировом столе, окруженный роем девушек, воспевающих шелковую кóсу души-девицы. «Скоро ли свадьба?» — нетерпеливо вторит Миша, горя желанием увидеть осуществление задушевной своей надежды — ехать в Москву, средства для чего обещаны ему от будущего зятя



Харчевня в Москве. Раскрашенная литография Логинава 1841 г.



Чашитие. Рис. кн. Г. Г. Гагарина. 1845 г.

Но скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается: началось оно осенью, а пока тянулись приготовления, шилось приданое, обзаводился жених своим домом, пока миновал медовый месяц, — наступила полная зима.

Памятный день в жизни Миши и в истории самовара! У ворот довольно красивого дома на Дворянской улице стоит тройка рьяных коней, готовая по взмаху кнута лететь за тридевять земель; ямщик обхаживает круг своих соколиков, хлопывая рукавицами, и, несмотря на крепкий мороз, курныкает «*Степь Саратовскую*».

«Скоро ли же выйдут господа?» — спрашивает он у человека, нагружающего кибитку дорожной кладью. «Да еще не совсем собрались», — отвечает тот. И в самом деле, хотя не один день продолжались сборы к дороге, а все-таки оказывается, что забыли приготовить и то и другое, и если бы укладывать все, что заботливость матери считала необходимым для спокойствия сына, то недостало бы и трех кибиток. Ну, теперь, кажется, все. Остается присесть да помолиться богу. «Ах, ведь совсем из головы вон, — говорит вдруг старушка, — самовар-то и забыли. Уложить его поскорее в один кулек с сапогами». — «Да помилуйте, маменька, на что он мне?» — горячо возражает сын, не чающий как бы выбраться за Московскую заставу. «А где же ты будешь пить чай?» — «Да там, где стану жить». — «На хлебах-то? Нет, дружок, знаю я, каковы наемные квартирки-то, по горнице лишней раз прошел, и за это заплати. То ли дело свой самоварчик: как захотел, так и напился; любо, да и только». И как ни отнекивался Миша, а должен был исполнить желание матери «Береги же его, сынок, — промолвила она, — это память покойного отца».

Пошли прощанья, проводы; прослезился Миша, заплакала сестра, ручьем слез разлилась мать... И вот кибитка с дорогими путниками уже скрылась из виду, а она все еще стоит на крыльце, как будто ожидая, не воротятся ли они; вот они уже миновали станцию, а мать все еще стоит на коленях пред образами, моля пречистую, да напутствует своим покровом ее ненаглядное детище.

Миша в Москве Чудно поражает его этот

Город храмов и палат,
Град срединный, град сердечный,
Коренной России град ¹

Какое разнообразие! Сколько движения, жизни умственной, торговой, промышленной! Какое богатство видов! Сколь-

¹ Ф. Н. Глинка.

ко следов священной старины и в зданиях, и в обычаях, и в самом языке! . Удовлетворив первой жажде любопытства, осмотревшись, написав стихи в честь Кремля, Миша горячо принялся за дело... И музы приютились у молодого пришельца. не мало написал он элегий, посланий, просто стихов и, наконец, тех литературных игрушек, которые под именем шарад, логогрифов, анаграмм, акrostихов потешали публику того времени.

А что делает самовар? Усердно служит, принимает горячее участие в трудах своего хозяина, и часто утренняя заря застаёт их вместе — одного с книгою или пером в руках, другого — закипающего для освежения сил труженика.

Между товарищами Миши многие также принадлежали к числу поклонников Аполлона, и общая любовь, общие мечты и надежды сблизили их тесною приязнью. Поочередно собирались они друг у друга коротать время. Не нужно, кажется, говорить, что литературные вечера молодежи показались бы странными теперь, когда дети величают себя молодыми людьми, а юноши титулуются мужами. Разумеется, много было заносчивого в суждениях будущих подвижников словесности; увлечение переливалось иногда через край, романтизм на пропалую воевал с классицизмом, устойчиво защищавшим свои стародавние права; но все это было как-то уместно, искренне и во всяком случае лучше преферанса, ремизов и прочего. Мало проскакивало фейерверочных блесков ума, но достаточно было сердечной теплоты, и простота заменяла хитросплетенные парадоксы. Убеждение не навязывалось, а приходило само собою. Вечера у Миши были особенно шумны, и собеседники нередко просиживали за полночь. Хозяин не скупился на чай — единственное угощение, какое требовали от него посетители, и расходы на этот предмет щедро вознаграждались удовольствием, какое доставляли ему литературные собрания. И самолюбию его было чем удовлетвориться: стихи его почти всегда одобрялись большинством голосов, и один молодой сочлен предложил было издать их в свет на общий счет, но так как печатание требовало денег, которые не часто посещали карманы бессребреников, то решено было, для ознакомления публики с новым талантом, предварительно поместить несколько стихотворений в одном московском журнале. Миша выбрал заветные свои произведения и послал. С месяц прошло в тревожном ожидании, наконец — о радость, о восторг! «Послание к родине» было напечатано, и еще с лестным примечанием снисходительного редактора.

Несколько дней Миша был сам не свой от полноты чувств, не знал, за что приняться, с кем поделиться своим счастьем. Ему казалось, что уже вся Москва читает его

стихи, что лишь только покажется он на улице, все обратят на него внимание, заговорят: «Новый поэт, поэт!» Пойдут знакомства, а у него, досада какая, и фрака нет!

Но долго ли носиться в голове юноши розовым мечтам и засыпать ему под их обаянием? Увы! разочарования не замедлили пойти своим чередом.

Началось с того, к чему особенно лежала душа, с науки. Многое, что думал осилить он одною искреннею любовью, явилось недоступным ему... Когда так, бог же с ней, с этой наукой, подумал слабодушный Миша. К тебе, поэзия святая, к тебе, неизменная подруга сердца, приникну я..

Действительно, обиженному самолюбию, обманутым надеждам скоро представился случай к удовлетворению Муж Аннушки рекомендовал молодого поэта одному вельможному покровителю литературы, и Миша поспешил представиться своему будущему меценату. С трепещущим, полным надежд сердцем поднялся он по великолепной лестнице в огромную приемную и робко занял место в длинном ряду просителей. Скоро распахнулись двери кабинета, и вельможа двинулся в путь, где предстояло ему сделать много добра или худа. С тревожным чувством заметил Миша, что он не в духе, расстроен: «Вам что угодно?» — спросил меценат, дошед наконец до него. «Ваше превосходительство назначили мне явиться» — «Зачем?» Молча подал ему юноша «Бессмертие души», плод двух бессонных ночей. Бегло взглянул вельможа на мелко исписанную, точно бисером, тетрадь и, как громом, вдруг поразил поэта вопросом: «А читали ли вы Клопштока?» Смущенный Миша не знал, что отвечать на такой нежданный экзамен: «Какой же вы поэт, если не читали Клопштока!» — заметил меценат: «Я полагал, что, чувствуя призвание» — смиренно начал было Миша; но покровитель быстро прервал его новым замечанием: «Да кто же вас призывал?» — и, молвив это, двинулся далее.

Жестоко поражены были этим уроком поэтические наклонности Миши. Как назло, спустя немного, и журналист возвратил тетрадь его стихотворений с коротким замечанием, что не может их напечатать. Как назло, в это же время на горизонте литературных вечеров молодежи взошла новая звезда, несравненно ярче, и затмила собою Мишу. Как назло, и черноокая «душа его души», предмет многих посланий и мадригалов, вышла замуж за какого-то квадратного господина. Сосредоточиться в самом себе, равнодушно перенести и прихоти случая, и вестер людских мнений у бедного поэта не достало сил. Сомнение и тоска сильно закрались ему в душу. Не раз, «почувствовав в себе священный огонь поэзии, призыв на жертву Аполлону», брался он за перо; но

едва начинали забываться дрязги жизни, вдруг, казалось ему, какой-то насмешливый голос шептал над ухом «А читали ль вы Клопштока?», «А кто вас призывал?» Невольно краснел юноша и в тяжком раздумье бросался на постель, напрасно сясь оживить в себе иссякавший источник вдохновения.

Житейские заботы также круто подступили к Мише. Пришлось самому печься о средствах содержать себя в Москве, потому что муж Аннушки, пособиями которого до сих пор существовал он, умер, не оставив никакого завещания.

День за днем горькая действительность стала все более и более обнажаться из-под пелены, которою завесило было ее воображение, делалась все мрачнее и безнадежнее. «Тяжело . душевные силы истощаются, гаснут, всякий проблеск их мучает, а не животворит; так прочь же их совсем, прочь все, что мешает снизойти до совершенного равнодушия к внутренней жизни. Лучше быть бесчувственным, нежели чувствительным; а если заговорит прежнее, есть средства забыть-ся» Такие мысли беспрестанно искушали юношу, и забывался он под их тлетворным влиянием, и мало-помалу погружал в тине прозябательной жизни, с каждым шагом все глубже и глубже.

Три года прошло, как расстался Миша с матерью. Узнает ли она его теперь? назовет ли своим сыном этого полуюношу, полумужа, с испитым лицом, на которое не труд и не бессонные ночи наложили свою печать, — его, небрежно одетого, с цинической речью и презрительной улыбкой на устах? А если и признает, то не зарыдает ли тяжело и не промолвит ли «На то ли родила я тебя, милый сынок, чтоб плакаться под старость на твою победную голову!»

По-прежнему собираются у Миши веселые товарищи, но не те, что прежде. Не о поэзии, не о светлых увлечениях молодости ведут они речь, насмешливо называя ребячеством все, что радовало душу в былые дни; а рассказывают анекдоты, при одной мысли о которых краснел, бывало, Миша, щеголяют друг перед другом двусмысленными остротами. Самовар уже заброшен в углу, и на столе вместо него господствует какая-то подозрительная посуда; дым от трубок столбом ходит по комнате; а разливной смех и забубенные песни тревожат сон не одного соседнего дома.

Еще несколько месяцев — и Миша покидает свою квартиру, где знал много счастливых дней, из экономии он переезжает куда-то на хлебы, распродает всю домашнюю утварь, не жалеет даже, как лишнюю вещь, и самовара, с которым, с единственным наследием после отца, обещал никогда не расставаться.

И три года могли так страшно исказить чистого юношу! Да, сильна пошлость, и если раз охватит кого своею губительною сетью, много надо жертв, чтобы отрешиться от нее.

Что будет с Мишею потом, в пору совершенной зрелости? Огрубеет ли он навсегда или дойдет до бога многомогущая материнская молитва, и воротится он в родной город измененным, со следами разрушительного опыта, но все-таки подобием человека, не погибшим безвозвратно?.. О, самовар, самовар!

II

Везет тебя новый твой хозяин вместе с семгою мало-сольною, мешком грецких орехов, разною бакалеею и бочонком сантуринского, везет «вдоль по Питерской по дороженьке», без малого за двести верст. Товары нужны ему для мелочной лавочки, ты требуешься для постоянного двора, который содержит он. Ну, не жалуйся теперь, что заглох без дела, пропал со скуки; здесь только успевай кипеть, будь готов на службу во всякий час дня и ночи, не знай отдыха ни летом, ни зимой. Большая дорога; взад и вперед ежеминутно снуют по ней и конные и пешие; и всякий, у кого есть в кармане лишняя гривна, не откажется подкрепить свои силы благодетельным чаем, когда освежиться, когда согреться им. Всегда ты был кстати, добрый самовар; но где взять слова для выражения того, каким другом являлся ты в ненастные дни осени, в бурную выюгу суровой зимы? Ветер страшно завывает, взметая до небес и крутя столбом снежную пыль; крепчает мороз; не то что дороги — зги не видно сквозь облака снегу; кругом разливанное море метели, ретивые кони выбились из сил; ямщик приуныл, у седока зуб с зубом не сходится, и медвежья шуба прозябла, покрывшись ледяным инеем.. Пришел, видно, последний час... «Эх, голубчики, вывозите! — крикнет вдруг Ванюха, завидев желанный огонек, — вон оно, Ермилково-то!» Почувяв ночлег, понатужатся кони и разом примчат ко двору. Слава тебе, господи! Здесь и заговейся, злая выюга. Ямщику стакан вина, барину живой рукой самовар. И довольно получасовой беседы с тобою, чтоб оживить душу и тело, разогреть кровь и сердце, почувствовать в себе завидный аппетит на плотный ужин, и крепкий позыв на утомонный сон, и силы для дальнейшего пути, сколько бы выюг там ни предстояло. Но — так проходит слава мира сего и такова людская благодарность: на следующей же станции позабудут тебя; а настань хорошая погода, так не спросят, пожалуй, и самовара, а просто пройдутся по рюмочке.



В трактире. Рис. П. М. Шмелькова. 1859 г.

Вспомни, самовар, кого не согревал ты, каких племен, одежд, лиц, наречий, состояний не приходилось видеть тебе на постоялом дворе!

Вот компанство почтенных владимирцев, которые под именем ходящих и афеней, с возами, коробами и мешками, гранят по лицу почти всей земли Русской. Случайно встретились земляки, неизвестно, приведет ли бог свидеться опять: попьем же, братцы, вместе бусильнику (чайку) да погитарим про дела. И пьют они по многому множеству крошечных чашек, пьют «до седьмого яруса поту», крупными каплями выступающего чрез все поры тела; между антрактами расспрашивают друг у друга, каково поживает Тереха, здравствует ли дядя Антип, не обженился ли Семен; наведываются и про торговлю: в ходу ли нынче «Похождения несчастного Никанора», и отчего пошел в славу господин Пушников; по чем покупали кубовую пестрядь, и много ли можно выручить на тульских бритвах.

Только что отпили православные бородки, распростились и пошли в путь али на конь камурку бусать (в кабаке горелку пить), только что отправился ты на отдых в свой угол, — с громом и треском катит ко двору двухсаженный тарантас, нагруженный смоленским помещиком с дочерью-пансионеркою и прислугою, перинами, ларцами, сундуками, узлами, кардонами и всякою всячиною. «Живей поворачивайся, хозяин, помогай выносить из тарантаса, давай чистую комнату, приготовь свежей воды, разводи огонь, тащи кринку сливок, беги на деревню за земляничкой...» — раздаются приказания за приказанием; хозяин смотался с ног, дым идет коромыслом по всему двору. Не любит наш барин ездить налегке и требует, чтобы на стоянке был у него такой же комфорт, как дома. Остановился где, так уж и закусит вплотную, и отдохнет, и на флейте, по драгунской привычке, посвистит, и чаю накушается всласть. Точно так случилось и на этот раз. Вздремнув с часок, барин потребовал наконец самовар. Какая белоснежная ручка хлопочет около туляка, какие бархатные глазки видятся в его полированных боках, что за персиковые губки прикасаются к чашке и что за жемчужный смех раздается из них, когда на вопрос «С чем прикажете папаша, налить вам чаю — со сливками или из бутылки?» Папаша серьезно ответит «Я, душечка, с 97-го года, по совету доктора, постоянно придерживаюсь ямайского!» Промочив горло двумя стаканами «с подливочкою», барин принялся расспрашивать дворника, как и что он, сколько платит оброка и каковы нынче яровые; но едва вошел в предмет своего разговора, едва начал доказывать, что мужик лентяй-лентяем, — вдруг: динь, динь, залился вблизи колокольчик все ближе.

ближе, вот и коней видно — ухарская тройка мчится что есть духу, на лбу написано: «по экстренной надобности», пар из ноздрей, брызги пены с боков, клубом пыль из-под копыт. Подлетели ко двору, остановились как вкопанные, с тележки прыгнул молодцеватый офицер, хозяин со всех ног бросился встречать нового гостя, милостивая разливательница чаю невольно взглянула в семигривенное зеркальце, висевшее на стене, и поправила пелеринку. Все это сделалось скорее, чем глазом мигнуть.

— Чем прикажете просить, ваше высокоблагородие? — слышится за дверьми почтительный вопрос хозяина.

— Мне ничего, братец, не нужно, кроме лошадей да стакана холодной воды

Помещик был хлебосол: каково же ему слышать, что его ближний, изнемогающий от жажды, хочет утолить ее водой, — простой водой, когда за два шага кипит благотворная китайская, да вдобавок с ямайским, со сливочками и с разными разностями. Русская натура взяла верх над европейскими приличиями. Оправив халат, домовитый постоялец вышел к проезжему. «Покорно прошу, по-дорожному, без церемоний: не угодно ли выкушать со мной стакан чаю?» Офицер, слегка поклонившись, окинул хлебосола взглядом. «Честь имею рекомендоваться такой-то, — продолжал помещик, — везу дочь из Москвы, из пансиона, восвояси. Позвольте и мне узнать, с кем имею честь говорить?» После обмена приветствий радушный хлебосол еще сильнее приступил к проезжему, и сколько ни отговаривался этот последний недосугом, дорожным костюмом, а должен был наконец принять его приглашение, тем более, что лошадей не оказалось наготове

Слово за словом, стакан за стаканом, завязывается бойкий разговор, и часы пролетают, как минуты. Между новыми знакомцами водворяется такая короткость, что хозяин называет своего гостя братцем; пансионерка уже более не досадует, что одета сегодня en negligé; а офицер забыл, что платит тройные прогоны и дорожит каждой секундой. Уже два раза докладывал ямщик, что лошади готовы, давным-давно надо бы сделать станцию; но как же прервать начатый рассказ о столичном быте и не послушать такой милой рассказчицы! «Сию минуту, сию минуту!» — слышится от седока, и минута гянется полчаса. Наконец и солнце село, начали укладываться. Пора! «Прощайте, Иван Васильевич! Вашу ручку, Софья Ивановна!» — «С богом!.. Счастливого пути!» — «Увидимся ли когда?» — «Вы не забудете нас...» И скрылась из глаз лихая тройка так же быстро, как появилась Иван Васильевич начал одеваться, а Сонечка что-то наскоро записала в своем пансионском альбоме

Как знать, может быть, в это короткое время успел завязаться один из тех летучих романов, которые умеет рассказывать только автор «Метели»! ¹ Чем кончится он? Промелькнет ли падучей звездой в сердцах обоих, или долго будет теплиться в них живительным воспоминанием, или, согревая одно сердце, порастет травой забвения в другом?.. Не нам с тобою, самовар, решать и разгадывать эти вопросы: некогда. Видишь — новые гости.

Кто пожаловал? Добрый молодец, собою, как говорится, кровь с молоком, весельчак такой, что разлюли. Приехал он на одноконной подводе, вбежал в горницу, распевая:

Нету денег ни гроша,
Зато слава хороша!..

назвал хозяина плутом (на что этот снисходительно осклабил зубы), потом сорвал поцелуй с губ неприступной работницы и терпеливо перенес от нее здоровую стукманку; спросил себе самовар и усидел его добрую половину. Веселись, молодой человек, пока железным гнетом не налег на тебя опыт жизни, пока не постигло тебя превращение, подобное Мишиному; наслаждайся, пока играет на щеках румянец здоровья и рассыпным смехом заливается широкая грудь. Смотри: следом за тобою приехал на постоянный двор почти ровесник тебе, но кто скажет, что ему двадцать лет! Наследник знатного рода и огромного состояния, он не промотал своего здоровья и своей юности; но злая болезнь, одно имя которой говорит о безнадежности выздоровления, грызет его сердце, и с каждым днем гаснут слабеющие силы. Люди заставили бедного юношу надеяться, что другое небо, другой воздух возвратят ему то, что может ниспослать один бог, и едет он из отчизны в страну, где действительно найдет и ясное небо, и жаркое солнце, и пахучие померанцы вместо угрюмых сосен; но где никто не даст ему ни родной слезы, ни горячего, некупленного участия; где не услышит он ни слова русского, ни молитвы, какую от колыбели привык встречать каждое утро. Не ездь, милый, останься здесь, и сладкая будет тебе кончина, среди своих, и будто к тихому сну отойдешь ты в вечность Бедный, бедный! видишь ли, как слаб ты: едва прошел несколько шагов, и уже задыхаешься от усталости, потребовал чаю, и не мог выпить даже одной чашки.

Искать здоровья едет он за моря дальние; а оттуда спешит к нам какой-то господин за деньгами. Что ж? просим милости. Какой у вас талант? Пускать пыль в глаза, задавать фону, из деревенского учителя уметь прикинуться профессором всех возможных и даже невозможных знаний? Прекрас-

¹ Гр Соллогуб

но, мы очень нуждаемся в таких людях. Выбирайте себе Москву, Петербург, пишите широковещательную программу с диссертациею о разных системах воспитания, нанимайте приличный дом, надевайте для пущей важности ученые очки, — и будьте благонадежны: наши рубли не замедлят явиться к вам. Лет через десять вы обрусеее не хуже своего земляка, который ментором сопровождает вас в финансовых экскурсиях по России, из Готлиба обратитесь в Ивана Ивановича, будете кушать чай с таким же аппетитом, с каким пьет он, женитесь, обзаведетесь Карлушами, Христиночками и будете жить себе припеваючи, услаждая душу неизменным пивом, благословляя случай, вдохнувший вам мысль переселиться в Московию, и посмеиваясь втихомолку над людьми, которые, хоть и крепко возмужали, а все еще, по привычке, ходят на помочах...

Кто едет потом? Миллионер-сибиряк, волчья шуба, гороховая шинель, бухарские халаты, мыло казанское, честные жидовские песики, грузинская папаха, простодушный сын Малороссии на паре «цобе, цобе!» — и все это более или менее беседует с тобою, неугомонный самовар, и внутренне благодарит неизвестного изобретателя благодетельного снаряда.

Но кто бы ни был временным твоим распорядителем, хозяйство его оканчивается всегда с вопросом: «Хозяин! сколько тебе следует за все?» — «Да что, с вашей милости лишнего не возьмем, — отвечает Сидор Федотович, подходя к постояльцу со счетами в руках, — лошадам сена да овсеца брали; кучер щи хлебал; сами изволили кушать; горшочек сливок спрашивали; за самовар, за воду, за уголья следует; бричку подмазали; в холодной горнице изволили стоять; парнишка прислуживал вашему здоровью, на почту бегал; свечка горела, по вашему приказанью, как изволили печатать письма. Всего-с...» Тут застукают счеты и выведется самый аптекарский счет. «А за постой, за тепло я уж ничего не полагаю с вашей милости: просим напередки не оставить нас своим посещением, всепокорнейше просим не проминовать нашей избы. Таким господам, как ваше здоровье, мы всегда очень рады, с нашим удовольствием, истинно как перед богом, то есть заслужим вашей чести». Разумеется, что редкий постоялец терпеливо выслушает счет Сидора Федотовича и не разразится громом самых выразительных слов. «Что же, извольте обижать его, коли есть на то ваша воля; он человек маленький, подначальный, из послушания не выйдет, и с вашей милости полушки лишней не смеет взять: ведь он не газейщик какой, такцыи у него нет, да ведь душа-то и ему надобна, а совесть, известно, эвтакое дело, дороже всего; его дело мужицкое, сиротское, а вашей милости бог пошлет на

его долю». И в заключение подобной рацеи, произносимой голосом овечки в лапах у волка, Сидор Федотович скинет, в убыток, как перед богом, в убыток себе, единственно для хорошего барина, полтину-другую, умастит постояльца, и в результате все-таки получит сумму, не безобидную для своего кармана. Мало того: он с поклонами проводит их милость до самого экипажа, поможет сесть, напомним кучеру, чтобы осторожнее спускался с косогора и берег барина, словом, обделает дело так, что постоялец действительно никогда не минует его двора: «плут, дескать, да умен» Любил эту половицу Сидор Федотович, держал на уме и другую «рыба ищет, где глубже, человек, где лучше»

«Оно, конечно, зашибить копейку можно и на постоялом дворе, и дегтем торгуешь не без прибыли да стоит ли алтынничать? И будешь ты весь век свои мелюзга, а не настоящий торговец, и в рыло съездить тебя может всякий, и за бесчестье не заплатит; почета дождешься разве только в своей деревне, — а то везде ты мужик, да мужик, да еще сиволапый. Ну, а если, примерно сказать, большой корабль — ему и плавание большое, и все уж такое. На лодке нечего пускаться в широкое море: или дальше берегов не уедешь, или пропадешь ни за денежку. Корабль дело другое.» Так частенько подумывал Сидор Федотович, завистливым глазом смотря на обозы с товарами, ежедневно длинной вереницей тянувшиеся по большой дороге, на многоголовые гурты скота, прогоняемые для продовольствия той или другой столицы. «Эх, кабы нам послал бог такой клад!» Десять лет усиленного скопидомства, барышничества и всевозможной изворотливости снарядили наконец желанный корабль, и он поплыл — в Москву.

Если сказать, что Сидор Федотович поселился в Замошкворечье, то этого и будет достаточно, чтобы дать понятие о новом его быте в этой части города, которая живет себе особняком от всех прочих и не походит ни на одну из них. Шибко повезло ему, быстро пошел он в гору. В доме уже не простые деревянные лавки да столы, а мебель вся красного дерева; ходит он не в нагольном тулупе, а в письей кирейке; у супружницы куний салоп, в лавке два приказчика, погреб с амбаром ломятся под годовыми запасами, на конюшне стоит пара лошадей. Оставалось только обзавестись двухтысячным рысаком, кучером с окладистой бородой, да не мешало бы держать какую-нибудь барбоску на цепи, — и обстановка нового звания была бы совершенно готова. К несчастью, самовар не дожил до такого превращения.

Разумеется, как пошла линия Сидору Федотовичу, сожительнице его неприлично стало заниматься всякою черною ра-



Рабочие в городе. Рис. И. С. Щедровского.

ботою на кухне; поэтому, оставляя за собою право печения именинных пирогов и кулебяк, она наняла для прочей стряпни кухарку — не из московских щеголих, а питомицу деревни, бабу работающую, славную; простовата лишь немного, да, авось, приобькнет. Наш туляк прежде всех испытал на себе расторопность новой прислуги своего хозяина «Акулина, по ставь-ка самовар!» — приказывают кухарке в первый день ее службы. Акулина бежит в кухню, поспешно берет самовар и ставит его на стол перед изумленными хозяевами, не понимая, за что они чествуют ее «дурищею полоротой». Кое-как объяснили ей процесс согревания самовара; но показался он ей слишком мудреным, или просто надо быть такому греху, а не раз случалось, что Акулина набивала самовар угольями, разводила огонь и кипятила туляка без воды. Но все это были еще только цветки для самовара, а ягодка ждала его впереди.

Однажды Сидор Федотович по какому-то случаю решился сделать вечеринку. Собрались гости, завели беседу — время начать угощение, как водится, чаем. Акулина в страшных хлопотах: и официант она, и лакей, и камердинер, и горничная — все вместе. Вдруг, как угорелая, вбежала она в комнаты и во весь голос завопила: «Батюшки мои, отцы родные, пропала моя победная головушка. Самовар-то наш...» — «Ах ты, дурища неповитая, — гневно закричала на нее хозяйка, — перепугала всех нас. Что самовар — ушел что ли?» — «Ушел, светики мои, как есть ушел...» — «Так закрой его крышкой да долей, деревенщина глупая!» — «Да что закрывать-то: ушел он со всем, и с крышкой, и с трубой...» — Как так? Бросились в сени, нет самовара; туда, сюда — и следов не видно. Ушел. А случилось это самым обыкновенным образом. Проходил один добрый человек мимо дома Сидора Федотовича и, увидев отворенные ворота, любопытствовал узнать причину такого редкого в Замоскворечье явления. Вошел на двор, пробрался в сени, видит — стоит самовар, только что собирающийся закипеть. Добрый человек очень основательно подумал, что такой ценной вещи не следует быть без присмотра, бережно взял туляка под мышку, скорым маршем добежал до соседнего глухого переулочка, опорожнил свою находку (благо время было зимнее), да и был таков. Следовательно, виноват один случай, а у доброго человека и в мыслях не было никаких видов на самовар, пока не наткнулся он на него. В тот же вечер другой добрый человек, мастер на все руки, занялся починкой самовара и дал ему такой вид, что и сам Сидор Федотович не узнал бы своей пропажи. Тем и кончились похождения туляка в Замоскворечье.

Опять ты без дела, ждешь хозяина, стоишь в лавке, между разного медного хлама. Новое поколение соименников окружает тебя, и с удивлением смотришь ты на скороспелую молодежь: какой важный, надменный вид, какие толки об опытности, о разочаровании, хотя весь-то век их птичий без году шесть недель. Ах, время, время!. Наконец судьба сжалилась над тобою и послала покупателей, в виде молодой новобрачной четы.

Весело играет солнышко; канарейка заливается песнью, рассыпается трелями; ерань и резеда благоухают на окнах, оттененных белыми занавесками; картинки глядят по стенам; фортепиано звучит нежными аккордами; молодой человек переворачивает ноты своей возлюбленной: такую картину увидел ты на другой день новой своей жизни. Голова да руки составляют все богатство твоих хозяев; но и на миллионы не променяют они своей жизни, цветущей молодостью, здоровьем, украшенной любовью. Сироты безродные, они соединились навек, чтоб неразрывно и дружно идти по тернистому пути нужд и забот. В приданое она принесла ему многолюбящее сердце; он, вместо свадебной корзинки, подарил ей переписанного своей рукой «Чернеца» Козлова. Она переписывает ноты, он дает уроки, — и средств, доставляемых этими занятиями, довольно для неприхотливой жизни. Все удовольствия, которых жаждет богатство и ищет скука, — театры, концерты, балы — все это они умеют находить в самих себе, не переступая за порог скромной своей комнатки. Петя насмешит Сонечку, передразнивая светских франтов; а Сонечка, как ангел, пропоет «Черную шаль», потом они попрыгают, помолодевший самовар явится на веселую вечеринку, а сладкий поцелуй заключит роскошное угощение супругов.

Желалось бы тебе весь век прожить у таких голубков, и они ни за что не расстались бы с исправным стариком; но судьба вдруг покосилась на него, и с небольшим через полгода счастливая чета променяла Москву на какой-то уездный городок, а ты из Третьей Мещанской переселился на Тверскую.

Дурные приметы сопровождали твое переселение. Воз, нагруженный разною домашнею утварью, в числе которой находился и ты, чуть не опрокинулся дорогою; какой-то уличный шалун швырнул в тебя камнем; извозчик, не получив прибавки за провоз и таскание вещей на третий этаж, метко пожелал подняться пожаром всему дому. А дом, куда попал ты, стоит иного города. Это одна из тех пятиэтажных отчин, которые, без пятипольного хозяйства и скотоводства,

приносят своим владельцам внушающие уважение суммы; один из тех домов, где найдутся люди всякого звания, рода и промысла, где можно обзавестись чем угодно, купить, продать, заложить все, что вздумается. Но пора познакомиться с твоим владельцем.

Он ни стар, ни молод, а самых солидных лет; лицо у него довольно благообразное; глаза всегда улыбаются; речь медовая, а когда заговорят о душе, о добродетели, о суетах мира сего, она доходит даже до умиления; одевается он прилично, но без щегольства и вертопрашества; фамилию носит также приличную, не оскорбительную ни для чьих благовоспитанных ушей: господин Умудряев. Кто он, что делает, чем живет, нельзя угадать по виду. Служить, кажется, не служит ни где, а пишет много; со двора выходит редко, а к нему каждый день являются самые разнообразные посетители; говорит он с ними не много, но всякое слово его принимается с уважением. Уже по этим признакам можно полагать, что он не пустой человек, а с весом, и, следовательно, самовару нечего жаловаться на неблагоприятность судьбы и новый порядок, которому подчинил его аккуратный хозяин.

Песен, например, отнюдь не смей заводить у него, а стой на столе, как во фронте, чинно, молча, как будто и нет тебя; придет какой-нибудь посетитель, не думай, что тебе предстоит удовольствие отвести ему душу благодетельною влагою: господин Умудряев рассыплется в вежливости, но не предложит гостю и чашки чаю, или учтиво изъяснит сожаление, что только сию минуту отпил. Да и сам-то он употреблял китайский напиток, вероятно, только для формы, по заведенному однажды навсегда порядку, и вовсе не чувствовал от него удовольствия, каким проникается сердце всякого человека после нескольких приемов душистого отвара.

Скучно тебе, туляк, да делать-то нечего: знаешь пословицу, что в чужой монастырь с своим уставом не ходят. В огромном доме ты жил, как в степи: не было ни одной живой души, которая чувствовала бы к тебе хотя частичку той привязанности, что знавал ты в прежние годы. Кухарки у господина Умудряева менялись беспрестанно, потому что он не любил платить денег даром и за синенькую в месяц требовал, чтобы одна служила за десятерых. «Праздность мать пороков», — повторял он, посылая единственную свою прислугу то туда, то сюда, заставляя то вычистить сапоги, то выгладить манишку. И чаю никогда не даст напиться как следует. Только что присядет усталая кухарка и начнет задушевную беседу с чайником, как на беду раздастся призывный голос барина, и желанное удовольствие сменится бранью сквозь зубы на «жидомора» и «выжигу».

В один осенний вечер господин Умудряев воротился домой довольно поздно и, против обыкновения, велел поставить самовар. Живо вскипел туляк, но и простыть успел, пока господин Умудряев расхаживал по комнате, видимо погруженный в беспокойную думу, которая не замедлила выразиться рассуждением вслух, чего с ним также никогда не случалось. «Дряннь этакая, — толковал он, — фунта три крови испортит, аппетит совсем отобьет! Туда же вздумает молиться, расчувствуется! Да и я точно ошалел... слеза показалась! Кто просил? Да нет, не стану я портить своей карьеры из-за бабьего норова! Эй, Акулина, — крикнул он, отворяя дверь в кухню, — чем свет завтра приведи ломового извозчика. Дам ей обзаведение, — продолжал он сам с собою, — пройдет эта криминальная история, и баста!»

IV

Опять нежданно-негаданно постигло тебя переселение, опять поехал ты вместе с разным хламом, колченогими стульями, кривобоким столом и порыжелым от старости диваном, поехал под прикрытием самого господина Умудряева в одно из скромных предместий Москвы. Угрюмо глядело не давнее твоё жилище, ещё печальнее смотрит ветхий домишко, куда попал ты так нечаянно. Молодая, но бледная, изнуренная женщина встретила твой приезд, робко приветствовала господина Умудряева и смиренно замолчала на следующий ответ его: «Прошу не беспокоиться, не вчерашние глупости! Вот вам полное хозяйство, живите себе по душе, только и меня не тяните за душу». С этими словами он и отправился.

Ну как же нам разгадывать чужую душу, темную, что лес дремучий? Как понять и внезапный твой отъезд, и связь, соединяющую два существа, столь противоположные между собою? Неужели, встретясь на жизненном пути, сблизились они потому только, что крайности сходятся? Как могла она, женщина слабая, бесхарактерная, но все-таки с любящим сердцем, проникнуться сочувствием к этому человеку «с характером», как выражался он сам? Не знаю я, не ведаешь и ты.

Как грустна твоя хозяйка, как уныла и черна ее убогая комнатка, так безрадостно и новое житье твое. Редко, редко прибегает она к твоим услугам, да и то без пользы: выпьет чашку, много две, да и понурит голову, и так задумается, что не услышит даже, как соседка взойдет. А что нужно соседке? Утешить горемыку, порадовать ее добрым словом? Нет, просто поболтать, растравить своими замечаниями глу-

бокую рану да после посплетничать с другой соседкой. Еще счастье твоей хозяйки, что не красавица она была: завиден этот дар, да нередко ведет он к пагубе.

С полгода господин Умудряев довольно часто навещал свою знакомку и, как червь, что точит свежее дерево, мучил ее каждым своим словом; но когда в комнатке прибавился новый жилец — крошка с голубыми глазенками, страшный крикун, — посещения мучителя прекратились совершенно. Бог с ним! Не надо и тех ничтожных средств, что давал он иногда горемычной. Пока есть мочь, пока не ушло вконец здоровье, сама воспитаю Костеньку; а подрастет, не оставит его бог, и добрые люди не покинут сиротку безвинного. И до последних сил трудится мать. Что́ нужды, что тает она, как свеча, худеет с каждым днем, не знает себе ни минуты отдыха. зато у Костеньки всегда есть сливочки, и нарядная рубашечка готова к празднику. По воскресеньям хозяйка твоя иногда хаживала в Марьину рощу торговать самоваром и, благодаря твоей исправности, никогда не возвращалась без порядочной выручки.

Но не долго промаялась бедная женщина. Как ни силилась совладеть с губительною болезнью, как ни перемогалась, вдруг слегла. Вечный сон скоро успокоил страдальицу Костеньку отдали в один из тех благодетельных приютов, которыми богата добрая Москва.

Помыкался наш самовар еще года с два по белу свету, побывал в Одессе, собрался было в Кяхту, но вдруг, волею случая, после всех этих походов, нашел убежище от мирской суеты у меня, любителя тишины и усердного почитателя чаю.

Хорошо ли тебе у меня, добрый туляк? Не обижаю ли я тебя излишнею взыскательностию, не часто ли требую на службу?.. Но ты замолк, приуныл? Уж не навело ли на тебя раздумье повествование о собственных твоих похождениях? Не хандрить ли начинаешь ты, размышляя, где же правда на земле, если худому человеку бывает хорошо, а доброму худо? Что такое жизнь? Успокойся, старый мой друг; не верь, если кто скажет тебе, что жизнь сон, комедия или глупая шутка, и вчуже пожалей человека, дошедшего до подобного убеждения. Пускай назовут нас оптимистами, а будем мы с тобою верить, что нет ничего лучше и выше жизни и что нет на земле такого зла, которое не меркло бы перед сиянием добра...

Еще одно слово: не богаты мы с тобой, часто стучится к нам в дверь нужда, так и об этом нечего тужить. Вон, через улицу от нас яркими огнями горит огромный дом; толпы кружатся в великолепных его залах: но искренне ли весе-

лее нас эти улыбающиеся лица и с бóльшим ли аппетитом кушают они чай из серебряного самовара? Едва ли. А завтра, когда, утомленные добровольными муками, они только что сомкнут глаза, мы будем с тобою уже на ногах, и солнышко, не смея пробраться за шелковые занавесы, первых нас поздравит с добрым утром...

Но заговорились и замечтались мы. Давно за полночь. А ведь надобно еще не шутя подумать о средствах разжиться завтра чаем с сахаром. Уголья у нас, кажется, пока есть

ЧАЙ В МОСКВЕ



Начнем издалека, аb ово, как начинаются все важные предметы. Более тысячи лет тому, в Китае жил мудрец Будда-Дарма, человек, каких немного бывает на белом свете. Умерщвляя плоть свою всевозможными средствами, он отрезал от глаз своих веки; Верховное существо наградило его за это пожертвование бессмертием, а из отрезанных век произвело чудодейственную траву ча-э (китайское название чая), которой дало силу излечивать многие болезни, душевные и телесные. Ученики святого мудреца усердно стали пить отвар листьев нового растения, и вскоре употребление его сделалось всеобщим в Поднебесной империи. Но род человеческий, вместо стремления к совершенству, с течением времени развратился до того, что чай вовсе потерял силу врачевать душевные недуги и остался лекарством лишь для тела: так еще до сих пор он укрепляет глаза, желудок, возбуждает бодрость, предохраняет от подагры и от каменной болезни. Я передал, что говорят китайские летописи; а верить или не верить их словам и диковинным свойствам чая — предоставляется на волю каждого. Неоспоримо только то, что чаю природа назначила играть первостепенную роль. Вместе с завоеваниями Чингис-Хана он перешел за пределы родины, потом из Азии перебрался в Европу, где для почину, не зная, что делать с невиданным дотоле зельем, голландцы запрятали его в музей редкостей, а англичане сварили из него соус; отсюда шагнул он в Америку, где из-за него вспыхнула война, имевшая последствием отторжение

американских колоний от Великобритании; из Америки не трудно было ему пройти в остальные части света, — и теперь чай всюду в таком же употреблении, как... как романы французской фабрикации.

Соседи с китайцами, мы прежде других европейцев познакомились с благородным напитком, и тогда как другой чужеземец, табак, подвергался у нас страшным гонениям, чай с каждым годом приобретал бóльшее и бóльшее число почитателей, употребляясь сперва как «пользительная трава», а потом просто в удовольствие желудка. Во второй половине XVII столетия чай продавался уже по тридцати копеек за фунт, и хотя при Петре Великом мы переняли от голландцев употребление кофе, но этому новому гостю не под силу было выжить старого, который сделался нашим закадычным собеседником.

Как средство возбуждательное (наркотическое), чай действует более на сердце, чем на голову: вот почему особенно полюбили его жители Белокаменной. Другие города, строго преданные дедовским обычаям, не скоро познакомились с роскошью, довольствовались сбитнем, отваром мяты, липового цвета, или другой какой скромной, доморощенной травы с медом; Петербург пробавлялся кофеем, а Москва деятельно пристращалась к чаю. Аустерии (то есть ресторации), заведенные Петром Великим для развития у нас общественности, не замедлили сделаться приютом чая; когда прошло то золотое время, как посетителей угощали в них даже даром, лишь бы приохотить их к чтению газет, гости охотно стали заменять горячительные напитки безвредною горячею водою. Для домашнего обихода изобретен был самовар¹, это предзнаменование могущества паров, и быстро вытеснил медные чайники, в которых деда наши, подражая китайцам, грели воду для чая. К сожалению, я не имею достаточных показаний о количестве чая, какое выпивалось у нас в прошлом столетии. А сколько и как пьем его мы, люди девятнадцатого века, конечно, не безызвестно всем и каждому, и благосклонный читатель, надеюсь, не потребует от меня статистических данных. Теперь, слава Будде-Дарме! вся Русь, «от Финских хладных скал до пламенной Колхиды», все от мала до велика, миллионер и поденщик, великорусс и сын юга, белорус и калмык, пьют чай, кто ординарный, кто кирпичный с солью, маслом и молоком, кто душистый ма-ю-кон, кто букетный лян-син, иные даже диковинный жемчужный или златовидный ханский. И если Англия с своими огромными

¹ Наши войска в 1813 г выучили Европу употреблению этого умно придуманного снаряда

колониями выпивает чаю гораздо больше нашего, а Северная Америка мало чем уступит нам в отношении к количеству употребления его, зато мы получаем самые лучшие сорта драгоценной травы, и несравненно разборчивее иностранцев на счет ее достоинств, даром, что нет у нас записных, специальных чаеведов, какие водятся у англичан в Кантоне.

Кто знает Москву не понаслышке, не по беглой наглядке, тот согласится, что чай — пятая стихия ее жителей и что, не будь этой земной амброзии, в быте москвичей произошел бы коренной переворот; хлебосольное гостеприимство, эта прадедовская добродетель, неизменно хранимая нами, рушилась бы вконец. Бывали ли вы в доме чисто русском, где хозяин не прячется от посетителей, где пред вашими глазами не сядут за стол, не пригласив вас разделить хлеба-соли, «чем бог послал»? Тут никакое потчевание не обойдется без чаю, им оно начнется, как следует по порядку, и им же нередко кончится, на дорогу. Хозяева только что отпили, вы пришли, когда самовар уже сняли со стола, но это не мешает ему закипеть снова и явиться для услаждения беседы, и вы будете пить не одни: любезность хозяев посответствует вам. Никакие отговорки не избавят вас от обязанности присесть к самовару. Погода холодная, сырая — вы, конечно, прозябли следовательно, вот законная причина согреться; будь тепло в 20 градусов — все-таки есть повод пить чай для прохлаждения. Словом, во всякий час, во всякое время года у истого москвича чай предлагается каждому гостю, так что во многих домах, кроме обычных двух раз, утром и вечером, его пьют столько, что и счет потеряешь. Если бы китайцы знали это, я уверен, они почтили бы нас именем преждерожденных, старших братьев (китайские комплименты).

Из москвичей редко найдете бедняка, у которого не было бы самовара. Иной бьется как рыба об лед, в тесной каморке его нет ни одного неизломанного стула (хотя их всех-то пара): а ярко вычищенный самовар красуется на самом видном месте, составляя, может быть, единственную ценную вещь, какою владеет хозяин. Москвич скорее согласится отказать себе в другом каком удобстве жизни, даже не испечь пирогов в праздник, чем не напиться чаю хоть раз в день. Удольствие это стоит не дорого (разумеется, речь идет о людях, у которых, по их собственному выражению, в одном кармане Иван Тощой, а в другом Марья Леготишна): положим, семья состоит из трех или четырех человек; значит, золотник чаю десять копеек, пол-осьмушки сахару семь копеек, воды на копейку, уголья нередко свои: и так за осемнадцать копеек покупается все наслаждение. Человек не семейный редко держит самовар; но для него постоянное и не

дорогое прибежище в заведениях, которых у нас не меньше, чем в Японии чайных домов, — и об них да позволено будет сказать тоже несколько слов.

Трактирных заведений в 1847 году считалось в Москве более трехсот. Употреблено в них, в продолжение года, чаю сто девяносто одна тысяча фунтов (на сумму более 500 тысяч рублей серебром), а сахару с лишком тридцать четыре тысячи пудов (на сумму более 334 тысяч рублей серебром) цифры, не поражающие своею значительностью, когда знаешь, что главный товар заведений — чай. Немец, вспрыскивая покупку, калякает с товарищем за бутылкою пива; француз в таком случае требует вина, а москвич — чаю. Поэтому в тех частях города, где более движения, торговой жизни, там более и пьют чаю, и наоборот: в 1847 году Городская часть (я говорю про одни заведения) выпила более 20 тысяч фунтов чаю, а Рогожская до 30, тогда как Пречистенская потребила около 7 тысяч фунтов, а Мещанская ограничилась с небольшим 3 тысячами¹ Торговому человеку не приходится за делом думать о русском напитке, веселящем душу; зато он усердно накачивает себя китайским, решая за тремя парами его делá не на одну сотню тысяч и вовсе не заботясь о вредных последствиях, какие сулят доктора неумеренным любителям чаю напротив, он полнеет так, что сердце радуется, как взглянешь на него, и готов бы отвечать врагам чаепития словами Вольтера...²

Заведения, с своей стороны, стараются не ударить себя в грязь лицом пред неизменными гостями. Начиная от трактиров, где прислуга щеголяет в шелковых рубашках, где двадцатитысячные машины услаждают слух меломанов, где можно найти кипу журналов, до тех заведений, по краям Москвы, в которых деревянные лавки заменяют красные диваны, а половые ходят в опорках, — везде, если найдете какой недостаток, то уж наверно не в чае, и если возмутит что вашу душу или аппетит, то, конечно, не он.

Не имею права заключать решительно, что вы были когда-нибудь в заведении; но если вы любопытны, смею попросить вас туда на четверть часа Войдемте в знаменитый

¹ Цифры эти заимствованы из верных источников. Заметим еще, что в 1847 г. почему то не посчастливилось московской трактирной торговле и в иные годы цифры ее оборотов бывают значительнее.

² Вероятно, читателям известен анекдот о фернейском философе, но не мешает повторить его здесь. Однажды доктор красноречиво убеждал Вольтера перестать пить кофе, говоря, что это медленный яд «Но я уже шестьдесят лет пью этот яд, и, право, никогда не чувствовал себя хуже!» — отвечал пациент. Замечу, кстати, что, тому недавно, наука избавила чай от несправедливых нареканий, доказав, что он питателен как нельзя лучше.

Троицкий или в не менее славный Московский. Ловкая прислуга, все чистые ярославцы, мигом снимет с нас шубы, учтиво укажет, где удобнее сесть, если мы, среди множества гостей, затруднимся выбором места, расстелет салфетку на красной ярославской скатерти, покрывающей стол, и произнесет обычное: «что прикажете?» — Разумеется, чаю. Любуемся ловкостью, с какой половой несет в одной руке поднос, установленный посудой, а в другой два чайника, и займемся делом. Что это? Вы кладете сахар в стакан, щедрою рукою льете сливок, не думая, что портите этим аромат чая, ждете, пока он остынет, требуете огня, чтобы закурить сигару: с горем вижу, что вы не настоящий чаепиец. Осмотритесь кругом. кто делает так? Вот хоть бы, примерно, наши соседи — истинные любители чаю, и пьют его с толком, даже с чувством, то есть совершенно горячий, когда он проникает во все поры тела и понемногу погружает нервы в сладостное онемение, которое кто-то удачно назвал китаизмом. Они знают, что всякая примесь портит чай, что он, как шампанское, должен быть цельный, — и пьют его чистый, убежденные, что лишь одним иностранцам простительно делать из него завтрак, и пьют вприкуску, понимая, что сахар употребляется для подслащивания, а не для рассиропливания чаю. Смотрите дальше у всех такой же вкус, такая же разборчивость, точно мы в Китае, где мудрецы-императоры сочинили законы и о том, как пить чай. Везде слышите почти исключительное требование чаю, звон чашек; видите, как взад и вперед снуют народ, как одни посетители сменяются другими, жаждущими, подобно им, чаепития, и как половые едва успевают удовлетворять их требованиям. словом, здесь без чаю «нет спасенья». Правда, на ином столе явится порой графин с подозрительной жидкостью, иногда раздастся возмутительное хлопанье пробки, но это не уничтожает общности приятного впечатления, производимого чаепитием. Зайдем куда-нибудь в другое, не столь благообразное заведение: представится то же самое зрелище — все кушают благоуханный нектар. Пьет его подмосковный крестьянин, с радости, что выгодно сбыл два воза дров, и пьет «до седьмого яруса пота»; пьет в складчину артель мастеровых, которых узнаете по немилосердному истреблению табаку; чаем запивает магарычи компания ямщиков; чаем подкрепляет свои силы усталый пешеход.

Мало этого: в Москве есть водогреельни, в которых продают одну горячую воду для чая. Главная из них, находящаяся под Спасскими воротами, продает воды в год не менее как на две тысячи рублей серебром: припомните, что обок с нею Гостиный двор, что сидельцам не сподручно бегать в трактир, и не дивитесь. Чайных магазинов и лавок в Москве

считается более сотни, и обороты их простираются до 7 миллионов рублей серебром ежегодно. Не говорю уже о том, что чай продается в каждой мелочной лавочке, составляя один из главнейших товаров их.

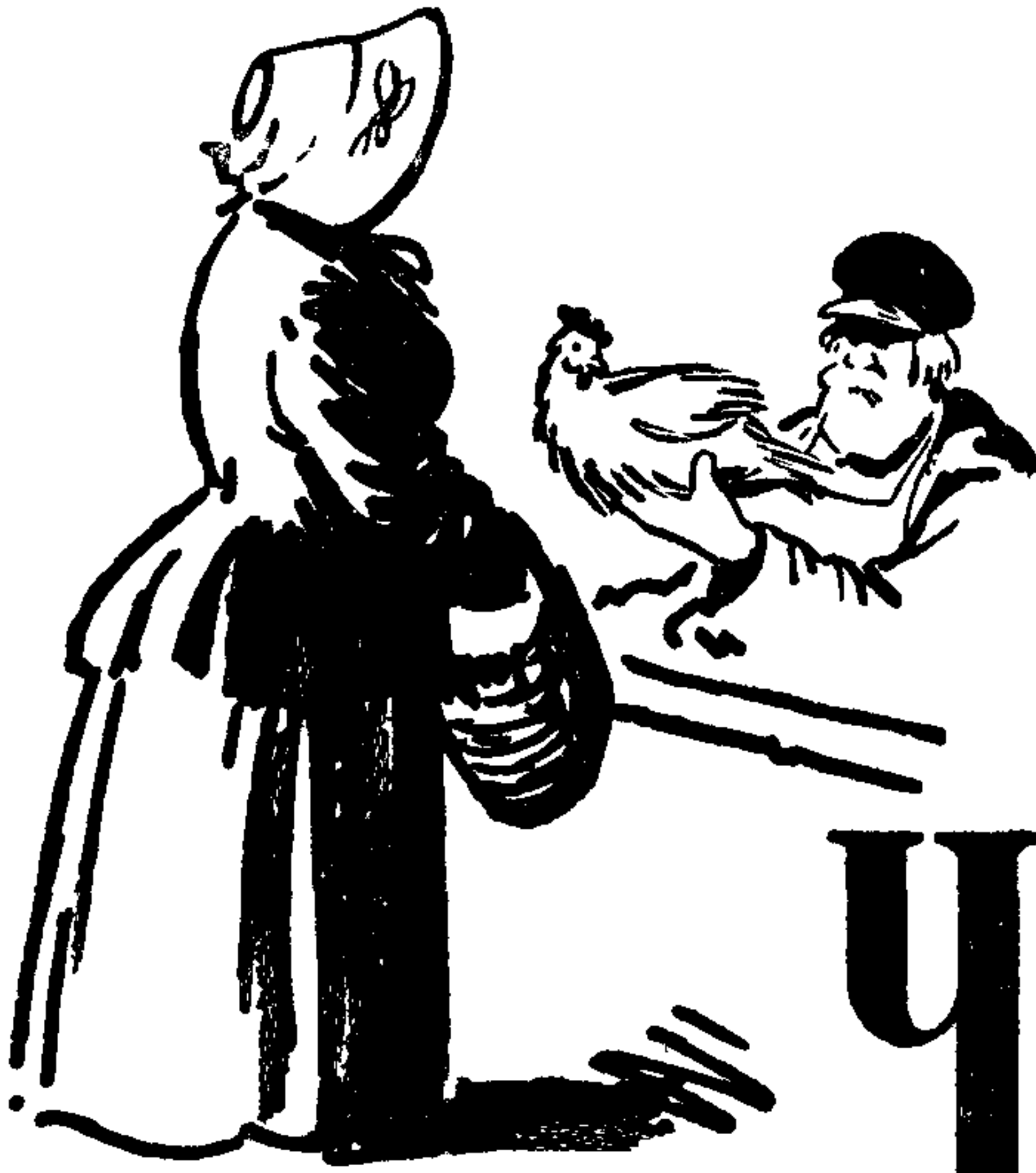
Есть у нас несколько домов, где по утрам пьют кофе: это предпочтение обидно чаю, но зато чайные вечера в этих домах — истинное очарование, и всякий, кто хотя раз бывал на них, поймет, почему чайные вечера за границею вошли в такую моду...

Следовало бы кончить статью одою в честь чая или, по крайней мере, рассуждениями о поэзии самовара. Но нет у меня таланта стихотворства. Не могу, однако, не заключить чем-нибудь свою речь о чае, тем более, что, пожалуй, иной читатель спросит. «а что же доказано этим?» — спросит, как спрашивал один французский математик после представления какой-то драмы, в которой он не нашел ни уравнений, ни дифференциалов. Итак, заключу я вот чем:

Нас, русских, частенько колют в глаза словами Нестора «Руси веселие пити». Особенно солоно достается москвичам, как будто в укор их гордости, что они сохранили многие обычаи древней Руси. Надеюсь, что каждый благомыслящий человек, прочитав эту статью, скажет: «Руси веселие пити чай»¹, — и слова его повторит не один усердный любитель китайского напитка, каким имеет удовольствие быть сам автор.

¹ Я вспомнил при этом о любопытном сближении. Вы знаете, что в Англии, в Ирландии, в С. Американских Штатах существуют общества воздержания, члены которых называются teetotallors, т. е. чаепийцами, чаевниками, следовательно, незаметно для нас самих, общества эти есть и у нас, так что патеру Мэтью, право, нечего бы делать в Белокаменной

СБОРНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ



Ч

то вам угодно? — Охотничье ружье, которое бьет наверняка в пятидесяти шагах, черкесский кинжал, отличную лягавую собаку, свирепую мор-

дашку, сметливого водолаза, умную овчарку? — Пожалуйста в Охотный ряд в сборное воскресенье и получите желаемое. Или, может быть, недостает у вас ягдташа, пороховницы, болотных сапогов, нет ножа для прикалывания зайцев, крючка для уды, капкана на разбойника-волка? — Идите в Охотный ряд и там найдете все это. Но не мудрено, что ошибаюсь я, предполагая в вас охотника, sportsman'a. Так нет ли у вас какой-нибудь почтенной тетушки, для которой шпец с ногтей, шерсть с локоток, курносый мопс, плясунья-levrette¹, говорливый попугай, кривляка-обезьяна — самые приятные на свете подарки? Или не найдется ли в кругу близких вам маленького Вани, крохотки Саши, которым давно обещаны ученый чиж с парой козырных голубей или сладкопевчая канарейка в награду за прилежание?

За всем этим извольте отправляться в Охотный ряд. Впрочем, очень естественно, что и здесь я мог дать прома и что ничего подобного не требуется вам. Нет? — Так доможил ли вы, не желаете ли обзавестись дворовой птицей или теми визгливыми животными, к которым чувствовал сердечное расположение господин Скотинин? Или, может быть, вы гастроном и давно собираетесь сами откормить, по всем

¹ Левретка

правилам науки кушать пулярку да индейку, давно чувствуете аппетит на овсянок и воробьев для паштета, на жирных свиристелей для соуса, на величавого павлина для жаркого в древнем вкусе? Наконец, не производите ли вы анатомических, химических, физиологических и всяких исследований над животными, собираясь перенести их потом на человека? Не надобно ли вам для этого смиренных кроликов, зайцев, дворных собак, этих отличных субъектов для опытов над переливанием крови? Не заводите ли вы у себя, для домашнего обихода, музея естественной истории, не требуется ли вам для наполнения его что-нибудь из отечественной фауны, например: степенный еж-ежович, вертунья-белка, сибирский кот, сонливые хомяк с сурком, философ-крот, лиса-ивановна, злой барсук, волчонок с медвежонком, глупый лесовик, мошенник-коршун, трудолюбивый дятел, премудрая сова, болтунья-сорока? Угодно, что ли? — Так пожалуйста в Охотный ряд. Вы отрицательно киваете головой, смеетесь над моим непрошенным усердием, над моими предложениями, из которых ни одно не приходится вам по нраву... да что же вы за человек? Так-таки и нет у вас ни к чему ни охоты, ни любопытства, нет никакой страсти, и отшельником живете вы на белом свете, и сердце у вас ледяное, и кровь рыба?.. Не может быть! Что-нибудь да в состоянии же расшевелить вас и кроме ремиза в преферанс, когда туз, дама сам-пят на руках, или тому подобных важных случаев! — Сказать, однако, правду, мне все равно: я человек уживчивый, привык применяться ко всяким обстоятельствам; по мне, в божьем мире все хорошо, на все можно смотреть с сочувствием, не будучи ни Демокритом, ни Гераклитом, без слез и без смеха; но будь вы другого, пожалуй, прогрессивного мнения, — и я потяну на вашу сторону, лишь только сопутствуйте мне в прогулке в Охотный ряд. Пойдемте хоть для того, чтобы, глядя на шум, хлопотню и суету людскую, — и все из-за мелочей, из-за пустяков, — иметь право глубокомысленно произносить: «и это жизнь, и это люди». Да, прав Лермонтов: «жизнь — глупая шутка!» Право, так. Давайте разочаровываться И английский сплин, и наше русское «Мне моркотно молоденьке» имеют свою выгодную сторону...

Но вот что значит сбиться с дороги: из Охотного ряда, куда собрались идти, мы забрели в чащуру переливанья из пустого в порожнее Марш назад! Вот вам сапоги-самоходы — раз-два-три, и мы опять у цели нашего путешествия

Сажень за сто уже слышится шум, гам, визг, чиликанье голосистое кукареку, важное кряканье утки — словом, самая разноголосная музыка, в которой есть все звуки и недостает одного согласия. Ежеминутно раздаются повелитель-

ное: «поди, поди, — берегись!» Народ снует и взад и вперед Толпы приливают то в ту, то в другую сторону, один покушает, а десятеро глазают. Блины горячие, сбитень-кипяток, сайки крупичаты, баранки белы, гречневики поджаристы, с маслом гороховый кисель, мак жареный медовой — шныряют во все стороны и насыщают алчущих За углом, втихомолку, мальчишки затевают орлянку, этот уличный банк, или взапуски ломают копеечные пряники Раек тешит толпу слушателей самодельными остротами Но мимо все это .

Мы в птичьем царстве Начинается оно голубями. И каких тут нет! Чистые, турманы красные и черные, козырные, двухохлые, махровые, тульские, гордые, трубастые, деликатные, огнистые, египетские дутыши, сизяки чинно посиживают в клетушках, ожидая покупателей. Далее тянется длинный ряд саней с птицами певчими. На каждом санях торчит по дереву, на каждом отростке дерева висит по несколько клеток, и в каждой клетке сидит по несколько птичек. Известно, в неволе что за песни, и чиликают себе бедняжки, попрыгивая с жердочки на жердочку да вспоминая — кто вольную волю, кто милую подругу. А если бы запели они все — что ваша итальянская опера! Колокольчиком зальется овсянка, сорок колен начнет выводить остроглазая синичка, бойко защебечет шалун-чирик, десять ладов перепробует сметливый скворушка, словно дверь, заскрипит малиновый щур, молодецким посвистом свистнет подорожник, искусно передразнит барана болотный барашек, лучше турецкого барабана задолбит дятел, бубенчиками и мелкой дробью рассыплется красавица-канарейка, защелкает, засвистит, зальется, и всех заглушит своей сладкой песенкой душа-соловушка Даже и молчаливый снегирь, которому бог не дал добропорядочного голоса, и он не ударил бы себя в грязь лицом перед почтеннейшими зрителями: фокусы бы разные стал показывать, потому что, несмотря на свою степенную наружность и красный мундир, он большой штукарь А то нет чирк, чирк, чирк, тью, тью, тью — только и есть.

Как же велика цена талантам, скрытым под спудом? Да как раз по карману тому возрасту, который еще сам, словно птичка, живет на свете без печалей и забот и располагает лишь теми деньгами, что пожалует рара с татап, тятенька с маменькой или добрая бабуся. На один гривенник можно купить чижа с синичкой, а на другой — клетку и корму для них. Канарейки и соловьи ценятся гораздо дороже; только хороших птиц продавцы редко выносят сюда: среди шумного, разнообразного чиликанья не мудрено сбиться с голосу и самому лучшему певуну: где один другому слова



Портной. Рис. П. М. Шмелькова. 1861 г.

выговорить не даст, там красноречие не у места. А если вам угодно крылатую примадонну или певца с бархатным голосом, извольте, представим первый сорт. Только уж не жалейте золотой казны, не думайте удовлетворить свое желание каким-нибудь десятком рублей. Пойдемте к охотнику; не один он здесь, но я поведу вас к первостатейному; а чтоб знали вы, с кем будете иметь дело, расскажу главные черты его жизни.

Ему с лишком шестьдесят лет. Половину их он провел в доме вельможного барина екатерининских времен, страстного охотника, и был у него сперва простым псарем, а потом доезжачим. Живо помнит старик молодые свои годы и увлекательно рассказывает о великолепных охотничьих поездах того времени, когда, бывало:

Пора, пора! Рога трубят,
Псари в охотничьих уборах
Чем свет уж на конях сидят,
Борзые прыгают на сворах

По смерти барина он получил отпускную, но зато остался почти без куска хлеба и долго не знал, куда приклонить одинокую голову. Пойдет то к тому, то к другому господину, у которых были псовые охоты, никому не надобно его услуг, свои люди есть. Делать нечего, побрел бывший доезжачий в Москву. В Белокаменной, известное дело, разве только безрукому не найдется работа. Стал Степан Михайлов промышлять стрельбою дичи и хоть с грехом пополам, а кормился кое-как. Да, на беду, поехал он раз «позабавиться» с дилетантами охоты, и один из них, у которого рука вернее управляла бильярдным кием, чем ружьем, как-то удосужился всадить ему ползаряда дроби в правое плечо. Долго прохворал бедный егерь, а как выздоровел, пришлось отказаться от своего промысла. Чем же жить? Ремесла он никакого не знал, давай опять кормиться охотой, только другого рода. Прежде он стрелял птиц, теперь начал ловить их, разводить, покупать, продавать. И мало-помалу новое занятие обращается у него в страсть, которая, усиливаясь с каждым годом, становится, наконец, необходимою ему как воздух, не потому только, что доставляет средства для пропитания, но и потому, что в ней единственная отрада его жизни, она одна наполняет собою его существование, она согревает зачерствелое среди бед житейских сердце и разнообразит быт старого холостяка. Голуби, чижы, синицы, канарейки, соловьи — вот его семейство, его неизменные друзья и приятели. Сколько радости, когда канарейка выведет маленьких птенчиков или стае его голубей удастся заманить редкостного чужака! А ко-

гда после долгого молчанья дорого купленный соловей вдруг подаст голос, да еще с такой трелью, что сейчас узнаешь в нем мастера своего дела, — чуть не пляшет от восторга Степан Михайлович. Зато немало хлопот и горя бывает ему с своими любимцами. То типун сядет у подающего большие надежды певца, то затоскует соловей и начнет обмирать, то неизвестно каким путем прокрадется в голубятню злодейка-кошка и похитит пару голубей, да каких! В подобной беде Степан Михайлович утешает себя, курныкая любимую свою песенку: «Чижик, чижик, где ты был, — за горами воду пил...», или заманит к себе Петю со двора и примется рассказывать ему докучную сказку о том, как воробей, мужик в сером кафтане, хотел жениться на синичке, барыне в синем платье.

И слава своего рода выпала на долю страстного охотника. Его знает вся Москва. Сколько раз в газетах было опубликовано про него. Живет он на Бутырках, а к нему едут от Серпуховской заставы, чтоб узнать его мнение о какой-нибудь дорогой птице; или зачастую охотники-любители, особенно купцы, приглашают его в трактир, где вывешен соловей, чтоб решить, какие тоны выкрикивает предмет их спора. Степан Михайлович выпьет две-три чашки (хмельного он не употребляет, с тех пор как стал водить голубей, которые не жалуют пьяных), внимательно и не один раз прислушается к раскатам соловья, подумает и решит дело. И весело глядеть, как он, дряхлый, едва передвигающий ноги, воодушевится в подобную минуту, помолодеет десятком лет, с каким жаром излагает свое мнение, каким юношеским блеском загораются его полупотухшие глаза, какой силой убеждения проникается и крепнет его дребезжащий голос!..

И птиц ни у кого не найдете лучше. Примерно взять махровых голубей. Смотрите-ка сюда: вот пара и вот пара; эта стоит много-много полтора целковых, а за эту, что у Степана Михайловича, мало дать и двадцати. А отчего? У одной хохлы торчат, как мочалки, а у другой перышко подобрано к перышку, волосок к волоску, словно листья розана, а мохры-то на ногах — на редкость: почти в два вершка длиной. Вот как! Канарейки у Степана Михайловича поют «россыпями, овсянками, разными бубенчиками, колокольчиком, бриллиантовыми и флейтовыми дудками»; соловьи «натурального учения, криковые, кричат дробью, простой и рассыпной, на разные манеры: куликом, вороном, кликотом, светлыми и водяными дудками, раскатом, тревогою, стукотней, свистом, кукушечьим перелетом...»¹

¹ Охотнические термины.

Разумеется, что не дешево стоит такой мудреный соловей, и за сто целковых разве только по знакомству уступит его нам Степан Михайлович; за канарейку придется заплатить тоже не много меньше...

По этим значительным ценам не следует, однако, заключать, чтобы зашиб себе копейку владелец дорогого товара. Не из корысти торгует он, а по страсти, по охоте, которая, как говорит пословица, пуще неволи. Дорого он продает, но не дешево и сам покупает. Скажите ему, что вот, дескать, «Степан Михайлович, продается соловей, какого доселе и видом было не видать и слыхом не слыхать! просто редкость. Да по деньгам ли тебе? Двести целковых — не шутка!» — Что же? Хоть разорится Степан Михайлович, распродаст все до нитки, под жидовские проценты займет, себя заложит — а купит. Знай наших! С другой стороны, торгует он по убеждению, что промысел его укореняет «добрые нравы». «Это как?» — спросите вы, решительно не понимая, что за связь таится между птицеводством и человеческими добродетелями. «Да так, — простодушно возразит Степан Михайлович: — мало ли к чему пристращается человек? Сказано, что мягок, как воск. Иной чересчур познакомится с чаркой, другой повадится картежничать, у кого амуры разные на уме, кто из кожи лезет, чтоб на фуфу удивить крещеный мир. А что толку-то! Грех да суета одна. И насчет охоты тоже. Охота охоте розь. Не что как псовая али вот рысаки — знатная штука, да не всякому подручно оно. А птичка, то есть средственная, по карману и бедному человеку. И на содержание себе требует она сущие пустяки: горсточка корму да капелька водицы — вот и весь ее паек. И уход за нею небольшой: вымел клетку, песочком посыпал, воткнул зеленую веточку, — больше ничего и не надо ей. А зато будет она распевать тебе день и ночь, разгонит хоть какую скуку и кручину, прослужит беспорочно пять иль более лет, и худого ты никогда от нее не увидишь: она не зверь какой, не бесчестный попугай, а божье созданье, и нет у ней в сердечке даже помыслов на зло»...

Не могу знать, согласны ли вы с речью охотника, а уж по лицу вашему вижу, что раздумали покупать у него дорогую птицу. Туго развязывается ваш кошелек; делать нечего, извините, что задержал я вас, — и пойдете дальше. Наше почтение, Степан Михайлович!

Дальше, рядом с царством птиц, идет область собак и разных зверей, каких именно — я уже имел честь докладывать вам. И здесь расставлены сани, а у саней привязаны собаки; и здесь раздается всеоглушающий гам на разные тоны — начиная от звяканья болонки до басистого рева меделянской собаки; и здесь расхаживает множество охотников,

любителей псов, только все они люди *специальные*: один взял на свою часть борзых с гончими, другой собак для травли, а вот у этого и из-за пазухи, и из карманов, и на руках торчат миниатюрные шпицы да моськи.

Я думаю, нам нечего смотреть, как происходит купля и продажа разношерстных, как оцениваются и рассматриваются их достоинства: сцена Ноздрева со щенком повторяется при этом беспрестанно. Но вот исключение.

Выведена на продажу дворняжка: четвертак — красная цена ей. Ничем не провинилась она перед своим господином, стерегла двор и денно, и ночью, издалека различала своего от чужого и, вероятно, спокойно бы дожила до глубокой старости в одной конуре, если б не судьба. Хозяйка ее овдовела; убогий домишко, единственное наследство после мужа, продала. Приходится нанимать чужой угол: где же поместиться в нем с разным скарбом и хламом, которым был простор лишь в своем доме? И сбывает она с рук и кадочки, и бочонки, и ухваты, продает и семью кур с петухом, и верного сторожа. Маленький сын ее держит на веревочке черношерстную Орелку, которая, как будто предчувствуя разлуку, печально глядит на него и изредка помахивает хвостом. Покупщик скоро нашелся.

— Смотри же, дядюшка, — говорит мальчик, сдавая ему свою любимицу и чуть не плача, — корми Орелку; она у меня такая знатная... Орелка ты моя, золотая, съешь хоть на дорожку-то кусочек, — промолвливает он, бросая ей калача.

И бредет, понурив голову, бескорыстный друг человека за новым своим хозяином, готовясь служить ему с таким же усердием, с каким служил прежнему. А все-таки нет-да-нет и оглянется на мальчика, который далеко провожает глазами своего сотоварища в играх...

Но довольно. Нам остается осмотреть еще другую половину Охотного ряда. Идемте же скорей: уже обед на дворе. На перепутье нам встретится мелкая промышленность с своими изделиями и промыслами: домиками для чижигов, незавидными игрушками, удочками, неразрывными силками, черными тараканами, муравьиными яйцами¹ и тому подобным.

Но что это? Что я слышу? Старая моя знакомая выучилась барышничать. О времена, о нравы!

— Это, сударь, я вам доложу, не простая какая-нибудь уда, — говорит плутоватый действитель мелкой промыш-

¹ Предлагаю справочные цены двум последним товарам: тараканы, преследуемые особенно сапожниками-мальчишками, продаются от 20 до 30 копеек серебром за сотню, а фунт муравьиных яиц стоит не менее 40 копеек серебром.

ленности своему покупателю, — это-с редкость-с. Вы что глядите? палка не чиста? да ведь рыбе-с не целоваться с нею. Вы вот где посмотрите — вот-с: каков волос-то, не здешний-с!

— Откуда же, из Америки, что ли?

— Не из Америки, а арабский-с.

— Как так?

— Да от арабской лошади-с, вот что-с. Уж его какая хотите щука не перекусит-с; пять фунтов смело вытягивайте им-с. А крючок-то видите-с?

— Вижу. Что, и крючок не здешний?

— А как бы вы думали? Я не облыжно говорю: у меня брат в Туле оружейником; нас всех пятеро-с; так он мне присылает-с. Я не барышник какой, чтоб мне обманывать вашу милость. Такие крючки только и есть в одном Петербурге-с.

«Ну, любезный — сказал бы я ему, — заговариваешь ты зубы не хуже цыгана».

На другой половине Охотного ряда, собственно на Охотной площади, тоже два царства — птичье и звериное, с тою лишь разницею, что представители их служат человеку на пользу, а не на одно удовольствие, — куры, гуси, индейки, утки, свиньи, бараны, телята, — можете представить, и не слыхав, что за приятная музыка. Громче всех вопиют поросята, предвидя насильственную смерть, потому что им пришлось лежать рядом с замороженными своими собратиями. Охотников здесь немного: большею частью одни доможилы. Движение сосредоточивается преимущественно вокруг кошелок с курами. Тут есть и павловские с белыми и черными хохлами, и крупные гилдянские, и красавицы шпанские, и ноские украинские, и цыцарки, *золотые* и *серебряные*. Из самых отдаленных частей Москвы идут сюда заботливые хозяйки купить курочек, которые нанесут им яиц к светлому дню. Правда, что в Москве можно купить хоть миллион яиц, простых и крашенных; да свои все как-то приятнее, знаешь, что свежие, безобманые, не болтуны; а главное, куда ж девать крошки со стола, если не водить кур? И выбирает хозяйка доморощенную курочку, которая уж растится и не сегодня, так завтра занесется. Охотники-мужчины зарятся на петухов, боевых и заводских, и жарко спорят, кому отдать преимущество — крепкой ли груди русского, огромным ли шпорам аглицкого или увертливости гилдянского. Но с ними познакомимся мы в другой раз. А теперь, смекаю я, устали вы, мой снисходительный спутник: ходьба возбудила ваш аппетит, и помышляете вы о домашнем крове. С богом! Оста-

нусь я один и до конца выполню взятую на себя обязанность — познакомить вас с сборным воскресеньем.

Особенности московской жизни проявляются в этот день и не в одном Охотном ряду. Близка весна, а вместе с нею не одним только деревьям открывается надежда зажить новою жизнью. Комнатные живописцы, пробедствовавшие всю зиму¹, гурьбою собираются на так называемый *монетный двор* и запивают магарычи со взятых на весну работ. У Варварских ворот тысячи плотников, владимирских и рязанских, ударяют по рукам с подрядчиками, делятся на артели и скоро принимаются за топор. Немало сходится тут же и пильщиков, которых нанимают на весну хозяева окрестных рощей. Далее, на Бабьем городке, в Тверской-Ямской, в Свиблове, в предместьях и в глухих переулках, затеваются кулачные бои — разумеется, не то, что в старину, когда охота показать свою удаль оканчивалась нередко свороченными салазками или переломленной рукой; а так, просто для одной потехи, соберутся десятка два уличных мальчишек да подростков фабричных. Далее, на Переведеновке, на Черногряжке, под Вязками, на Смоленском рынке, начинаются другого рода бои, в английском вкусе, бои петушиные. За Рогожскою заставою, в амфитеатре, только не римском, происходит в первый раз «удивительная медвежья травля; для удовольствия публики травится свирепейший медведь аглицкими мордашками и медеянскими собаками, напуском по охоте»...

Наконец, и это вы знаете без меня, в сборное же воскресенье открывается музыкальный сезон — длинный ряд концертов, которыми угощают нас разные знаменитости, приезжие и доморощенные, поющие и играющие на всевозможных инструментах, даже на рожке и барабане.

Кажется, все.

Нет, позвольте еще минуту. Только расстались мы с вами, случилось замечательное происшествие. Купил некто, неизвестно для какой потребности, пару павлинов. Едва стали пересаживать их из одной кошелки в другую, павлин, которому не пришлось это по сердцу, вдруг порх из рук своего хозяина и сел на крышу. Неразделившиеся владельцы его — туда, сюда, и так и сяк — нет, нельзя никак достать павлина, и с места даже не спугнешь его. Уселся и сидит себе, словно поджидает мила друга, что осталась в злой неволе. И не чуует он, что собирается над ним гроза неминуемая, что попал он из огня в полымя, и не видит он, что обсели его кругом галки да вороны; принялись они каркать по-своему, как буд-

¹ В противоположность портным, для которых это время года самое хлебное, а лето самое горемычное.

то собрались суд судить над красавцем. Кра-кра-кра, и бросился черноперый народ долбить и щипать нарядного гостя, с особенным ожесточением нападая на его радужно-изумрудный цвет. Притча о вороне в павлиньих перьях разыгралась в лицах; но здесь страдало не самозванство, а истинное достоинство. Нападения на павлина становились с каждой минутой ожесточеннее, ворон и всякой сволочи прибавлялось более и более; даже воробьи прилетели насмешливо почиликать над бедным страдальцем: а он сидел как вкопанный, повесив голову, не защищался и не думал даже лететь. Лишь изредка, когда сильный удар какой-нибудь ожесточенной вороны вырывал у него перо с корнем, подымал он голову и печально посматривал на зевак, толпою собравшихся глядеть на птичью драму, как будто желая сказать им: «Люди добрые, виноват ли я, что у меня такая светлая одежда!» К вечеру павлин забит был до полусмерти, и дальнейшая судьба его осталась покрытою мраком неизвестности.

Теперь, я думаю, все, и ставлю заключительную точку.



ПОВЕСТИ

СИБИРКА

Мещанские очерки



I

В Москве раздольной есть много улиц, где в известные часы дня кипит деятельность и на которых зато вечером едва встретишь живую душу. Жиль-

цам их, встающим в то время, когда образованный люд столицы спешит успокоиться от волнений затянувшейся пульки или другого какого душеполезного занятия, — некогда, да и несподручно думать о средствах убивать вечера, и лишь на несколько минут выйдут они за ворота подышать свежим воздухом и вполголоса спеть какую-нибудь заунывную...

Таков Крест, улица, которая тянется на добрую версту, от Серединки (за Сухаревской) вплоть до самой Троицкой заставы. И летом и зимою, с раннего утра до самых вечереи, по ней беспрестанно снует народ, и взад и вперед плетутся нехитростные деревенские колымаги, снабжающие Москву разными припасами, от сена до молока; кучками толпятся коренные обитатели этого места — ямщики, собираясь запить магарыч с предстоящей поездки; зачастую промчится ухарская тройка — и все это вместе придает оживленный вид ее однообразным и не очень казистым домам, особенно когда присоединить сюда шум и говор базарного дня, торговое движение в местных лавках, а летом бесчисленные пестрые толпы богомольцев, преимущественно в нерабочую пору, когда все замосковные губернии — не один десяток тысяч людей — пройдут Крестом на поклонение святыням Троицкой лавры. Вечер, как сказано, с немногими исключениями, безмолвен и скучен, а вечер осенний — просто невыносим. И то сказать

правду, что осенью не один Крест, почти вся Москва прозябает, а не живет (говорится про жизнь уличную); но здесь, по какому-то предопределению природы, сосредоточивается все, что может сморщить самое веселое лицо и заставить призадуматься о мирских невзгодах самого беззаботного человека, — и скорее хочется отсюда в глубину города, где даже в такую погоду, когда, по пословице, и собаку не сгопишь палкой со двора, люди суетятся, хлопочут, бегают.

В один из подобных вечеров, на исходе сентября, небо, задернутое серой дымкой облаков, слезливее обыкновенного смотрело на обнаженную землю; как из сита, изморосили мелкие водяные капли, которые совестно и называть дождем; а ветер то кружился с кучею листьев, то протяжным завываньем сзывал слушателей на свой даровой концерт. Темь, сыро, холодно. Улица была пуста. Правда, изредка промелькивал по ней замасленный фонащик, бегом оглядывал свою команду огоньков, останавливаясь лишь на несколько секунд, чтобы переброситься парюю слов с дремлющим земляком-будочником; или этот последний, из соревнования к деятельности сослуживца, после протяжного «слушай!» вызывал своего товарища, прикорнувшего было за печкой, и посылал его посмотреть, «не шатается ли какой бездомный»; местах в двух слышались глухие удары сторожа, бившего часы, или грохот отдаленных дрожек, затихавший среди тьяканья разношерстных; но эта деятельность, это движение погасали в продолжение каких-нибудь пяти минут, и с возвращением будочника к прерванному сну становилось прежнее безлюдье.

И странно было в такую пору, в этой смиренной стороне, услышать голос, который пел какой-то церковный стих, перемежая его разными рассуждениями, не всегда приличными словам пения, — и голос этот раздавался с одного места, не приближаясь и не отдаляясь, и раздавался не свободными, полными тонами, а отрывисто, как будто по принуждению. Мерцающий свет фонарей позволял исследовать это любопытное явление, и при внимательном наблюдении можно было усмотреть, что неизвестный певец, развлекавший скуку позднего одиночества, было существо, полулежавшее на мостовой около часовни, при повороте в Сокольницкий переулок. Пение постепенно ослабевало, уступая место мыслям вслух, которые непрерывным потоком лились из уст словоохотливого певца.

— На всяком месте владычество его! — говорил он. — Упал и не ушибся! Слава тебе, господи! Жена, известно, бабье дело, станет бранить: «Нализался, скажет, разбойник, для своих именин, пропил все до копейки, не на что будет хлеба купить, а не то чтобы для праздника испечь пирогов!»

Ну, и пойдет причитывать. Ан врешь! А это что? И покажем ей рыбу, выложим чай и сахар. Да, купил, не пропил, а выпить, выпил, грешный человек. Да что ж? Работай до упаду, как каторжный, да и не поотважь себя! На то и вино. Оно, конечно, завтра праздник, я именинник, не приходилось бы марать себя для такого дня, да с горя, ей-богу, с горя! Бегал, бегал, прости, господи, мое согрешение, как собака, высунув язык, и хоть бы на смех получил с кого медный грош! Тьфу, мошенники! Петр Иваныч, седая борода, говорит, что торговля идет плохо: «Обожди маленько, благоприятель!» Обожди! Плохо идет! Эх ты, анафема эдакая, а сам толстеешь, как бочка, даром что под носом панихида! А барин-то, барин, чтоб ему на том свете ни дна, ни покрышки, прости господи! Велел лакеишке выгнать меня по шеям: «Ты, — говорит, — не смей беспокоить меня; а то, — говорит, — я упрячу тебя за грубость в доброе место!» За грубость! Какая же, говорю, обида тебе, ваше благородие, что прошу кровных, трудовых денег? Так куда как расходился: «Как ты, — говорит, — смеешь меня тыкать?» Ну и тово, велел наkostenять. Эх! Как понадобились кучеру новые сапоги, так кимряк¹ в почете, и Ваня он, и братец. Ну, и совестно отказать, без задатку взялся и сделал на славу. А принес сапоги, стал и вор и пьяница, и меня же норовят в зубы. Стрекулиштишка поганый! Не приведи господи знаться с такими! Наш брат сделай что-нибудь нехорошее, какую ни на есть гадость — поставь гнилую подошву али замажь швы воском, — так мало того, что барин натешится над ним вдоволь, и на съезжей-то проберут его до костей. Да вперед наука! Ведь он на меду поднесет мне, если повеличает братцем. Ты зови как хочешь, уж лучше Ванькой, даром что я Иван Петров, сын Горюнов, да только плати. Вот оно что!

И немало еще, жалуясь на обстоятельства, рассуждал Иван Петрович. Наконец, вспомнил ли он, что пора идти домой, или голыши уже поприскучили его бокам, — только он быстро поднялся и зашагал к углу, уговаривая левую ногу, которая было заупрямилась, помогать усилиям правой. Теперь певец был весь на виду: среднего роста, но коренастый, жилистый, черноволосый, лет двадцати восьми, судя по лицу, на которое не годы, а усиленная работа и бессонные

¹ Это слово надобно пояснить для некоторых читателей. Кимряками называются сапожники, которые умеют шить одну русскую обувь, то есть сапоги величиною с ботфорты, фунтов в десять весом, крепко подкованные полувершковыми гвоздями. Они большею частью крестьяне из селения Кимры (Тверской губернии, Калязинского уезда), и от него получили свое название, сделавшееся отличительным термином их работы. Главное местопребывание кимряков в Москве — так называемый Ямской приказ, в Зарядье

ночи наложили свою изнурительную печать, он смотрел молодцом, — и непонятно было, как его крепкая на вид натура не устояла против силы русского веселья.

— И на коне не догонишь тебя! — закричал он, пройдя несколько шагов. — Наше вам наиглубочайшее, голубчик Николаша!

Пешеход, к которому относились эти слова, остановился. По истертой временем синей чуйке и испитому лицу можно было догадаться, что он из одного сословия с Иваном Петровичем.

— Пора и ко дворам, полуночник! Где был в такую пору? — сказал он сапожнику.

Иван Петрович пустился в длинные рассказы о том, как его вдруг ошеломило, как он, очнувшись, ленился вставать, и о прочем; но собеседник его, по-видимому, не слишком любопытствовал знать все эти объяснения: он шел молча, понуриив голову.

— Что же ты хмуришься, словно филин перед днем! — сказал удивленный рассказчик. — Я рассыпаюсь в словах от радости, а ты ни гу-гу! Прозяб, что ли, Тимофеич, пойдём, вспрыснем именины, чайком попотчую, последнюю полтину на стол!

— Спасибо, брат. Дома давно заждались, да и мне, право, не до бражничанья.

— Вот диковина-то! От чего же тебе, кажись, скучать?

— Мало ли от чего! Но половины моего горя ты не поймешь... не потому, что ты хмелен. Это долгая песня. Довольно сказать тебе про последнюю неприятность. Ты знаешь, целую неделю сидел я насквозь почти все ночи, измучился и — ни за нюх табаку. Вынес Челнакову заказные образа; он продержал меня в городе до вечера, потом зазвал в погребок: «Попотчуй, — говорит, — Тимофеич, сантуринским». Да денег, говорю, нет, Петр Иванович. «Ты заказывай, — говорит, — а денег дам сколько хочешь». Извольте. Выпил, да и улизнул домой. Будь я один, мне ничего бы не стоило попоститься день, два, — как-нибудь перевернулся бы; но матушка, сестра. Тяжело, брат, что мои заботы не в силах покоить их; знать, такая судьба. Я готов разделить с ними свое тело, но оно не заменит хлеба, вишь, какое жирное! — прибавил горемычный ремесленник с печальной улыбкой, сжимая свои исхудалые руки.

— Заменит, брат, заменит! Ты сделал мне однажды дружбу, поделился последней копеейкой, когда мой отец, царство ему небесное! приезжал из деревни, а у меня гроша за душой не было. По гроб не забуду этого, да умирать-то стану, так накажу завязать на память узелок. Есть о чем

горевать! Будет у тебя завтра и хлеб и чай. Чему же ты ухмыляешься? Думаешь, что я спяну-то мелю что попало или жую во сне онучи? Врешь, дружище, право же слово, врешь! Давеча точно ходил ветер в голове, не было царя, а теперь (и сапожник засвистал, желая показать этим, как соскочил с него злой хмель), маловато и теперь есть, не отпираюсь. Ты пей, да только дела не забывай, и косушка вина ради куражу не испортит никакого ума. Вот оно что!

— Полно чесать зубы. Скажи-ка лучше про дело: верно, ты с богатой получкой?

— Получки нет, да' богат бог милостью. Вот и провизия.

Но кулька с припасами не оказалось налицо, и Иван Петрович поспешил за ним на покинутое место своего отдыха.

— Да на тебе никак другая одежда? — спросил его живописец, когда тот с торжествующим видом подал ему отысканное сокровище — кулек.

— Это так, голова, ничего... Ты лишь не говори жене, рассердится из-за пустяков, поспоримся, а оно нехорошо, — отвечал в смущении Иван Петрович: — я ведь только поменялся на время... Целовальник знакомый, не обманет... я скоро выкуплю...

— Так ты заложил свою?

— Вестимо... да с горя! Ни с кого не получил за работу; должники всё шиш-голь проклятая; взяла досада такая, мочи нет. Снял с себя поддевку и сапоги, взял синенькую, стал сыт и весел, а мне дали вот эту переменку. Уж так, видно, заведено, что у сапожника не бывает никогда сапог, а у портного либо сюртука, либо брюк. Да ничего, поправимся, и не из кулька в рогожу...

Вдруг, не кончив своего оправдания, сапожник бросился вперед, и до слуха Николая Тимофеевича долетело его обычное приветствие: — Наше вам наиглубочайшее, сударыня! Куда это изволите пробираться? Верно, в лавочку-с?

Живописец ускорил шаги и в темноте чуть не столкнулся с лицом, к которому обращена была речь Ивана Петровича. Взглянул, и невольное «ах!» вырвалось у него. Женщина, закутанная в салоп, проскользнула мимо, — еще несколько мгновений — и ее не стало видно под защитой ночи. Живописец, изумленный, хотел было броситься вслед за нею, но после минутного раздумья остановился.

— Иль ты онемел? — сказал ему сапожник. — Ведь это Наталья Ивановна!.. Ономясь вилял перед ней, словно лисица хвостом, а теперь и шапки не ломаешь! Я мужик, и то соблюдаю политичность.

— Пригрезилось тебе, что это она, — отвечал живописец с досадой.

— Да ты разве ослеп? Она вышла вот из этого дома. Хочешь на галенок чаю, что это Наталья Ивановна? Зайдем к Савельичу, будто за табаком, и увидишь.

— Какие глупости лезут в твою башку! Спорь лучше с дождем; видишь, расходится не на шутку.

Они пошли почти бегом, не совсем удачно перебираясь чрез многочисленные лужи, которыми усеяна была дорога, и топкую грязь. Иван Петрович настаивал на своем, что не ошибся; но товарищ его и не спорил, а думал, по-видимому, совершенно о другом.

— Да, Николаша, — философическим тоном рассуждал сапожник: — женщина, что твоя кошка, насчет чего ты хочешь... Вишь, как прошмыгнула... суцая кошка... и со мной ни пол-слова, обморочить хотела! Кошка насчет ли любви али чего другого... уж вырвется изо всякой беды, коли захочет! Известно, Наталья Ивановна девушка хорошая, деликатная, постоит супротив всякой барышни, чести от нее нельзя отнять, да все кошка!

На этом слове они были у ворот своего дома.

II

Читатель! Ты, кого с незапамятных времен весь пишущий люд чествует благосклонным, позволь и мне сделать воззвание к твоей снисходительности — попросить тебя свернуть на время в сторону с большой дороги начатого рассказа, для твоего же удовольствия. На свете все в имени, и, назвав мою историю «очерками», я вправе действовать как заблагорассудится, идти на все четыре стороны, не стесняясь оградами повести или другого какого произведения, получившего право гражданства в области слова. Очерки мои отчасти сродни тем литературным блескам, что зовутся за морем физиологиями, — и поэтому-то осмеливаюсь представить на твое благоусмотрение несколько отдельных штрихов, тем более что они могут показать истинную точку, с которой надобно смотреть на целое.

Узнав, что одно из действующих лиц рассказа, если угодно, герой, — живописец, ты, может быть, подумал, что он из семьи тех диковинных живописцев, что расплодились было на Руси не так давно тому, когда кой-кто из наших писателей вздумали искать поэзии не в повседневной жизни, находя ее слишком мелочною, а в созданной их фантазиею и вследствие этого высшего взгляда запрудили словесность художниками разного рода, выставив их всех кандидатами в гении.

Николай Тимофеевич далеко не то. Он ремесленник, мастеровой, и если иногда решается повеличить себя художником, так лишь для отличия от иконников-бородачей, с которыми он потому только стоит на одной доске, что пишет образа. Он член сословия, составляющего значительную часть народонаселения Белокаменной и помогающего ей одевать и убирать почти всю Россию. Сословие это разделяется на несколько разрядов не по одному роду занятий: в нем есть своя аристократия и своя чернь, смотря по личному весу ремесленника или по важности его мастерства; и хотя можно сказать, что на всех мастеровых

С головы до пяток
Особый отпечаток . —

след русской отваги и смысленности, которая, не лазая в карман за метким словом, не много думает и в случае, когда придется перенять, пустить в ход какое-нибудь чужеземное изобретение, угаданное на лету, с одного глаза; но, по разным уважительным причинам, я не стану рассматривать высшие слои их, а спущусь вниз.

Тузоз-мастеровых можно видеть на любой из главных московских улиц: огромная вывеска, нередко с французскою надписью, грязный вход, ведущий в подражание конторе — комнатку, где торчит полуобципаный мальчишка, заменяющий приказчика, — а там уже мастерская, на немецкий покрой. Вот большею частью признаки их заведений.

Другое дело — низшая ступень ремесленников, хозяева-кустарники, которые шажком пробираются за тузами: их отыскивать трудновато, потому что они населяют края Москвы, глухие, небойкие места ее, где квартиры подешевле, — а если и попадаются в середине города, то в какой-нибудь Певческой или на площади, где в одной каморке шагов в шесть длиной, освещаемой парюю конюшенных окон, помещается иногда человек десять. Как они живут тут, как работают, как ухитряются находить еще кой-какие удобства — это их уже тайна, которую, однако ж, не мудрено разрешить, когда увидишь, что это за лихой народ, и хозяева и работники. Плохо одет, насчет пищи — порой с квасом, порой с водою, работает день и ночь, без усталости, без отдыха, — и всегда весел, всегда с песнями, живет нараспашку, на живую нитку, ставит ребром последнюю копейку... У него ни в чем нет середины: начнет он гулять, так уж гуляет до отвала, и воскресенье и понедельник, пьет, покуда «принимает душа» и пока не свалится с ног; зато случись спешная работа, дело закипит у него в руках, и он просидит над нею, не разгибая спины, двое суток сряду. Беззаботный, но не беспечный (ничего не

делать-то ему «не под стать»), он не беспокоит себя много думами о будущем, может быть, и потому, что в этом будущем не светится ни одной отрадной, сбыточной надежды, а стоит одно горемычное труженичество из насущного хлеба... «Были бы только руки да здоровье, а то все плевое дело», — говорит какой-нибудь Иван Петрович, закладывая на похмелье новый, только что купленный халат или платя хозяину за каждый прогульный день втрое больше своего жалования. Крепко, однако ж, становится он недоволен своей бесталанной судьбой, когда за неплатеж каких-либо недоимок его отправляют в рабочий дом или одевают в серый армяк и заставляют в деревне стеречь баранов. К подобным же неприятностям жизни относит он и те нередкие случаи, когда, по каким-нибудь законным причинам не попав на ночлег домой, он отводится попечительными будочниками в сибирку¹ и на другой день, с намеленным знаком отличия на спине, очищает улицу части, давшей ему приют...

Прошу не думать, однако, что одни темные пятна — исключительные признаки мастеровых, а добрые качества так бесцветны, что их не заметишь. Пожар, пламя пышет волнами, порывается на соседние дома; толпы стоят кругом, сложа руки и смотря на огненную картину, как на театральное представление; пожарные солдаты выбились из сил. Кто добровольно, не подгоняемый нагайками казаков, бросается к ним на подмогу, качает воду, растаскивает обгорелые бревна? Мастеровые.

Бедная церковь, прихожан мало, певчих нанять не на что, и в праздничный день своды ее должны бы оглашаться дребезжащими голосами двух престарелых причетников; но раздается громкое пение хора, правда, незнакомого с нотами, но поющего стройно, руководствуясь тем народным чувством, которое еще в детстве побуждает нас жадно вслушиваться в умиленные церковные напевы. Кто же заменяет клир? Сборные певчие из мастеровых, для которых эти минуты спасительны по своему влиянию на их нравственность. Часто, после такого доброго начала дня, участники хора чинно усаживаются вокруг кого-нибудь из грамотных товарищей, и время, обреченное веселью, проходит в мирном отдыхе и чтении какой-нибудь книжки, купленной на толкучем за гривенник...

Вот еще черта: где-нибудь на гулянье, перед балаганом теснится народ, потешаясь остротами паяца и особенно разговорами его с рыжей бородою, которая непременно является

¹ Так называют полицейскую тюрьму, очень невинную, вроде школьного карцера. Есть и другого рода сибирки, о чем будет сказано ниже.

тут: хотите знать, кто занимает роль нашего самородного буффо? Наверно, портной, который из нескольких вырученных таким образом рублей доставит праздник своему семейству и, что греха таить, потопит горе жизни в зеленóm. В редкой школе найдется такой дух товарищества, какой распространен между мастерами. Артель — это дружка французским компанствам, исключая лишь худой стороны их — неприязни к другим товариществам. Одноартельцы все братья: и чай они по праздникам пьют вскладчину, и одни сапоги частенько носят двое; а если кому из них случится быть обиженным другой мастерской, все горой станут за него, и горе оскорбителям! Это братство доходит у них порой донельзя. Бывает, например, так, что артель хочет повеселиться, и только один выскочка не желает участвовать в общей пирушке; на другой день кто-нибудь из удалых, коновод, в отмщенье за отступничество утаскивает у него сюртук или что другое из платья и закладывает на похмелье. В мастерскую вступает новичок; по принятому исстари обычаю с него надобны вспрыски для всей артели, и если он вздумает поэкономиться, угостить будущих товарищей одним чаем, лучше не гляди на свет: ему не будет житья, и с прозвищем «выжиги, прощелыги, трясучки» он принужден перейти к другому хозяину. Особенно неумолимы в этих двух случаях портные и сапожники, пользующиеся между мастерами репутацией записных пьяниц, в противоположность бриллианщикам, золотых дел мастерам, часовщикам и живописцам — высшим ступеням ремесла, которых за тонность прозвали «паровыми огурцами».

Впрочем, проследите жизнь мастерового. Мальчик, назначенный в ученье, редко учится чему-нибудь дома; ему дают даже поблажку в шалостях, говоря: «Еще натерпится в чужих людях». Поступив в мастерскую, он уже носит в себе знакомство с уличными пороками, на искоренение которых должны бы обратиться заботы хозяина; но когда тому подумать об этом? По условию он обязался выучить мальчика «всему, чему сам разумеет», в течение не более пяти лет (законом ограниченный срок), и об этом он старается, сколько сумеет и сколько сможет дарование ученика; а из нравственных качеств внушает более всего, словом и делом, послушание; подмастерья, с своей стороны, заботятся преимущественно о чинопочитании и за малейшую провинность усердно щелкают мальчишку, основываясь на том, что и их «так учили!» На опаре этих двух добродетелей подрастает маленький ремесленник. Первые год-два он только привыкает к мастерству, занимаясь более домашними работами, а потом хозяин уже требует от него посильной помощи, что-

бы не даром ел хлеб, — и лишь по милости быстро переимчивой натуры успеваает он и приобретать новые сведения и применять к делу приобретенные. Нравственность его между тем развивается на свободе и частенько колеблется от необходимости заслуживать благосклонность мастеров и вместе с тем угождать хозяину. Наконец, с поступлением ученика в разряд старших, сдерживавшие его цепи страха близки к разрыву, — и, на одной ноге с работниками, он начинает понемногу пошалить с ними. Счастлив он, если его, только что выбежавшего на дорогу жизни, есть кому наставить на путь: он не свихнется, а иначе пиши пропало! Посудите, где же научиться ему — не мудреной науке жизни, а хотя некоторым основным правилам ее, которые даются другим чрез самое первоначальное образование? Школ для ремесленников не существует; публичных курсов, вроде тех, какие читаются во Франции, не имеется; явится иногда из ремесленной управы для осмотра в мастерскую какой-нибудь просто-плетный «товарищ старшины» с пройдохой писарем, да ему более дела до того, есть ли у хозяина и работников законные дозволения на производство мастерства, не терпит ли казенный интерес какого ущерба, — а заглянуть тут же, как содержатся мальчики, как и чему их учат, — это до него не касается. Доброе учреждение воскресные школы, да их мало, на всю Москву три, и не скоро еще привьются они к застарелой беспечности хозяев. Все надобно путем растолковать, вбить в голову, что и бумага и книги — все даровое, лишь пусть учатся ребята, придя от обедни, а не шмыгают по заборам или не играют тихомолкой в орлянку.

Неуместно продолжать эту речь здесь, потому что она требует многих объяснений; и так заговорился. А для чего? Затем, что не нашел другого средства ввести моих читателей в круг, где живет Николай Тимофеевич. История живописца самая обыкновенная даже и для ремесленного быта, ничего не переходило из нее за порог дома; не на чем остановиться и самому внимательному взору. Отдали же его в это мастерство потому, что отец его, небогатый мещанин, перебивавшийся кое-как с гроша на копейку, не мог без восторга проходить мимо иконного ряда, где за стеклянными дверьми как жар горят в дорогих ризах множество образов — эта благочестивая роскошь русского человека, — или мимо серебряного, которому нужно лишь газовое освещение, чтобы походить на волшебный замок. Думал старик сперва сделать его серебряником, да мальчишка был такой хилый, что, казалось, не мог и молотка поднять, — и отдал его «для научения живописи из масла», как говорилось в условии. И стал Николай Тимофеевич мастеровым, которого прошу не

обессудить, если и обмолвится где словом: человек-то он больно неважный. Очень обидишь ты меня, мой добрый читатель, сочтя его за героя и рассчитывая найти в нем все принадлежности этого чина: только те на свете становятся героями (романическими), кому нечего более делать в жизни, как мечтать о несуществующем, куражиться над всем, что хотя на пядь выдвинется из обычной их бесцветности, создавать воображаемые мучения, разочарования, сомнения, — словом, заниматься такими вещами, которые, на языке порядочных людей, зовутся пустяками. А живописец с утра до вечера, часто и ночь, работает, и в поте лица достает кусок хлеба. Конечно, и в его незатейливой жизни, как у многих простых, смиренных людей, встречаются черные дни, в которые героизму других было бы довольно разгула; но он осиливает их, насколько сладит, где нагнется, где подымет плечи, и бредет себе далее, не трезвоня о своей бездольности.

III

Со времени появления «Парижских тайн» у многих проявилась смертная охота бродить по самым глухим закоулкам, в надежде наткнуться на какую-нибудь «тайну» и испытать сильное ощущение, которое они находят только за карточным столом да в опекунском совете. Отдавая должную честь неустрашимости этих ловителей приключений, смею, однако, уверить их, что если бы когда, осенью или весной, случай занес их обок Крестовской улицы и чутье любопытства шепнуло бы, что тут водятся «тайны», — смею уверить, они трусили бы и не пошли в это одно из самых смиренных и тихолобивых предместий Москвы. Здесь еще свежо сохранились следы тех блаженных, не очень давних времен, когда горожане считали мостовые и тротуары незаконным сопротивлением природе, любили строиться раскидисто, но бестолково, и вкось и вкривь, жили каждый своим полным домом, то есть водили коров, свиней и кур, улицу считали общественным пастбищем для этих животных и местом, куда можно сваливать всякую нечисть со двора. Здесь в ненастную погоду столько грязи, такие лужи, что их нельзя описать, а не то чтобы пройти или проехать; можно, впрочем, судить об их объеме по тому, что в половодье в одном местном ущелье образуется настоящее озеро, через которое крестовцы, за неимением лодок, переправляются в корытах¹.

¹ Надобно оговориться, чтобы не обвинили в преувеличении: так бывало несколько лет тому, а теперь сделали кое-какую насыпь, и воды нет настолько, чтобы можно было плавать

В один из здешних первобытных домов дряхлой наружности, торчащий на самом юру, отправимся мы. Осторожно надобно пробираться по узеньким дощечкам, составляющим подвижной мост через топкий дворишко; еще осторожнее входить в темные сени, где того и гляди что зацепишься за какой-нибудь хлам и раскроишь лоб. Входим. Несколько дверей, ведущих каждая в особую каморочку и соединяющихся одним общим выходом, кухнею, где теперь, утром, собрался весь прекрасный пол дома и хлопочет около печки. Точно базар. Ни на минуту не прерывается сумятица и говор, такой громкий, что, кажется, не шести бы женским голосам производить его.

— Как это тебя, Григорьевна, угораздило отодвинуть мой горшок? — кричит одна. — Нанимаешь угол, да хочешь барствовать?

— На-тка, мать моя! Не спавши выпала себе беду, — отвечает обвиняемая. — Ведь и ты не фря какая, что живешь в четырехрублевой каморке!

Слово за слово, побранились, да так горячо, что обвиняемая закричала мужу гонительницы:

— Иван Петрович! Уйми свою озорницу! Сил нет, совсем отбила от печи!

Иван Петрович, полуотворив дверь своей комнатки, где занимался сборами к обеду, принялся усовещивать жену, чтобы «не заваривала каши для его именин»; но его миротворство только подлило масла в огонь, обратившись на него самого, — и бог знает, до чего бы дошла сила супружеского убеждения, если бы появление нового лица не разогнало близкой грозы. Это был старый, но еще бодрый солдат, той молодцеватой наружности, которая редчает с каждым годом, немало послуживший на своем веку, как красноречиво свидетельствовал это ряд медалей и крестов, украшавших его грудь. Его неожиданное «Желаем здравствовать!» громом грянуло среди визгливой разноголосицы и покрыло ее. Крикуньи приутихли, а Иван Петрович, довольный счастливым концом дела, грозившего принять неблагоприятное для него направление, дружески обратился к кавалеру:

— Просим покорно, Иван Савельевич! С праздником вас! Что, верно свеженького табачку принесли? А уж как кстати для нынешнего дня! Истинно одолжили... Весь вышел, и в носу, вот как вы говорите, словно республика. Пожалуйста-ка ко мне, и разотведаем ваш зеленчак. — Эти слова сапожник проговорил с двусмысленной улыбкой, которую нетрудно было истолковать тем, что, ради своего ангела, он запасся штофом пеннику и для компании решился почать его.

— Благодарим покорно, тезка, — отвечал служивый: — забирательного-то со мной нет; а кажись, ты сегодня именинник, так с ангелом, будь здоров да богатей!

И, не слушая более, он вошел к живописцу. Хотя весь дом из барочного леса, давно просившийся на сломку, осунулся до половины в землю, оделся мохом и плесенью и, униженный щелями, терпел от дождя и от ветра, но комната, которую занимал Николай Тимофеевич, была хоть куда, настоящая щеголиха перед своими однодомками-замарашками, глядела светло, весело, красилась порядком и чистотою, говорившими о присутствии женских рук, которые одни умеют давать ничему казистый вид. Убранства вовсе никакого; нет даже и шкафчика для парадной посуды, которым так любит щеголять мещанство; лишь ржавые стены увешаны живописными модельками, да изувеченные окна прикрыты миткалевыми занавесями; все бедно, даже очень, но не поражает своей наготой, нередко отталкивающей от самой горькой бедности. Семья вся вместе. Старушка мать, обессиленная годами, лишенная почти всех чувств, едва передвигает ноги; безвыходно, исключая церкви, куда доведет ее иногда добрая соседка, целый день сидит она на сундуке у печки, жалуясь беспрестанно на холод... Но если наводит грусть смотреть на изможденную жизнь, тем с большею радостью останавливается взор на молодой распуколке, цветущей весенней свежестью: Аннушка, сестра живописца, была премиленькое существо. Ей, всегда с улыбкой, всегда с веселым словом и песенкой, ей казалось, только и жить здесь, между печальною старостью и задумчивою возмужалостью, как гибкому плющу, который с одинаковой любовью обвивается вокруг безобразных развалин и угрюмого дуба. На ней лежат все хозяйственные заботы (а их немало, как ни беден мещанский быт), и она же успевает порой и разгладить морщины матери и натереть красок брату, дать новый фасон своему единственному чепчику и сшить чужое белье. Николай Тимофеевич знаком нам.

Он встретил вошедшего с заметным почтением, а Аннушка взялась было за самовар, следуя московскому обычаю — потчевать гостя чаем, когда бы ни пришел он, но солдат с такою решительностью сказал: «Просим не беспокоиться, я уж принял порцию!», что удивленная девушка оставила свое намерение и вышла в кухню. Живописец сел опять за мольберт, где стоял подмалеванный образ Иоанна Богослова, считаемого покровителем иконописцев, и который он, по обещанию, писал лишь по праздникам, назначая его для своей приходской церкви; Иван Савельевич стал у него за стулом; но прошло с добрую четверть часа, прежде чем кто из них

вымолвил слово, да и то не навело их на разговор, беспрестанно обрывавшийся, что бы ни зачинали они; а видно было, что обоим хотелось высказаться друг другу. Невыносимо человеку немое горе. Найдет ли он сочувствие, подарят ли его искренним сожалением или нет, — все равно: ему необходимо разделить с чьим-нибудь сердцем тяжесть, мучающую его собственное. Есть каленые натуры, которые довольно горды, чтобы вызывать постороннее участие, и, сосредоточиваясь в своей личности, страдают безмолвно; но не люблю я этого насилования природы, добровольного самоистязания, этого актерства перед самим собою и перед другими... Нейдет быть чересчур чувствительным, кисляком; но нет также необходимости корчить из себя существо выше обыкновенных человеческих законов, у которого будто бы вместо сердца гуммиэластиковый мячик, отпрыгивающий от всего сажени на две. По крайней мере между простыми людьми, то есть теми, о ком идет здесь речь, такие явления редки, потому что они не успели вступить в разлад с природой. Солдат и живописец вздохнули не раз, вторя один другому.

— Эхма! — заговорил, наконец, старик. — Не думал я при седых волосах дожить до такого срама. Лучше пусть бы сняли мой егорьевский крест. Живой бы лег в могилу, расставшись с кровным другом, зато спокойно, без позора.

Живописец продолжал машинально водить кистью, не замечая, что вместо телесного колера он взял с палитры охры, и молчал. Еще вчера недобрая встреча (он узнал незнакомку) поразила его; но он боялся спрашивать, как бы отсрочивая удар, темно предчувствуемый его сердцем. Старик продолжал:

— Да, брат, видно так угодно богу, за грехи наказал он меня. Давно полюбился ты мне за свою простоту, скажу это в глаза и за глаза, давно шевелилась у меня мысль породниться с тобою, особенно как заметил, что ты не прочь от этого; а теперь все разлетелось, как пороховой дым. Мне стыдно вымолвить, язык не поворачивается сказать, что она сделала со мной! Бежала, да, бежала, как негодяй-рекрут, оставила старого отца одного обмываться слезами, как бабе, да краснеть от чужих людей. Если бы знал да ведал, что будет это, что обесчестит она свой род, своими бы руками задушил ее в колыбели. Видно, хорошему чаду суждено быть, коли мать жила после родов минут с пять. Так нет, взяла генеральша на воспитание, а выросла, как назло, точно херувим, вся в покойницу, нельзя не любить ее, души не слыхал я в ней; и она, бывало, приедет в карете, одета в бархат, словно картинка, сядет ко мне на колени, обовьется

ручонками вокруг шеи, и уж как ни хмурься, отлегло на сердце, развеселит своим лепетом папашу; да и я был папашей. Добрая дочь была тогда она, не брезгала отцом-солдатом, когда вошла и в разум, стала настоящей барышней и по-французскому со мной разговаривала! (А я натерся этому языку, как гнали неприятеля.) «Ну с богом, расти, Наташа, будь госпожой, а я у тебя швейцаром». Смеется, бывало. Вдруг генеральша скончалась скоропостижно. Наташу почти выгнали из дому, обобрали всю — пришла ко мне, бедненькая, с заплаканными глазками, с одним узелком. «Не плачь, дочка; ведь я не без рук, а здоровья мне не занимать стать; проживем и без твоей благодетельницы, а чего маленько и не достанет, так не пенять же нам друг на друга, любви вволю». Заплакала опять, да только от радости. На ту пору, дня через два, гляжу — повестка идти всем отставным к государю: царский зять, на радостях, оделяет старых служак деньгами. Пошел во дворец и воротился с красной ассигнацией. Вот и первая нежданная помощь. Сбились еще кое-какие деньжонки, и у Наташи появилось платьице, сшила сама — ведь у нее ничто не вывалится из рук, на все мастерица. Стала брать переписывать какие-то мудреные бумаги, все крючки да палочки, — нотации, что ли; я принялся мастерить что попало, и сапоги и башмаки, как было в полку; стал и табак тереть, хороший табак, от покупателей отбою нет, успевай лишь; пробовали лавочники, мужичье глупое, жаловаться квартальному, что хлеб у них отбиваю, бандерольного вовсе не разбирают, да шиш взяли. Во всем шла удача такая, что просто мое почтение. Стал хлопотать и о пенсиях, которые давно бы надо получать, да, верно, сгрыз их какой-нибудь подьячий, а тут и велели выдавать, сам комендант приказал: зажили, что твои господа! Наташа стала щеголять в шляпках. Тут и ты познакомился со мной.

— Я нарочно для этого стал нюхать табак, а когда поновил вам старые образа, сделался как родной; и мне отрадно бывало каждый вечер, после шабашу, прийти к вам и слушать, как Наталья Ивановна рассказывает что-нибудь, чудно рассказывает. Сидишь, боишься перевести дыхание, чтобы не проронить ни одного словечка; и спросит что таким голоском, всего обдаст жаром, сердце расходится ходуном, — а весело, легко на душе. Я... — живописец не договорил, но можно было угадать, что хотел сказать он, забывая злую весть под обаянием прежних воспоминаний, вызванных рассказом Ивана Савельевича, который, против воли, и сам увлекся прошедшим.

— Да, я в ту пору же подметил, что ты ластишься к Наташе, заразила она тебя. Что ж, замуж так замуж, с

богом! Был бы хороший человек, не до благородства нам, хоть и воспитания деликатного, выучена на разные манеры. Что и в благородстве, если у иного душа-то голик. Хоть до сего часу не сказал об этом почесть ни слова.

— Робость брала. Я куда какой неловкий насчет женского полу. Вам-то сказать, разумеется, не беда: не удалось, не по душе пришелся я — делать нечего, насильно мил не будешь... А с Натальей-то Ивановной как? Думаешь много, не пересказать, кажись, и в год, а зачнешь говорить, словно немой. Каждый вечер собирался открыть свое сердце и всегда откладывал до завтра. Ждешь, бывало, как входа в рай, пока уйдут все, а останешься с нею вдвоем, боишься взглянуть прямо в лицо, страх возьмет такой, — молчишь как дурак, отвечаешь невпопад. Уж не один раз это было. Просто конфузия.

— Да сказал бы напрямки, хоть зажмурив глаза: жить не могу без тебя али без вас, как пришлось; или взялся бы за свах, на то и заведены они; а то какая польза тянуть канитель да мучиться, как если больно забрало.

— Я и то с месяц тому, памятен этот день, решился сделать так. Была не была, заодно; жизнь не в жизнь, работа валится из рук, все постыло. Сестра была именинница, и Наталья Ивановна пришла к ней в гости; понабрались и еще кой-кто из девушек, и, чтобы скоротать вечер, затеяли играть в фанты; и я стал. Играем известно как; перекликаются со мной: «По ком болит сердце?» — «По фиалке» (а фиалка была Наталья Ивановна). Спрашивают фиалку: у нее сердце болит по тополе, а тополь-то я! Шутка, а заняла душа. Как дошло до розыгрышей, присудили мне быть разносчиком, продавать яблоки. Обхожу круг, все берут, кто пять, кто десять, известно, не яблоков, а, как водится, целуются; дошел черед и до Натальи Ивановны. «Яблоков, сударыня, не угодно ли?» — прошептал я, а у самого сердце не на месте. Верно, скажет: «Я не люблю»; ан нет: «Куплю пару». Не умею рассказать, что сделалось со мной тогда. Не помню, как я наклонился и поцеловал ее не два, а много раз. Голова у меня пошла кругом, лицо горело как в огне, я бросился вон и уж опамятовался на свежем воздухе. И стыдно и досадно стало на самого себя, а хотелось еще целовать... Девушки с хохотом притащили меня опять в горницу, называли лакомкой. Наталья Ивановна смотрела с улыбкой, но не сердилась, и я как будто переродился. Ввек не случалось со мной такой оказии. Смеюсь, шучу со всеми, шалю как ребенок. Смелость подошла такая, что говорю с Натальей Ивановной и не сморгну, смотря ей в глаза, которых боялся прежде пуще молнии; начал показывать ей свои рисун-

ки — она знает в них толк. «Поздравляю вас с большим дарованием и с любезностью, какой не замечала», — сказала она. Я покраснел; слова эти были для меня дороже миллиона. Правду сказать, не хвастая, если бы не городская работа, где пиши одно и то же, по известной мерке, да клади побольше ярких красок, чтобы не даром платить деньги, как толкуют покупщики; если бы не это вечное малярство да не нужда, которая часто заставляет работать на скорую руку, с грехом пополам, можно бы написать не хуже людей, хоть в академию, как говорит Наталья Ивановна. Играли, играли, глядим — скоро двенадцать часов. Баста! Вы жили тогда еще на старой квартире; Наталье Ивановне одной, разумеется, неловко было идти домой, а остаться ночевать не согласилась, и я пошел провожать ее. Идем, задумались оба; я молчал, молчал и, наконец, начал; не знаю, откуда брались слова, высказал все, что было на сердце. Ответа Натальи Ивановны всего я не понял, хоть не проронил ни слова; узнал лишь, что моя любовь слишком удивила ее. Я, говорит, очень, очень уважаю вас, но... и воспитаны-то мы разно, и понятия наши несходны. Ничего верного не сказала; ошеломить не ошеломила, но и не обрадовала. Опять прежняя мука; смотри на нее да сохни. Лучше бы отказала наотрез, чем это ни то ни се. Печально распростились мы, и с той поры поднесь не слышал я от нее желанного слова.

— Маленькая разница есть, да дело-то не в том, — отвечал солдат. — Все это остатки старой дури, первой глупости: не успела ее стрясти с рук, готова и другая: хорошо детище! Не судьба, Николай Тимофеевич! И рад бы в рай, да грехи не пускают. Беглый, по вторичной, уж никогда не сделается хорошим солдатом, и пропадет он, как червь. Бог с ней! Она забыла меня, и я не хочу помнить о ней. Сосватаю тебе сам такую невесту, что беглянка супротив нее и в подметки не будет годиться! — Голос расстроенного старика задрожал, когда он произносил эти слова.

— Нет, если она не моя суженая, так лучше маяться век одному. Не будет у меня солнца радостного, но и не полюбит в жизни сердце два раза. И что вы наладили все одно: бежала да бежала; может статься, отлучилась куда, не сказавшись, а вы и подумали бог знает что!

— Я говорю не без резону. На-ка, прочти вот эту закорючку.

Николай Тимофеевич жадно схватил поданную ему записку на атласистой бумаге, украшенной вычурною виньеткой, — и вот что заключалось в ней:

«Если ваше сердце еще не совсем умерло для прошлого и вы желаете получить некоторые сведения об нем и даже,

может быть, видеть его, вверьтись знакомому вам экипажу и слову того, кто очень виноват перед вами, но, храня в душе отрадное воспоминание о существе, которое озарило его одинокую жизнь радужными лучами счастья, всегда свято уважал вашу волю. В случае свидания с ним, вам нужно будет пробыть несколько дней вне Москвы, и потому устройте так, чтобы это отсутствие не беспокоило ваших родных. Посланному не отвечайте ничего — это будет знаком согласия, и завтра вечером, в 8 часов, карета будет ждать вас около дома. Именем его заклинаю вас положиться на честь Г. Д.».

В конце находилась приписка по-французски, темная для живописца; но довольно было и прочитанного, чтобы понять, что здесь неспроста. Напрасно, однако, старался он разгадать, кто этот он, по-видимому, столь дорогой для Натальи Ивановны, и напрасно проникал в смысл кудрявых фраз о прошлом и о прочем; зато остальное было слишком ясно.

— От кого же бы это? — спросил он в тоскливом раздумье.

— Это я знаю не больше твоего, а верно, от прежнего удальца, который, даром что офицер, сам присягу принимал, не посовестился отнять единственное дитя у старого служивого...

— От прежнего?!!

— Видно так... Повадилась птичка летать в одно гнездышко, не скоро отучишь. Крепился я давеча, не говорил, а, знать, шила в мешке не утаишь. Человек ты свой и авось сору из избы не вынесешь, не проговоришься кому ради зубоскальства и не растрaviшь старых ран, которые теперь больно трогать и самому... Дай бог царство небесное покойной генеральше, что воспитала сиротку, а нельзя помянуть ее добрым словом, что посадила солдатку не в свои сани! Наташа вышла из ее дому с хмельной головой; в глазах все мерещились усы да шпоры, и, вестимо, трудно было привыкать к таким молодцам, как мы с тобой. хоть не уроды, а все далеко до какого-нибудь гусарчика!.. Частенько задумывалась она и, не раз подмечал я, украдкой читала какие-то письма да целовала их. Вижу, плохо, не к добру это. «Что с тобой, Ташечка?» — «Скучно, батюшка!» — «Отчего же?» — «Так!» Так, да и только. Развеселял как сумел, был с ней, отродясь в первый раз, и в кватре, — знатно представляли, — ходил смотреть разных зверей, шарманку зазывал на дом: улыбается моя Наташа, только лучше плакать, чем так улыбаться. Вдруг, ни с того ни с сего, приходит однажды с урока (а учила она одну купчиху, как сделаться заправской

барышней), приходит словно вострапанная, обнимает меня, целует; я вытаращил глаза. «Милый папаша! Бог помогает нам: нашелся еще урок, буду учить в доме, где не станут чваниться передо мной, как у этих купцов, а будут принимать за родственницу...» А сама вся так и вспыхнула; мне тогда это невдомек, да после припомнил. Ну, хорошо. Месяц, и два, и три, Наташа почти каждый божий день все на уроке, и точно, она учила двух девочек, сам своими глазами видел. Похорошела, расцвела моя Таша; сердце радовалось, глядя на нее.. Вдруг, как будто что сделали над ней, сглазили или напустили, скучать да скучать, тосковать да тосковать, совсем извелась. Что за притча такая? Никак не приберу себе в голову. Делать нечего, согрешил старый дурак, дернула меня моя умная сестрица, опростоволосился, пошел к Ивану Яковлевичу, знакомое дело, безумный, занес такую окоlesiцу, что сам лукавый не разберет; а еще отнес ему с фунт табаку, да в кружку часовой велел положить двугривенный! Ходил я потом к ворожейке, тоже напорол дичь. Прах побери все гаданья! От воли божией никуда не уйдешь!.. Вот пришло и лето. Наташа поехала с своими ученицами в деревню, воротилась исхудалая, словно после болезни какой... Рта никому не зажмешь, соседи пустились в пересуды, но я не говорил об этом дочери: правду — не унять статью, а сплетни — так Москва этим славится. Погодя немного самое совесть замучила, все рассказала мне, несчастная.. Сердце облилось кровью, как услышал я. Еще у генеральши ухаживал он за ней, а потом, а потом, чтобы сподручнее видеться, доставил место у своей родственницы. «Обещал,— говорит,— жениться, ждал только позволения от матери, а та и слышать не хочет!» Дурочка, говорю ей: зачем не спросила в те поры отца, зачем поверила словам, которые иной скажет раз сто в жизнь? Любила ты, пусть так, с сердцем женщина, известно, не совладеет, а честь свою должна бы беречь пуще жизни... Глупенькая ты, глупенькая! Наплакались мы с нею. Думал я идти к нему, да бросил: зачем? Даст, пожалуй, денег, скажет: «Жаль, любезный! Я пошутил, а вышла эдакая история!» — и прогонит меня. Я проклял уроки; лучше есть хлеб с водой, чем жить неправдой; а долго ли до греха молоденькой девушке! Жизнь не поле перейти, забывается все... отлегло и наше горе. Наташа опять сделалась «госпожой», а я «папашей» (у старика капнула слеза при этом воспоминании). А теперь... теперь у меня нет дочери!

Живописец сидел молча, но слезы падали на палитру. То, что передумал он вчера и перечувствовал сегодня, во время рассказа Ивана Савельевича, истомило вконец его душу, и надобно было совершенно зачерстветь ей для всех радо-

стей в жизни (которых не много изведal он), чтобы не уронить слезы на убитое счастье.

Если душу истинно мужскую обуяет грусть, не любит она казать свое временное бессилие и горюет тайком, чтобы не подметил чужой, незваный глаз. Каково же было удивление Николая Тимофеевича, когда, обернувшись, чтобы сказать слово надежды несчастному отцу, он увидел на пороге комнаты Анисью Савельевну, сестру солдата! Вошла она только сию минуту, иначе дала бы знать о своем присутствии, потому что молчать куда не любила; но зоркое чутье ее поняло все. Она принадлежала к тому не переводящемуся на Руси, вследствие татарщины, роду промышленниц, что зовутся свахами и берут на себя человеколюбивую обязанность заботиться о соединении всех чающих супружества, — к тем женщинам, которые вечно в полуизношенном драдедамовом салопе, в ситцевом платке на голове (в важных случаях надевается чепчик в виде мельницы), с лицом подвижным, как картины в райке, с подленькою улыбкою, которая кричит всякому: «не угодно ли, посватаю вас?», с вечными жалобами на бедность и сиротство, что не мешает, однако же, им время от времени относить сотню-другую рублей в опекунский совет. Анисья Савельевна могла служить достойной представительницей этого цеха и к исчисленным качествам присоединяла еще одно, особенно драгоценное, — обладала таким пронзительным голосом, что в состоянии была заглушить любой хор песенников, а говорила бойко, сыпала словами, как сорока. В околотке она пользовалась заслуженной славой всесветной кумушки-сплетницы, и хотя никто не любил ее, но всякий, боясь попасть под ее язычок, усердно отвечивал «нижайшее почтение матушке Анисье Савельевне» и звал на семейную пирушку. Николая Тимофеевича она не очень жаловала за то, что он не пошел на ее уду, отказался жениться на дочери отставного дьячка, такой скромнице, что стоит в церкви не ворохнется, подслеповата лишь немножко. К Наталье Ивановне, своей племяннице, она тоже чувствовала нерасположение: подвернулся было богатый купец, вылезший в почетные граждане из целовальников; приглянулась ему «солдаточка», разлакомились его глаза на этот «субтильный кусочек», и донес он о своих «чувствиях» Анисье Савельевне, с присоединением беленькой ради знакомства; та вмиг смекнула, что это клад (дело происходило вскоре после возвращения Наташи из деревни), и, как тонкий политик, издалека завела своей племяннице речь, что нынешнее офицерство все голь, годится лишь на выжигу, а бестии какие продувные — не приведи господи, «только и выезжают на фуфу, чтобы обмануть нашу сестру», — и уж

если любить, а кто богу не грешен! — так сановитое купечество: толстоваты, да и бумажник-то не тонок; а щедрость какая, постоянство, послушание, хоть за нос води!.. Но бедная девушка, разумеется, поняла, что хочет сказать этим почтенная тетенька, резко попросила уволить ее от подобных рассуждений. «Ах, мать пресвятая Богородица! Поди какая стала рассудительная и добронравная! Давно ли? Другая бы истинно благодарствовала, что прилагают старания о ее сиротстве, а эта и нос кверху и тетку в грош не ставит!» — вскричала раздраженная сваха после такого афронта и нетерпеливо ждала случая выместить свое унижение. Судьба сослепу часто помогает недобрым людям. Понятно, что тетюшка первая заметила удаление Наташи из дому, первая обегала всех знакомых, где думала побывать та, первая отыскала уличительное письмо и умела придать ему такой смысл, что у пораженного отца защемило сердце. С злобною радостью, худо прикрытою родственным участием, разрисовывала она перед ним узоры на имени племянницы, плела искусные кружева из того, что будто удалось ей услышать и увидеть, когда принесено было письмо; примешивала к этому отрывки из старой истории: словом, из несчастья, правда, грустного, но все же не такого, чтобы оно могло переломить твердость солдата, она сделала настоящий ад и заставила оглушенного ее визготнею брата бежать за утешением к тому, кого также должна была поразить эта весть, к живописцу. Пронюхала, куда пошел он, и за ним следом, благовестя на дороге и встречному и поперечному, что вот какая напасть случилась у солдата; так что через четверть часа весь Крест знал о бегстве Наташи, и, увеличенное, измененное прибавками, известие это катилось по другим улицам, и в щепетильных лавках на Сретенке уже говорили, что дочь убила отца и скрылась.

Появление ее неприятно подействовало на бездольных горемык. Солдат вздрогнул и сурово спросил:

— Зачем пожаловала, сестрица?

— Ах, батюшка братец! — защебетала она. — Ведь это ты лишь смотришь на меня, как на собаку, а я к тебе всей душой; свой своему поневоле друг! Грыземся иногда мы, зато никогда не покидаю тебя, не то что Наташенька; чувствительна больно была, вот и след простыл. А знаешь ли еще оказию: поехала-то и взаправду в карете. Кривая Федуловна рассказала мне почесть всю подноготную, что слышала сама от кучера, когда карета была близехонько от нас. «За кем это, батюшка, приехали лошади? Свадьба, что ли?» — спрашивает она. А кучер и говорит: «Свадьба, тетка, только с другого конца!» — «Как так, кормилец?» — «Да вот так:

едет, говорит, пара лошадей, одна в корню, другая на пристяжке; женится, говорит, барин на одной жене, а другую заводит пристяжную. На паре-то, вестимо, поскладней». Федуловне бы и невдомек, куда метит он, да сам разболтал все. «Видишь, тетка, — говорит, — вон этот дом (и показал на наш): там сидит пташка взаперти, добрый молодец выручит ее из неволи, и станет она у него жить в золотой клетке, а есть что твоей душе угодно: лишь полюби!» И много балясничал он, как весело у его барина. Вот, мои голубчики, оказия-то! Не свои речи передаю, не тянула Федуловну за язык!

Рассказ этот Анисья Савельевна произнесла с приличным повышением и понижением голоса, как опытная актриса, выражая сильнее те слова, которые, она знала, ножом должны были врезаться в слух двух участников этой сцены. Стоит человеку вызвать только одну злую мысль, а за ней вереницей, будто стадо журавлей, потянутся сотни, одна другой хитрее и едче. Так было и со слушателями прикрашенного известия о карете. Что прежде и не входило им в голову, представилось теперь их расстроенному воображению, поразив его как молотом. Живописцу стало невыносимо грустно при мысли, что на любовь, которую он считал святыней, заключен низкий торг; что сердце той, кого он, бедняк, чтит в простой чистоте своих чувств, куплено деньгами. Когда же он вспомнил о мимолетных поцелуях, подумал, что теперь эти поцелуи и ласки принадлежат другому; что в то время, как здесь горюющий отец вместе с ним оплакивает легкомысленную, но любимую дочь, она весело смеется улыбке своего... У него потемнело в глазах. Чувства солдата были в страшной тревоге и борьбе промежду себя; любовь к дочке, спорившая с необходимостью выказать строгость, быть «настоящим отцом, а не бабой», чего крепко боялся старый храбрец, стыд, что другие узнают об этом сраме, сменились, наконец, сильною досадою на главную виновницу растравления его неожиданной язвы, на сестру «Чего доброго, — рассуждал он, — эта ведьма сжила бы со свету и меня, а замучить, заесть Наташу ей нипочем. Кто знает, может быть, дурочку подстрекнуло к побегу не столько это республиканское письмо, как изветы да проклятые сплетни этой змеи подколодной!» Опираясь на правдоподобие такой догадки, он обратился к Анисье Савельевне, которая успела уже атаковать живописца, напевая ему что-то о «знатнейшей невесте, какая есть у нее на примете», — и закричал, как будто командуя взводом:

— Типун тебе на язык, зловещая ворона! Слушай! Если каркнешь еще хоть слово, право вышибу из тебя дух! Черт

надоумил тебя нашептать мне в уши такие вещи, каких и век бы не придумал, так и убирайся к нему по знакомой дорожке! Бежала... продала себя... развратилась... сгубла и здесь и там, — не твое дело: дочь моя! Убью и помилую ее, прокляну одним словом и каждую минуту стану молиться о ее спасении — я, все я, за все один ответчик!.. А ты что? Сбоку припека!

Искра, брошенная в пороховой бочонок, не произвела бы грома и треску сильней того, какой послышался из уст взбешенной свахи. Понесла, и на тройке не догонишь, принялась причитывать, хоть святых вон выноси! Видно, женщины этого рода мало изменились со времен Нестора наших юмористов, Даниила Заточника, который вооружался против них стрелами своего остроумия; зато и мужчины в крайних случаях, вспоминая старину, частенько прибегают к самовластной, короткой расправе с ними. Солдат готовился уже приблизительно исполнить свою угрозу над сестрою, но Николай Тимофеевич, боявшийся пуще его, чтобы история не пошла в огласку, успел утишить его гнев. Дело кончилось лишь тем, что он потащил сплетницу домой, обещая запретить ее на замо́к, если она станет хорохориться. А живописец опять принялся было за палитру, но руки и глаза отказывались служить...

IV

В октябре Сокольники пусты, и тамошний немец-хлебник закрывает свою булочную. Все цветущее народонаселение дач давно покинуло пестрые летние домики, в которых сквозит осенний ветер и трудно совладеть с нашей зимой; остались лишь для сторожи старые дворники со стаею собак, или какой-нибудь человеколюбивый владелец дачи позволил на зиму даром жить в кухне бедной вдове с детьми. Дорога из Москвы, на которой летом в так называемые чайные дни десятками мчатся экипажи, отдыхает в это время, и было бы чудом увидеть на ней что-нибудь лучше огородничьей телеги. Но такое диво именно видели сокольницкие отшельники в один октябрьский день, когда докторская колясочка подкатила к изящной даче, отдававшей внаймы, как объявляла это официальная записка на воротах. Доктор никогда не может быть неожиданным гостем: его встретил молодой человек, изящно одетый, с светскими приемами.

— Чрезвычайно благодарен, мосье Захарьев, — сказал хозяин после первых приветствий, — что не отказались проехать такую огромную дистанцию для старого своего пациента. Но, по вашей милости, я теперь здоров, и помощь ваша нужна не для меня. Вилите ли, я буду откровенен с вами...

Это дама, моя родственница; по семейным обстоятельствам ей надобно прожить несколько времени вне Москвы. Не думайте, впрочем, чтобы тут скрывалась какая-нибудь *mystere de Moscou*¹: самое обыкновенное происшествие... Серьезной болезни, кажется, нет, но сильное расстройство нервов. Особенно беспокоит ее болезнь дитяти... у ней есть сын; но это, я думаю, пустяки, ребенок слаб и только; а главное она... Она думает, что ей можно ехать теперь к родным, а там неприятности, и бог знает что может случиться. Пожалуйста, убедите ее в необходимости совершенного спокойствия хотя на несколько дней. Вы понимаете? (Доктор значительно кивнул головой.) Пойдемте же.

В самом деле, больная на вид пользовалась удовлетворительным здоровьем, исключая следов небольшого утомления на лице, и лишь внимательный глаз мог заметить, как ненадежна эта наружность, прикрывающая невидимую внутреннюю тревогу. Но что делать с этими болезнями, которых вся сила и состоит в том, что они не болезни, что их не приведет в систему никакая патология?.. Лишь для формы пощупал доктор пульс больной и прописал ей как можно более развлечений.

— Мне нужно спокойствие, а не веселье, — прервала его пациентка — Посмотрите это дитя Бедняжка нездоров. Помогите ему, это будет лучшим лекарством для меня...

— Вы договариваете мою мысль. Я советую именно те развлечения, которые ведут к спокойствию. Поболее разнообразия в препровождении времени, поменьше воли силе впечатлений на восприимчивое воображение — вот рецепт. Успокойтесь, повеселеете вы — малютка тоже: это, кроме симпатии, основано и на другой причине. Потому что (и, осматривая ребенка, доктор уже прописывал что-то) его болезнь не важная... бессонница, следствие небольшого испуга.

— Так мне можно выходить? Когда же: завтра? послезавтра? — спросила больная с необыкновенной живостью.

— Да, конечно, — отвечал доктор в смущении, ибо он встретил выразительный взгляд молодого человека — только не так скоро. Главное, до его и до собственного выздоровления вы не должны подвергать себя ни малейшему волнению. Помните, что оно повредит обоим.

Доктор откланялся, хозяин пошел провожать его.

— Еще день, может быть и не один! — грустно проговорила больная по уходе их.

Молодой человек застал ее в слезах.

— Ради бога, что с вами? — спросил он торопливо.

¹ Московская тайна.

— Притворяться так долго я не в силах... И зачем было приглашать доктора! Успокоить Колю я сумею и без его советов...

— Но я говорил правду, — возразил молодой человек. — Вы должны пробыть здесь еще несколько дней, и, когда совершенно укрепитесь, когда доктор позволит, я не буду иметь смелости удерживать вас более. Признаюсь, я не ожидал такой быстрой перемены. Разве я много прошу от вас? Мы долго, — кто знает? — может быть, никогда не увидимся с вами; и теперь я желал бы чтобы эти последние дни оставили в душе моей неизгладимое воспоминание. Смотрите на меня как на брата — кажется, я не подал вам повода сомневаться в моем слове, — посвятите все время Коле, — мне уделите лишь несколько минут, чтобы я мог наглядеться на вас... Неужели и это оскорбляет ваши чувства? До сих пор вы так мало говорили со мною, и то о ничтожных предметах, что я боюсь, чтобы слух мой не забыл вашего голоса. Ну, послушайте (и он взял больную за руку; та вздрогнула, но не отняла руки): если вы сердитесь на меня за... то, поверьте, я менее виноват, чем вы думаете. Воля маменьки, приличия, партия, которой хотят все мои родные. Я не принадлежу себе, скован со всех сторон. О, когда бы я был независим! Я завидую вам в этом отношении: вы можете располагать собою свободно, для вас не существует этого страшного, неумолимого судьи — общества, которое условливает все мои поступки. Никакое влечение вашего сердца не встретит ни пересудов, ни пренебрежения. Natalie!

Молодой человек нежно взглянул на свою слушательницу: взгляд этот договорил неконченную мысль. Больная быстро отняла руку и в волнении сказала:

— Оставим этот разговор. Неужели вы хотите, чтобы я сомневалась? Это было бы слишком! Право, мне страшно здесь, и счастье видеть его отравляется боязнью, чего мне стоит оно. Когда подумаю, сколько слез унесла я у батюшки, сколько беспокойства ему прибавляет каждый новый день моего отсутствия, — я готова бежать отсюда. Верно, самое чистое удовольствие, чуждое даже тени зла, не дается даром, и судьба требует за него какого-нибудь пожертвования. Что ж, если к тому, что уже сделано, прибавится еще новое горе!.. Бедный батюшка! Ты был для меня и матерью и другом, а я... я не посовестилась уйти тайком от тебя! Зачем было не сказать об этом: тут нет ничего дурного, ты сам пошел бы проводить меня, сам поплакал бы со мною... Ах, да к чему говорю я это! Знаете ли, Григорий Александрович, у вашей кузины перестали принимать меня... О, как строг ваш свет к слабым.

Искуситель смутился.

— Да успокойтесь же, — проговорил он, покраснев слегка, — вы еще более расстраиваете себя!

К счастью, вошел лакей и о чем-то шепотом доложил ему.

— Хорошо, — отвечал тот вполголоса, — проведи его туда и пусть начинает поскорее.

Лакей удалился, но прерванный разговор не возобновлялся. Больная в печальном раздумье молчала, а утешитель, после двух-трех пустых фраз, подошел к фортепьяно и начал наигрывать новорожденную польку.

Чудно создан свет, а еще чуднее устроились на нем люди: ну пусть это орел, а это глухарь, здесь слон, там заяц: а отчего вдруг является ни рыба ни мясо — живет в воде, а с крыльями, водится на земле, и прогуливается по морю? Отчего то двуполое растение, то амфибия?.. В человечестве это соединение самых противоположных качеств еще разительнее и несравненно чаще: сплошь и рядом увидишь людей, в которых нет ничего своего, все заимствованное, сшитое из разных лоскутков, перенятое бессознательно из пустого обезьянства или с целью прикрыть собственную бесцветность. Самые низкие пороки не мешают иногда проявлению в одной и той же личности высоких добродетелей, и наоборот: себялюбие уживается с самоотвержением; ханжество идет об руку с порывами истинного благочестия; плут, который без обману часу не проживет, делает тайные благодеяния; и мало ли подобных явлений! В наш век к этим нравственным уродливостям, начавшимся с незапамятных времен, прибавилась еще одна, скороспелка, — разочарование, сознание в безжизненности жизни, душевная чахотка, как справедливо выразился кто-то. Нанесена ли она ветром из стран, недоступных ведению рассудка, — фантазии с компаниею, зародилась ли сама в больном организме — решить, за разнообразием и множеством показаний, трудно. Но что она есть, растет не по дням, а по часам, редко где встречает упорное сопротивление, как вампир, нечувствительно впускает свое жало, впивается во всякого неосторожного, небодраствующего, — этому, кажется, никто прекословить не будет. Из тысячи любых человек девять десятых богаты знаниями, но лишь внешними; многому учились, но в десятке наук забыли, затерли самые простые, осязательные истины, мучающие теперь их пытливость; очень пылки в действиях вещественных, но вовсе лишены той сердечной теплоты, которой один градус греет жарче сотни огня искусственного; толкуют

беспреданно о неразрывной связи науки с жизнью, удачно применяют их друг к другу в практическом отношении, что же касается до духовного, горько сознаются в разладе, в разбежке этих двух родных источников.

Многое бы нужно пояснить здесь, кое в чем оговориться, но не время и не место, и это все написано лишь для того, чтобы как можно менее говорить о новом нашем знакомце, Григории Александровиче Дарыгине, уланском корнете, наделенном щегольскими усами, порядочным, благодаря заботам матери, состоянием, вельможною роднею и главное — умом победоносным в делах сердечных. Он был один из современных многочисленных страдальцев, что не мешало ему, однако ж, аппетитно пользоваться всеми благами жизни, какие судьба щедро посылала на его долю. Получив тщедушное воспитание, он рано сделался полновластным господином своих поступков, под надзором старого дядьки, который, понятно, обязан был заботиться о сохранности барской казны и удобствах жизни «отца-кормильца», которого нянчил на своих руках, а сказать прямикомое слово о его жизни не смел. Года через два по вступлении в службу Дарыгин, незаметно для себя и даже для других, сделался подобием нравственного Хлестакова. Хлестаковы-болтуны, у которых язык без костей и которым, может быть, удастся иногда пустить пыль в глаза тому, кто «трех губернаторов обманул», — не опасны, потому что легко узнаются и их пороки на словах. Хлестаковы в душе требуют большей осторожности, потому что искусно маскируются, верны принятой на себя роли, и никогда не попадут в такой просак, чтобы решиться написать в альбом: «О ты, пространством бесконечный!» Сходство тех и других то, что они двуличны без сознания; если когда случайно и заглянут внутрь себя, то поспешно бегут от сердечной исповеди и, погружаясь в прежнюю жизнь, снова достигают до самозабвения, в котором вечная несогласица между делом и мыслью кажется им совершенно в порядке вещей.

Дарыгин не был, впрочем, отчаянным повесой: как раб требований века, он вырос до пониманья, что кутилы привлекательны в одних романах, что только дикарь может увлекаться буйным разгулом, и шалил тонко, артистически, корчил Дон Жуана, перекроенного на русский лад, срывал цветы, где приходилось; но преимущественно любил пользоваться «скромными фиалками, которые растут в захолустье», как говаривал он за товарищеским бокалом, то есть атакывал податливые сердца гувернанток, воспитанниц... Как Хлестаков, он при каждой новой интриге уверял себя, что затевает ее, «томимый жаждою любви, ищет души, которая поняла

бы его, откликнулась родным сочувствием на его вопль», и, разумеется, жестоко обманывался и обманывал. Когда-то, еще в пансионе, он пылал детской страстью, но все-таки любовью, к одной девочке, и с тех пор светоч этого чувства давно погас, уступив место охоте к развлечениям, шалостям или чему-нибудь хуже...

Наташа была одною из самых легких его побед. Небольшого труда стоило очаровать доверчивое сердце этого дитяти по понятиям о жизни, взволновать ее ум двусмысленными намеками о женитьбе, завести пламенную переписку и до того отуманить ее голову, что бедная девушка отдалась совершенно на произвол своего искуителя... Это такая обыкновенная история, что нет нужды рассказывать подробностей ее. В обществе чуть ли не ежедневно слышатся подобные повествования: но кто обращает на них внимание? Рос цветок на дороге (но не в теплице, не под защитой садовника: это важное условие), понравился мне, вам, — сорван; им полюбовались и бросили: что же за беда? Из горя одних создается радость других, для жизни нужна и смерть: это закон природы. Когда связь принесла печальные последствия, когда Наташа с отчаянием объявила, что более нельзя скрывать ее положения, Дарыгин, в душу которого западал порою зародыш гуманности, очень серьезно начал рассуждать с собою, что, может быть, он и женился бы на своей жертве, будь у нее порядочная родословная и умей ее отец насчитать своих предков далее прадедушки Мартемьяна. «Ну, делать нечего, — кончил он свои добрые мысли: — придется быть ей Эсмеральдой, а мне Фебом...» Новые завоевания совершенно изгнали из его головы Наташу; вдруг предложение матери — сделать приличную партию, прибавить несколько сот душ к родовому имению и пару полновесных дядей к имеющимся налицо, словом, жениться, — предложение это, заставшее его врасплох, вызвало воспоминание о покинутой; смотря на брак с самой разумной стороны, как на «могилу любви», и чувствуя, что невеста его, рано утратившая девственность души, разделяет это убеждение, он, как предусмотрительный хозяин, заблаговременно хотел обзавестись «постоянным развлечением», которое разнообразило бы его досужее время и заставляло подчас забывать вялость супружеской жизни. «С Наташей, — рассчитывал он, — меньше хлопот, потому что, наверно, ей приятнее будет пользоваться комфортом, к которому она так привыкла, чем жить в этой смрадной каморке, где она теперь, и смотреть за горшками да за ложками. Ну и любовь... все мое сердце станет принадлежать ей. Я не умею любить вполонину... А уж она будет получше какой-нибудь актрисы: весь этот народ такие...» Сказано — сделано. Мигом

придумалась благовидная, романическая причина к свиданию (на что не решится мать, для того чтобы видеть сына!), Дарыгин запасся подогретыми чувствами, восторженными фразами — и очень ошибся...

Николай Тимофеевич спешил уставить складной мольберт и разложить рабочие припасы, чтобы заняться списыванием портрета ребенка, который, шагах в двух от него, безмятежно почивал на маленьком диване. Взявшись за эту работу с условием исполнить ее в один присест, он кончил все приготовления, прежде чем взглянул на лицо, которое должно было служить ему оригиналом. Глядит, всматривается пристальнее, подходит ближе, чтобы увериться, не обманывают ли его глаза, не воображение ли, настроенное одним предметом, вызывает признак оногo: нет, это в самом деле, наяву. «Что за чудо! — думает он. — Вылитая она, живое подобие; вернее этого портрета нельзя написать... Ах, если бы он открыл глазки: наверное, такие же, как у ней! Разве разбудить его? А портрет? Господин, пожалуй, рассердится... Ну, да так и быть: скажу, что не знаю, отчего проснулся младенец, а там как хотят! Может быть, и не приведет бог увидеть ее больше.. Поцелую тихонько один разок этого ангела!» И он на цыпочках подошел к малютке, на устах которого играла такая милая улыбка, что ему жаль стало тревожить «земного херувимчика». Он воротился. Но невинное искушение было слишком сильно, желание хоть на секунду согреть больную душу живительным лучом воспоминания об ней еще сильнее: живописец снова подошел и осторожно приложил трепещущие свои губы к розовой щечке малютки «Глázок все-таки не увидал, — прошептал он, — да, наверное, ее.. Почивай со Христом, милочка!» Расстроганное сердце вызвало слезу, но новое явление заставило ее быстро скрыться в своем источнике: из противоположной двери показалась Наташа .

Как ошеломленный, живописец стоял, не смея пошевеливаться, едва переводя дыхание и вперив глаза на поразительное явление. Наташа была изумлена не меньше его; лихорадочная дрожь пробежала по ней, и она должна была прислониться к дивану, чтобы не упасть. Взоры обоих встретились, но как различны были выражения этих взоров! Николай Тимофеевич не знал, что подумать, чувствуя на себе силу ее открытого взгляда, ясного, как всегда, хотя отуманенного печалью. Как нарочно, на Наташе было то же самое платье, какое в памятный вечер фантов... Живописец еще более растерялся. С минуту продолжался этот разговор без слов

Наташа, оправившаяся от первого смущения, прервала молчание вопросом:

— Здоровы ли вы? Что батюшка и как ваши домашние?

— Все слава богу! Иван Савельевич крепко грустит... (Он хотел спросить об ее здоровье, но не смел, слова не срывались с языка.)

Опять молчание, и опять лица обоих горят точно в огне.

У Наташи навернулись слезы; стыдясь показать их, она наклонилась к младенцу и горячо поцеловала его. Но... что это значит!.. Губы дитяти холодны, как и все лицо; она прикладывает ухо к груди его: он не дышит, сердце не бьется... Неужели? О боже, этого не может быть: давно ли он так мило прыгал на коленях кормилицы, да и доктор сказал... «Коля, гулять! Вставай, душечка!» И она осыпает его поцелуями... Ребенок недвижим... Наташа упала без чувств... На крик живописца вбежали Дарыгин, сбравшийся к своей невесте, и слуги. Минут через десять, когда после неудачной попытки привести Наташу в чувство ее вынесли в другую комнату, Дарыгин обратился к живописцу:

— Не можешь ли ты, братец, хоть как-нибудь написать портрет?

— Нет-с, никак нельзя, с мертвого грех! — отвечал тот решительно.

— Это очень досадно, черт возьми! — заметил Дарыгин, подумав: «Значит, сувенира не будет, и придется придумать другой!хлопотливо!» — Вот тебе за труды, любезный!

И красная ассигнация очутилась в руке живописца.

— Не за что-с, — проговорил он, быстро кладя ее на столик и спеша убрать мольберт, — не за что-с, я не работал...

Выйдя за ворота, живописец радовался за себя, что не взял «проклятых денег». Но что делается теперь с Наташей? Помилуй бог, если и она... Страшно договорить это слово! С трепетным ожиданием остановился он у калитки, в надежде, не выйдет ли кто: нет, промчался лишь верховой за доктором, да ему некогда было останавливаться и растабарывать с живописцем.

Тщательно заметил Николай Тимофеевич дачу, и уже вечерело, как он, печальный, поплелся домой, рассуждая о детской переменчивости женщин: «Я все тот же, а она уж выучилась притворяться!»

V

Большая палата, вдоль закопченных стен которой тянутся деревянные нары, составляющие единственную ее мебель, если не удостоивать этого названия тройку старых ушатов у дверей и рядом с ними деревянную скамейку; железные

решетки у окон значительно ослабляют светлоту ее, и сквозь дым, слоями стелющийся здесь, едва-едва можно рассмотреть мерцание неугасаемой лампадки перед образом. Невесела наружность палаты, но нельзя пожаловаться, чтоб было скучно в ней, когда она обитаема, а бывает это лишь в продолжение двух или трех месяцев, всегда через год, зимой. Про жителей ее тогда вполне можно сказать: какая смесь одежд, лиц и умов, но не состояний, потому что все они из одного сословия и не собрались, а большею частью собраны сюда подневольно. Войдите в палату в какой хотите час дня — ни на мгновение не бывает здесь совершенной тишины. В одном углу раздается звонкая песня и разливной смех, в другом — полускрываемые рыдания; здесь играют в карты, там, окруженный слушателями, грамотей с чувством читает вслух «Историю» Карамзина; вот группа русаков, обсевшая монастырского служку, который по памяти рассказывает житие святого, празднуемого в тот день, а вот расхаживают под руку два молодчика в коротеньких сюртуках, с бойкими ухватками, и, подпрыгивая польку, распевают водевильные куплеты или «Близко города Славянска»; один целый день спит, а другой беспрестанно наполняет себя чаем и солянками; кто показывает опыты геркулесовской силы и ведет себя как коренной забулдыга, а кто, залезши на окно, печально смотрит на улицу или молчит да вздыхает; почти все курят, но разные сорта табаку, от злых вытерок до Жукова, и дым стоит столбом... Народ все большею частью молодой, немногим лет за тридцать; но кой-где видны старики и даже женщины, пасмурные, как в поимени, и грусть их резко заметна в веселье большинства первых.

Разнообразия, как видите, бездна, и оно удваивается от частых перемен обитателей палаты, от беспрерывного прихода разносчиков и трактирных служителей и появления так называемых гостей, мужчин и женщин. Не привык я испытывать любопытства читателей и докладываю им, что это сибирка, младшая сестра тюрьмы, куда сажают всех мещан, подлежащих рекрутской очереди, когда объявляется набор, сажают, потому что, известное дело, редко кто захочет добровольно явиться сам, как требуют этого; и мещанское общество, то есть представители всего сословия, заблаговременно распоряжается выбором ловчих и поручает им обязанность приводить всех, кому следует выполнить рекрутскую повинность. Иногда очередные скрываются, редко, однако ж, с целью избежать вовсе очереди, а чтобы в последний раз погулять на просторе, проститься с матушкой Москвой; и в таком случае главы семейств, отец или мать, берутся заложниками, порукою за их возвращение: от этого и сибирка называется

семейною, в отличие от своих подруг: податной и арестантской, или золотой роты. Попасть в последнюю — пятно, в котором никто не сознаётся без зазора, а сидеть в первой только несчастье, написанное на роду, а бесчестья нет никакого. Если и пришлось кому сидеть, так неизвестно еще, уйдет ли под красную шапку или останется дома лежать на печи. Да и гостить-то в семейной совсем разница: тут ты не арестант, не с бритой головой; даются тебе харчевые деньги, и на двадцать пять копеек в день катайся, как сыр в масле; контрабандой можно и водку пронести, а чаем хоть залейся. Свободы одной нет, но и ее забываешь, глядя на людей, особливо как понаберется в сибирке вдруг человек сто, — что твой театр. Правда, что на людях и смерть красна: одиночка и камня не сможет поднять, от ружья задаст тягу, а с десятком товарищей стену сломит, пушку на плечи взвалит. Чего же хныкать, чего бабиться: не нами началось, не нами и кончится! Уж как свет стоит, без ссоры не проживут люди и часу; так поэтому и должно оборонять себя и быть готовым про всякий случай. Так или почти так рассуждает всякий новичок, когда приведут его в сибирку; оглядится он кругом, вздохнет на железные перекладины у окон, забывшись, захочет выйти подышать свежим воздухом и остановится при спросе сторожа: «Куда ты?» Крепко взгрустнется по волюшке, протоскует, может статья, день, а там, глядишь, сделался как встрепанный, и народное убеждение: никто же, как не бог, успокаивает его за неизвестное будущее, и рекрут уже утешает товарищей. А большое спасибо тем, у кого и при собственной невзгоде найдется приветливое слово для других, более слабых! Глядя на этих людей, беззаботных накануне решения их будущности, понимаешь нравственную силу русского солдата и то, как из разнородных составов сплачивается единое войско!

Посмотрите, вот привели нового жильца в сибирку: усердно помолился он святой иконе, низко поклонился на все четыре стороны (добрые обычаи!), сказал: «Бог в помощь, братцы! Здравствуйте!» и отправился в указанное ему место, во вторую палату, где «компания почище», как говорил сторож. Узнав, что он явился в общество сам, добровольно, и заинтересованные этим необыкновенно редким случаем, сибирочники окружили его, желая посмотреть, что это за «чудак, который сам лезет в петлю и не захотел подождать, пока приедет карета и серые лакеи¹ поведут его под руки, словно барина». Услыхав несколько подобных замечаний, пришелец равнодушно произнес:

¹ Ловчие.

— Дивиться, право, нечему! Назначили и пришел...

— Вишь какой пряткий, а не гуляка! — заметил кто-то из толпы.

— Горе, знать, подъело; видно, бился как рыба об лед; уж, конечно, лучше плавать хоть в солдатской кашнице, — сказал один остряк, портной.

— Хорошо тебе лясы-то распускать, когда знаешь, что отсюда опять катнешь на свой каток: ты и до меры не дорос и косолап, — возразил молодой малый в дубленом полушубке. — Как зовут тебя, почтенный? — продолжал он, обращаясь к новичку. — Неравно кто спросит, а я здесь старостой¹.

— Николай Тимофеев Кузнецов, — отвечал тот.

Это был наш живописец, и появление его здесь нетрудно объяснить. У него был еще брат, следовательно, как двойник, он подлежал рекрутской очереди, и общество, по давнему обычаю, назначило его, как младшего, предполагая, что старший должен остаться кормильцем семьи; но на деле вышло совершенно другое. Брат живописца, тоже мастеровой, жил отдельно и нисколько не заботился ни о матери, ни о сестре, хотя имел достаток. Все заботы о содержании семейства лежали на Николае Тимофеевиче, и, как ни тесно было его положение, ни за что не решался он просить пособия у бездушного брата. Нашла гроза, и терпеть пришлось тому, кто и без того всегда беду бедовал, оборвалось там, где было тонко... Призадумался живописец, когда прочел свою фамилию в «Московских ведомостях», в списке очередных. Надежд у него не было, жизнь шла безрадостно, звездочка, освещавшая ее, закатилась; но были обязанности, усиленно исполнять которые он считал более чем долгом, любил их. «Кто спокоит теперь, когда не будет меня, — думал он, — печальную старость матушки, кто призрит Аннушку и позаботится о ее будущности? Брат — он и усом не поведет, если они станут просить милостыню, если сестра под гнетом горя и стыда решится забыть всякий стыд... «Что делать? Избежать своей судьбы, сделаться негодным в солдаты, испортить себя, растравить рану (средство, к которому нередко прибегают простолюдины) — это казалось живописцу постыдной трусостью; нанять охотника не на что: набор должно окончить в месяц, и товар этот ужасно вздорожал; просить пособия у брата — значит, понапрасну тратить мольбы и слезы, которые ни в ком не трогают этого выродка. Видно, лучше положиться на божью волю, и, если на роду написано служить госу-

¹ Во всех сибирках, как и в тюрьмах, для соблюдения порядка и тишины между разноплеменными обитателями их выбирают старосты, преимущественно из тех, которые давно сидят и успели свыкнуться с своим бытом.

дарю, так, может быть, с помощью господней удастся выхлопотать позволение остаться в Москве, попасть в казенную чертежную, и тогда нечего тужить, семья не будет терпеть горькой нужды. Не успокоенный, но хотя несколько обнадеженный этими мыслями, он ободрился, отвердел душою к слезам Аннушки и к ее гаданьям о будущем солдатском житье, принялся работать, как машина, чтобы присобрать копейку на черный день, и трепетно ждал своего жребия. Пришло срочное время, и он в сибирку, желая поскорее развязаться с болезненным ожиданием неизвестности. «Пан или пропал, Николаша! — говорил Иван Петрович, провожая его. — Уж то ли, се ли, да будешь знать, какой ты есть человек, наш ли брат мастеровой или, поднимай выше, кавалер».

С утра начинают являться гости в сибирку. Чем свет приходит мать, грозившая прежде сыну, что отдаст его за беспутство в солдаты, а теперь дающая обет пешком сходить к киевским чудотворцам, если бог спасет от солдатства ее ненаглядного; приходит с нескрываемыми слезами новобрачная жена, еще не остывшая от объятий мужа, который напрасно призывает рассудок, чтобы утаить свою печаль при посторонних, когда принесенный поцелуй жаром обхватит его сердце; а вот и другая, с грудным ребенком на руках, которого она принесла, чтобы в последний раз благословил сироту отец, назначенный сегодня в прием; наплакавшись с ним, она переходит к брату, на долю которого тоже выпал жребий, и, забывая о собственном, более близком горе, утешает его; вот слепой старик, поддерживаемый шестилетним внуком и пришедший проститься с младшим своим сыном, назначенным в рекруты; вот небогатая вдова-солдатка, которая, по обещанью, каждый набор ежедневно посещает сибирку и дарит горемычным кого словом одобрения, кого калачом; вот входят два молодца, кровь с молоком, лицо в лицо, словно близнецы; вздумали они перед отправлением денька два погулять, покататься по Москве с песнями, а отца между тем ловчие взяли заложником; услышали удальцы об этом, и совестно стало, что заставили старика плакаться на трусовдетей; явились в сибирку с повинной и прямо ему в ноги: «Не гневись, родимый, не кляни дураков, что маленько опечалили тебя, затеяли шалить не вовремя». И, спеша загладить свой проступок, они начинают спорить промеж себя, чуть не до драки, кому должна достаться честь носить ружье!

И Николая Тимофеевича пришли навестить — солдат и Иван Петрович с Аннушкой. Приход этих трех лиц, разно, но крепко любивших его, сколько обрадовал, столько и огорчил

его. Сестра принесла свои слезы и благословение матери, хотя старушке никак не могли растолковать, что, может быть, она не увидит более сына; Иван Петрович, против обыкновения, был пасмурен: жене что-то попритчилось; зато старый солдат смотрел веселее и оживил заключенного весточкой о Наташе.

— Хворает еще, крепко слаба, но уж в памяти и велела тебе кланяться, — отвечал он на вопрос живописца. — Я, разумеется, не сказал, что за оказия случилась с тобой: пуще расстроишь. Она и то, как стала говорить: «Извините меня перед ним, что наделала ему столько беспокойства, попросите забыть все», а у самой навернулись слезы.

Добрая природа! Как бы ни был несчастен человек, но если его горе не преступное, достаточно одного утешительного слова, чтобы его сердцу вспрыснуться отрадою, на минуту забыть все и спокойнее смотреть на жизнь... У живописца отлегло на душе. Любовь всегда готова на самопожертвования; только у простолюдинов, не привыкших исследовать своих чувств, часто даже не умеющих понять, что делается с ними, а не то чтобы выразить это, — тогда как люди на вершок повыше самой обыкновенной, самой крошечной страсти умеют дать такую великолепную, фразистую оболочку, что нередко обманывают и себя и других, принимая ее за истинную, беспримесную любовь, — у простолюдинов, говорю я, от колыбели до могилы погруженных во внешнюю, если угодно, прозаическую жизнь, любовь эта во всей чистоте своей встречается редко; но зато всякое проявление ее бывает сильно, как удар молнии среди жаркого, безмятежно тихого дня. Забыл Николай Тимофеевич и себя и семью, слушая солдата. После страшной минуты Наташа не помнит и сама, как очутилась дома. Сильная горячка была следствием душевного потрясения и простуды, и лишь сила молодости да неусыпные молитвы отца, не отходившего от нее ни на минуту, спасли ее. Пригласил было Иван Савельевич, по совету соседей, частного лекаря; тот приехал взглянуть на «интересный субъект», прописал какой-то воды, отказался, из амбиции и филантропии, от предложенного целковика, но зато и не бывал более у бедняков, с которых нечего и совестно взять. Отец сам стал лечить дочку лекарствами, которые не продаются ни в каких аптеках: спокойствием, нежными попечениями, рассказами, когда больная полуоткрывала глаза и на мгновение приходила в себя, опрыскивал ее богоявленскою водою, служил молебны, подымал на дом Иверскую..

Во все время болезни Наташи живописец мучился неизвестностью о ней, каждый вечер бродил около ее дома, расспрашивал жильцов; но у него не достало решимости видеть

ее самому и, может быть, потревожить напоминанием о том, что напрасно старалась забыть больная. Теперь он весь обратился в слух при рассказе солдата, полном мелочных подробностей о всех изменениях болезни, подробностей, сохраненных отцовскою любовью. Проникнутый весь думой о Наташе, он почти ничего не говорил с своими гостями, которые, приписывая это расстройству при такой напасти, пытались развеселить его. Иван Савельевич, держась правила, что кто хочет не бояться пороха, должен наперед окуриться им, завел речь о военной службе, о привольном житье при отце-командире, и напрасно тезка и Аннушка старались замять этот предмет, думая, что он еще более растравит горе заключенного.

— Ведь не было примера, — говорил солдат, — чтобы настоящий служивый, то есть, как должно, не лежебока, не мямля, хаял свою жизнь, а напротив, век не ухвалится ею. А отчего? Оттого, что в полку да в походе узнаешь все, в чем ходит нужда и во что наряжается радость; пройдешь огонь и воду, закалишься словно аглицкая сталь, а после и живешь спустя рукава да отмахиваешься от бед, точно от комаров летом. Оттого, что в полку и дурак, который с дурью в гроб бы пошел, и тот поумнеет... Касагельно харчей, продовольствия, фатеры ты из головы выкинь всякую заботу: все дадут тебе готовое, первый сорт, состряпают артельные повара; ты лишь знай холь себя, как невеста под венец... На постое, примерно в Малороссии, житье барское, сам только пальца в рот не клади; знай, где прикрикнуть, где смолчать, подластиться, — так горилкой, а забористая какая! хоть облейся; вареников, галушек, сальников — знатные кушанья — не в проесть; чернобровые коханочки подчас не прочь пожартовать с москалем... Истинное царство! По праздникам музыка, песенники — разливное море!.. Жалованье, вестимо, небольшое, по тройниковой нынешней копейке на день не придется; да ведь всякая солдатская копейка стоит вашего рубля. Придешь ты, примерно сказать, в баню: с тебя берут втрое меньше супротив других, как показано начальством; цирюльник почти всякий отбреет тебя даром, если не хочешь платить пятак втреть своему ротному; лавочник самый продувной, архибестия, посовежится обмануть служивого и еще уступит грош. Везде тебя примут, везде ты кавалер, не простой чуечник. Ну, конечно, порой и спину посмотрят, хоть и с музыкой, взбузуют так, что и не скажешься; ухо надобно остро держать; да, по правде, беда небольшая, тело некупленное, свое, а за битого двух небитых дают. Зато как после доброй передряги придется услышать на дивизионном смотре: «Хорошо, ребята!» — и весь полк загремит: «Рады стараться!», а полков-

ник на радостях выкатит бочку зеленухи — эх, как рукой снимет, забудешь все горе, самому станет совестно, что обабился и всплакнул после горячей бани. А коли сам император подарит ласковым словом да прикажет раздать по четвертаку на брата и по чарке водки, просто, не говори, идешь, земли под собой не слышишь! За христоролюбивое воинство молится церковь, и сам царь воин!.. Чему оскалаетесь? — крикнул увлеченный Иван Савельевич на кучку сибирочников, которые, заслышав громкий рассказ, обступили его. — Небось, лучше век бы обниматься с женой да есть горячие щи! Пустограи, молоды-зелены...

— Хорошо ты поешь, да где-то сядешь, кавалер! — заметил один сибирочник. — Не в осуд сказать твоей милости, имени и отчества не знаем. Я думаю, и у тебя душа в пятки ушла, когда стоял в ставке, и закричали: «Лоб!», а мать с отцом завыли мертвым голосом, я думаю, и сам разрюмился! Теперь тебе сполгоря читать философию...

— Мало ли что было! — возразил задетый солдат. — На то и отслужил свой черед, чтобы учить молодых воробьев.

— Да напрасно, Иван Савельевич! — вмешался, наконец, в разговор живописец. — Бог порукою, я не боюсь красной шапки: солдат так солдат... Вот одну ее (и он показал на сестру) да матушку жаль мне покинуть...

— Ну, коли есть приткость, молись, чтобы она не простывала. Ты нигде не пропадешь. Что крепко погрузу я, расставаясь с тобой, об этом и говорить не хочу. Впрочем, до поры до времени, нечего и мерекать вперед. Свислась беда, а может статься, бог и пронесет ее, все кончится одной тучкой. Однако мне пора: Таша дома одна-одинехонька, а на соседок нельзя полагаться. Всякому свой рот ближе. Прощай, брат! Завтра опять заверну к тебе.

— Благодарю усердно за память. Передайте Наталье Ивановне мой сердечный поклон и искреннее желанье поскорее выздороветь. Если не увидимся, пусть не откажется принять на память обо мне одну картинку.. сестра знает, какую...

Солдат нетерпеливо ударил кулаком по лавке:

— Да что мы задумываемся и нарочно зовем печальные мысли!.. Смотри-ка, у сестры опять слезы. Нет, лучше марш от тебя!

Вечером этого дня у живописца неожиданно были еще светлые минуты. Увлекаясь сильно развитым в русском народе чувством необходимости быть на праздник во храме божием и желая забыться от треволнений жизни в успокоительном голосе церкви, сибирочники, взамен всеобщей, составили свою службу. Мигом набрался большой хор, отыскались искусные чтецы и две книги, а монастырский служ-

ка взялся устроить порядок службы и вести напев священных стихов. Все заключенные столпились в большую палату, трубки брошены, лампадка и несколько восковых свеч ярко засияли перед образом, разговоры, шутки прекратились, и громкое пение огласило черные своды сибирки. Забыто все, и лишь гул молитвы, порою тяжелый вздох да чей-нибудь кашель нарушают тишину в промежутках, когда песни учителей церкви сменяются чтением ветхозаветных книг. На самых загрубелых лицах промелькивают лучи чувства, не у одного негодяя покатится по исхудалой щеке слеза, которую он не отрет, и только что приведенный новичок, прогоревавший целое утро, присоединяет свой голос к хору... Спокойно расходятся после этого сибирочники по своим местам, утешенные, с думой на лице и надеждою в сердце; но долго еще, за полночь, слышатся полупшепотные рассказы соседа соседу о киевских угодниках, о московских чудотворцах, перемежаемые собственными, редкими у простолюдинов, задушевными признаниями.

Прошло несколько скучных, тяжелых дней, однообразие которых нарушалось для живописца разве приходом гостей да весточкой о Наташе. Не раз упрекнул он себя за невольный трепет сердца, когда заключенных звали кверху (в присутствии) для записки в прием, и вызываемые крестились за завтра, — а назавтра бледнели и тряслись как в лихорадке, когда являлся отдатчик и, с приличной своему временному званию важностью, мерным голосом выкликал очередных, становившихся с этой минуты рекрутами, и устанавливал их в ряд. Многие из товарищей заключения Николая Тимофеевича ушли в «большую семью»; каждый день кругом него старые лица сменялись новыми, а он все сидел да ждал своей очереди и часто бранил себя за неуместную честность. «Жил бы я теперь дома, — раздумывал он с собой, — да работал; у семьи месяцем меньше было бы горя, а я мог бы увидеться с Наташей и узнать, какова-то она, бедненькая. А то вот суд да дело, а ты сиди... Просил переменить порядок номеров, поскорее бы в прием или отпустить меня домой на честном слове, уж, конечно, не убегу: так староста, неважная особа, мастеровой не чище меня, и слушать не стал; а подьячие еще позубоскальничали: «Залетел, голубчик, в клетку, прыток больно, и распевай себе на просторе по золотой воле...» Эх, судьба! Если ты есть в самом деле, так недаром писали тебя в старину слепую, а нынче зовут индейкой».

Однажды приходит Иван Петрович сам не свой, и плачет, и смеется, обнимает живописца, — словом, видно было, что он хватил чрез меру.

— Что с тобою? — спросил удивленный Николай Тимофеевич. — Верно, подряд какой взял и наклюкался от радости?

— Да, угадал! Подряд отдать поскорее свою душу богу. На что мне теперь жизнь, на кой ляд моя забубенная головушка!.. Слушай, Николаша, обоими ушами; вот тебе кусок селедки, остался от закуски, — перекрестись и помяни душу рабы Акулины...

— Как? Разве она...

— Приказала долго жить! Вот уж неделя, как в земле лежит...

— Ай-ай! Царство ей небесное! Ведь она, кажется, никогда не хворала?

— Иногда покашливала маленько, а тут, как сноп, свалилась; знать, была в слеглой¹ какой болезни. Вот, голова, наказал меня бог за прехи... Соседи, вестимо с дурью родились, и говорят мне, что ишь слава богу, что развязался я с нею, с норовом была; ты, говорят, отслужи панихиду, а там, как минуют сорочины, и помышляй о другой невесте... Ведь истинно кровная обида, точно нож в сердце... Нет, не нажать мне другой Акули: серчала часто, не тем будь помянута покойница, да зато, то есть насчет любви, другой не сыщешь. А подчас мне и самому любо было, что есть кому погрызть меня. Придешь хмельной, знаешь как, расписывая мыслете, а наутро голову совестно поднять; лежишь, зажмурившись, да отдуваешься. А тут как накинется Акуля, как пойдет трезвонить, встанешь мигом, дашь ей стукманку (снослива была!), покричишь, покричишь, и опохмеляться не надобно. Нет, и слова дурного не могли никто сказать про Акулину Терентьевну! Знает грудь да подоплека, что отнял у меня бог... А умирать-то стала, при последних минутах, на отходе, не забыла меня: не пей, говорит, Ванюха, не пей...

Живописец с улыбкой слушал это похвальное слово, потому что коротко знал супружеское счастье сапожника.

— Так жениться и не думаешь? — спросил он.

Сапожник отер слезы, обильно катившиеся по его лицу, и с смешным негодованием посмотрел на вопрошателя.

— И ты туда же, тревожить ее кости? А она тебя в пример всегда ставила мне! Вот и оправдал себя! — Иван Петрович разгневался не на шутку и кончил очень серьезно словами своей любимой песни, что не женится ни на ком, кроме сабли-лиходейки.

— Убить себя, что ли хочешь?

— Оборони бог всякого православного от этакго греха! Пусть укокошат меня другие, так в рай попаду, а в раю

¹ Хронической.

житье не нашенскому чета! Шабаш! Иду служить царю белому, хочу быть офицером! У! Важно будет: кавалерию тебе повесят, будочники честь станут отдавать, а я руку к фуражке, вот эдак, и иду, знай себе, козырем! Знатно быть благородным: квартальный и сам частный прищпандорить не могли, а с купцов дери бесчестье. В благородные! На Кавказ выпрошусь, Шамяля живьем представлю! Ура!

На восторженные крики сапожника подошел сторож и не очень вежливо попросил его не драть горло, обещая в противном случае вывести под руки.

— Слышь, ты, не бранись, — с достоинством сказал обижаемый: — я такой же солдат, служу одному государю и сам сдачи дам!

— Охотник, охотник! — закричали сошедшиеся сибирочки.

— Да, охотник, а вы, известно, простые чижики, — возразил Иван Петрович, осклабясь

— Знать, не продался, что разгуливаешь на свободе? — спросил один из заключенных, по-видимому купеческий приказчик.

— Не продался, да вывеску уже сделал. Еще в ту пору, как узнал, что объявлено «божиею милостию», забрала меня эта мысль. Бью прямо на офицера, в пехоту, оно как-то посолиднее.

— Так вот-с, любезный, и нечаянно напал на покупщика, — продолжал приказчик. — Эй, малый, Филька, — крикнул он, обращаясь к трактирному служителю, кувшинами разносившему горячую воду по многочисленным любителям китайского напитка: — три пары самого лучшего, да захвати того, знаешь...

Под словом «того» подразумевалась возбудительная настойка, составляющая запрещенный плод в сибирке и проносимая тайком. Как торговец, заказывающий знал, что «настойка» развязывает язык и делает податливее самого крутого, несговорчивого человека

— Напрасно беспокоишься, почтенный, — возразил сапожник: — коли ты купец, так и дело в шляпе. Мне все равно, кому ни продаться; сейчас и порешим, а после я не прочь и от магарычей; всю честную компанию угостим. Смотри, товар налицо, без казовых концов, продаю не в потемках (и сапожник повертывался на все стороны), уж останешься доволен; играть второго действия не стану¹

— Оно без сомнения, видна птица по полету, — отвечал покупатель, немного озадаченный тем, что охотник отказался

¹ Вторым действием называется бритье затылка

от водки. — А касательно того-с, то есть насчет цены-то как-с?

— И о цене долго мерекать не будем. Ведь, может быть, слышал иногда, почтеннейший, что есть краска, которая продается супротив золота, двенадцать рублей за золотник; а бриллианты, говорят, продаются уже не по золотникам, а по зернышкам: так возьмите же себе в рассудок, что человеку нейдет быть дешевле какой-нибудь золы или плюгавеньких камешков. За другого и по копейке за золотник не придется, а душа идет не в счет, впридачу. Не хочу обижать ни тебя, ни себя: на вес, на золотники, изволь, продамся, сколько ни вытянет, мое счастье или неудача; по рублю, — вестимо, серебром, нынче медь не в почете, — за золотник.

Сибирочники дружным хохотом приветствовали выходку сапожника, а приказчик отвечал на нее бранью, видя, что охотник играет словами.

— А ты думал, что купишь Горюнова за какую-нибудь трын-брын? — продолжал воодушевленный Иван Петрович. — Шалишь, не ходит. Ступай-ка, порастрысись сам, и узнаешь кузькину мать. А покупатель-то у меня есть поважнее твоей милости. Не ухмыляйся, почтеннейший! Чай, ты слышал, что дорого яичко к великому дню, богата милостыня во время скудости, — и коли выйдет такая оказия, что приспичит тебе нельзя ступить ни назад, ни вперед, а кто ни на есть поможет тебе, выведет из напасти: зарубишь себе на носу его добро и целый век станешь помнить, известно, если у тебя христианская, православная душа. С Горюновым зачастую трафлялись такие случаи: бывало, как загуляешь, ухнешь все до копейки, а на другой день дома, глядь, и черствой краюшки нет; почешешь себе в затылке и поклонись доброму человеку. Сам он не богаче меня, а все пополам. На что же мне милее этого! А теперь добрый человек сам в беде, зовут его на царскую службу, а у него семья... Что мне делать, одиночке? Дома ни кола, ни двора, рогатого скота петух да курица, сгибнешь на дурацкой воле, начнешь каким-нибудь пасквильным художеством заниматься. Вот и иду я за доброго человека, душа за душу, как бог велит, а не за деньги... Обними меня, Николаша, мой дорогой купец! — вскричал он с непритворным чувством, обращаясь к живописцу, изумленному этим неожиданным оборотом его речи.

— Ты никак спятил с ума! — сказал тот, отталкивая сапожника. — Голова не на месте, и болтаешь всякий вздор. Сделай милость, отправляйся домой и не играй здесь из себя шута!

— Твоя брань на вороту не повиснет. Пьяница, пьяни-

ца — этим мне все прожужжали уши, всякий мальчишка тычет в глаза, а от тебя можно снести. Я давно пьяница. Еще когда бегал в одной рубашонке, отец, бывало, всякий праздник накачивал меня воронком¹ или перцовкой. Выпьет сам, приневоливает и меня: «Пей, говорит, поросенок! Привыкай сызмаленьку, а после будешь тянуть вместо воды; а пить надобно, по глазам вижу, что будешь беспросыпным». Вестимо, много ли нужно ребенку:хватишь и свалишься под лавку. Но вот чудо: лишь только матушка увидит, что я без чувств, и заплачет, мурашки забегают у меня по коже, что-то зашевелит сердце, и встанешь, как ни в чем не бывало. Отдали в ученье, вырос, вышел из-под начала — опять та же история, отпивал ли я украдкой из косушек, когда посылали мастера, или пил на свой грош. Нужно было растрогать меня, и хмель улетал. Значит, и сейчас я знаю, что говорю; хоть всякое слово в строку. Так не обижай же понапрасну, Николай Тимофеевич, и покалякай со мной, то есть насчет того, зачем я пришел, как бы все это обделать...

— Если протрезвился, хорошо, а когда заговорим о чем-нибудь о другом, будет еще лучше, — отвечал живописец. — Хочешь служить, с богом иди своею дорогою, а мне оставь мою. Верно, после гореванья тебе захотелось посмеяться, что потчуеть меня охотником. Не будь у меня семьи, я сам бы продался, а не то чтобы покупать других.

— Оpoznался, Николаша, взнес на Горюнова ахинею! Не нужно мне твоих денег, хоть бы они и были у тебя! На кой прах мне деньги? Продамся за тысячу, за две, прокучу их, погуляю во всю ивановскую, а там сяду на мель, приду в артель с пустыми руками. Послушайся, Николаша: полведра вина и синюха на дорогу — более мне ничего не требуется. Ты никогда не откажешь мне в рубле серебром коли захвораю или не станет у меня сил чинить сапожное старье.. Ну, по рукам, и завтра же приведу сюда приказную пиявку от Иверских ворот; он настрочит нам просьбу и все, что следует, а дня через два ты обнимешь старушку, которая теперь сама не своя, что не слышит твоего голоса. Вот тебе святая пятница, я говорю дело!

Долго было бы пересказывать все убеждения сапожника и отнекивания живописца. Из гордости ли или потому, что считал все это одной болтовней хмельного чудака, этот последний никак не хотел согласиться на его предложение, и рассерженный Иван Петрович на прощанье щедро наделил упрянца самою звонкою бранью.

¹ Самая забористая брага, крепость которой искусно прикрывают, подслащивая ее сотами.

Дня через два сапожник снова пришел в сибирку. Но что с ним сделалось? Обычной его словоохотливости как не бывало; на помертвелое лицо страшно взглянуть: глаза ввали, губы посинели, руки дрожат...

— Бог тебе судья, Николай Тимофеевич, — сказал он печально живописцу, — что довел меня до такой крайности. Побрезгал ты мною пьяным, с досады обливался я эти два дня вином, выпил столько, что и пятерым осилить не вмоготу; а сегодня маковой росинки во рту не было; с перепоею голова трещит, словно обручья на нее набивают; едва передвигаю ноги, говорю как шальной, а охмеляться не стал, поспешил к тебе. Не мучь меня больше! Под пьяную руку того и гляди подвернется сводчик, всучит подписать условие, и тогда — близок локоть, да не достанешь Ну, ради бога, скорее!..

Живописца поразило это почти самоотвержение. Горюнов не принадлежал к числу тех, столь обыкновенных между мастеровыми, людей, которые иногда, ни с того, ни с сего, запивают мертвой чашей и в животном исступлении, чтобы продолжить на несколько дней свое наслаждение, погулять до отвалу, продаются в солдаты; особенного расположения к себе со стороны его живописец тоже никогда не замечал сапожник был добрый малый, любил Николашу как доброго соседа, уважал его за «смирение» и за то, «что ведет себя, как красная девушка», и только. Чему же приписать эту неслыханную преданность? Удали, которой хочется показать на людях свою силку, сорвать с бою белый крестик? Правда, Горюнов был, в старые годы, почетным членом знаменитейших кулачных боев, и его присутствие решало судьбу противной стены, но теперь он остепенился, да и это удальство как-то не вяжется с военной строгостью, притом, если в таком случае и идти в солдаты, то, конечно, веселее за деньги Живописец терялся в догадках.

— Спасибо, очень спасибо, Иван Петрович, — отвечал он на воззвание сапожника, — что не забыл моего посильного хлеба-соли; но вот тебе правая рука, я не могу сделать потвоему. Теперь сгоряча ты, может статься, желаешь заменить меня, а после, как очнешься, то станешь век плакаться на труса, который воспользовался твоею необдуманностью. «Что мне, одиночке, — говоришь ты, — мыкаться по чужим людям, где меня, как собаку, станут приголубливать лишь те, кому я понадоблюсь». Пусть так; да за то ты сам себе господин. Будь у меня деньги, мы сошлись бы безобидно, а то . нет. Право незачем соваться в петлю.

— Экий стойкий! Видно, с тобой пива не сварить; хоть кол на голове теши, ты все ладишь одну и ту же песню:

деньги да деньги! Мне не в похлебке варить их; есть теперь на крючок, и будет с меня. . Мочи нет больше говорить с тобой надо полечиться, чем ушибся. Но уж будет по-моему, и ты ничем не отбояришься от меня!

По уходе Ивана Петровича из кружка сибирочников, которые с любопытством ожидали конца этого диковинного торга, к Николаю Тимофеевичу подошел один и начал разговор обыкновенным вопросом, что лицо живописца как будто знакомо ему, только он не припомнит, где видал его. Общими силами они порешили это недоразумение, и оказалось, что новый знакомец Николая Тимофеевича был наемный лакей Дарыгина. От замечаний о сапожнике, о причинах своего заключенья перешли, наконец, и к первой встрече в Сокольниках. Между разными подробностями о прежнем барине лакей рассказал живописцу все, что знал о пребывании Наташи у него на даче, и с каждым замечанием его о том, как «вела себя она», влюбленный воскресал надеждами. ясно было, что она не чувствовала ни малейшей склонности к малодушному своему обольстителю. Не менее обрадовало его поразительное известие о чуде, что ребенок только обмирал, а не совсем умер, и теперь здоровехонек.

— Вышла такая сумятица, — заключил свой рассказ лакей — все перепугались, а на другой день, как приехал доктор наведаться о больной, вмиг узнал, что ребенок жив, и только в мертвом сне оттого, говорит, что, верно, ему давали пить маковое молоко. В самом деле, кормилица после призналась, что сглуповала, желая в точности исполнить барское приказание — уложить дитя спать покрепче, и накатила его маком.

— Где же теперь младенец?

— Известно где, в воспитательном доме. Наказано старой Исаевне, что смотрит за дачею, наведываться иногда об нем, и кончено. Мало ли случалось историй не в пример поважнее этой. Вот в третьем году...

Следующее потом повествование о проказах Дарыгина Николай Тимофеевич пропустил мимо ушей: его занимала мысль, как примет это известие покинутая любовница и мать. Минутное рассуждение сказало ему, что чувство второй пересилит желание первой забыть все, и он принялся думать, как бы поскорее и поосторожнее передать выздоравливающей живительную весть. Не нужда, а любовь к себе или другим мать изобретений живо придумал он средство и мигом устроил его. Только что кончил, глядь, перед ним опять докучливый Иван Петрович, и уже навеселе

— Капут твоему упрямству, Николаша, — сказал он —

Супротив меня ты огрызаешься, а как заговорят другие, вот посмотри, и слов не найдешь.

Через несколько минут в сибирку вошли Аннушка и Иван Савельевич с дочерью. В другой раз так неожиданно встречал живописец Наташу, но теперь он готов был отдать «жизни лучшие часы» за взгляд, которым она приветствовала его. Нестройный говор сибирочников показался ему первою в свете музыкою, когда серебряный голосок прозвучал в его ушах. Заговорили о деле общественном, как выразился Иван Савельевич, который, узнав о предложении своего тезки, взялся «переломить» живописца. Но не много бы сделали его деловые убеждения и «резоны», если бы их не подкрепляли слова Наташи. С нею-то не смел спорить живописец, не находил, что возражать на ее проникнутые чувством доказательства, что он не должен покидать двух сирот. Сердце победило его скорее головы. Кстати подоспели советы сестры, и решимость живописца не устояла, особенно когда солдат, тайком от восторженного Ивана Петровича, сказал, что у него найдется сотни три рублей для такого случая и отважный охотник пойдет не даром. Кончили тем, что на следующий день начать необходимые формальности при найме рекрута.

Смеркалось, наступала указная пора для ухода посетителей, и гости живописца стали собираться.

— Я думаю, соскучились вы здесь? — спросила заключенного Наташа.

— Да, особенно без работы. Впрочем, я кое-когда рисую. Вот и сегодня набросал одну картинку, да еще с натуры. Позвольте предложить ее вам на память, что и вы были в гостях в тюрьме.

Наташа была уже у двери, когда Николай Тимофеевич подал ей свернутый рисунок. Она мило поблагодарила его, но смотреть подарок было некогда, да и тем лучше.. потому что рисунок изображал портрет дитяти, которого бедная мать считала умершим.

Избавляю и себя и читателя от рассказа о затруднениях, с какими соединен был замен живописца сапожником, о юридических узлах, о хлопотах самого охотника, который надоел своими безденежными просьбами всем, кто мог ускорить ход его дела. Наконец, кое-как оно уладилось. Накануне приемного дня торжественно простился Иван Петрович со всеми своими приятелями, редко отказываясь выпить с кем в последний раз, а на другое утро сменил живописца в сибирке, а к вечеру «с солнцем ясным на лбу состоял на царской службе» и забавлял рекрутов прибаутками. Нечего и говорить, что Николай Тимофеевич, по возможности, обеспе-

чил будущность его, дал денег и на дорогу и положил вклад в артельный ящик да, кроме того, обязался платить премию в общество застрахования жизни, что сперва очень озадачило нового служивого, не могшего понять, как это застраховывают «от всех бед и напастей».

Партия рекрутов, в числе которых находился и бывший сапожник, выступила в поход на место назначения. Друзья провожали его за Москву. Прощаясь с ними, добрый балагур не мог не поплакать маленько. Он зачинал говорить то с тем, то с другим: «Не поминай меня лихом, Николаша!.. Да и не пей, отнюдь не моги пить, голубчик... Наталья Ивановна! Ведь он до смерти любит вас. Не благородный, да душой-то, я вам скажу, ангел Славная бы вышла парочка!..»

Сбылось ли добродушное желание Ивана Петровича?

У живописца дела пошли бойко, заказчики завалили его работой, а с заказами пришло и давно не виданное довольство и возможность увеличить свое заведение, нанять мастеров. Из каморки он переселился в чистенькие покои, за хозяйством смотрела уже не Аннушка, а кухарка: два важных для ремесленника шага на дороге к почету. Усердно работая, он по-прежнему по вечерам навещал солдата и смелее разговаривал с Наташей, которая часто читала ему что-нибудь, а после, как гувернер, проэкзаменовывала его понятия. Не один раз в эти минуты припоминал он полушутливые слова Ивана Петровича и спрашивал себя, что же мешает теперь исполнению их?.. О старом никогда не было и речи, Наташа очень ласкова к нему; редко увидишь на ее задумчивом лице улыбку, да ведь у ней такой характер. Несколько раз приглашала она его «в гости к маленькому Николе», когда кормилица привозила крошку из деревни, и сердце живописца видело в этом особое доказательство искреннего сочувствия с ее стороны. Он сильно надеялся. Немало значило в его глазах и наружное благосостояние.

Пришла красная горка, цветущая пора для влюбленных и томимых жаждою брака. В один вечер Наташа, против обыкновения, читала живописцу какой-то роман, в котором, конечно, не обошлось без любви и всех соединенных с нею обстоятельств. Утром этого дня она видела свое дитя и была веселее, радушнее, чем когда-либо. Голос ее обаятельно действовал на слух ученика, у которого крепко билось сердце, когда учительница с одушевлением читала места, близкие к его собственному положению.

— Что за рассеянность? Да вы совсем не слушаете! — Этим восклицанием она прервала чтение, когда увидела, что

Николай Тимофеевич смотрит в окно. — Какой же вы ребенок, — продолжала она с удивлением, заметив на его глазах следы слез — Я никогда не стану читать вам!

— Нет, продолжайте, пожалуйста. Я думал.. Помните ли вы прощальные слова нашего доброго Ивана Петровича?

— Ах, да мало ли о чем говорил он? Заставить его молчать было бы страшным для него наказанием

.

Нет нужды передавать подробности этого объяснения. Все они похожи друг на друга. Всегда не много слов; «судьба сердец» решается более взглядами, языком, не выразимым никакими словами, который лишь чувствуется, а не передается.

Живописец пришел домой расстроенный, бледный. Но он еще не перестает надеяться и ждет. В надеждах проходит лучшая часть нашей жизни, если не вся жизнь, и не один он обманывает себя ими. Иногда, впрочем, стала замечать сестра, является он из города не то чтобы навеселе, а весел, и в это время не прочь слушать рассказы Анисьи Савельевны, у которой, при нынешней общей расчетливости, имеется наготове целая коллекция засидевшихся невест.

П о с л е с л о в и е

«Радуется купец, прикуп створив, и кормчий, в отишье пристав, и странник, в отечество свое пришед, также радуется и книжный писатель, дошед до конца книгам». Сказал я почти все, что задумал, написал предположенные очерки, а едва ли где более у места заключить свой рассказ словами того же летописца, которому принадлежат приведенные строки: «Еже ся где буду описал, или переписал, или недописал, чтите а не кляните, занеже».. если простор, свобода перу — преимущества очерков, то неопределенность, невольное увеличение одной части в ущерб полноты другой — их недостаток. Жалею, что не написал просто повести, как пишут нынче все порядочные люди. Впрочем, история Наташи ведь не кончилась же так, как здесь, и если ты, снисходительный читатель, поберегая строгий свой суд для тех, которые предлагают тебе не все, что обещают, если ты захочешь знать, что случилось с этим слабо набросанным в очерках лицом, — соблаговоли написать в редакцию «Москвитянина», прикажи, чтобы в повести обстоятельно рассказал конец начатого — обязующийся быть готовым к услугам твоим сказочник

САВВУШКА



I

С

авва Саввич — попросту Саввушка — портной. Родился он господским человеком и до десяти лет бегал по деревне, упражняясь в разных невинных

играх, свойственных его возрасту и сельской жизни. На этом году барин вздумал отправить в Москву партию дворовых ребятишек для научения их разным ремеслам, а кого именно какому — это предоставлялось благоусмотрению управляющего, под чьим присмотром будущие ремесленники отправлялись в столицу. Неизвестно, по каким признакам решал управляющий назначение детей, которых привез в Москву, и почему Саввушка отдан был в портные. Вероятно, бойкие наклонности мальчика, проявление которых не раз чувствовали бока и зубы его сотоварищей, вероятно, они болеегодились бы на другом месте, но так велела судьба — великое, хоть и не совсем толковое слово.

Итак, судьба определила Саввушку к Карлу Крестьянычу, немцу, обруселому настолько, что он даже справлялся с нашими «буками» и «покоем». У Карла Крестьяныча была большая артель — человек сорок, все русские, кроме главного подмастерья, который был родом также из немцев и держал себя в горделивом отдалении от прочих работников. Хозяин сам никогда не брался за иголку, а только смотрел за порядком да ездил со счетами по заказчикам; подмастерье кроил, а в свободное время холил свои рыжие волосы да приволакивался за хорошенькой дочкой хозяина, работники, как следует, работали; одна половина учеников также от-

правляла швейную службу, а другая употреблялась для побегушек по делам всех, кто имел какое-нибудь значение в доме, начиная от полновластного хозяина до толстой кухарки. Саввушка поступил, разумеется, в последний разряд и скоро успел обратить на себя внимание всей артели. Живей его никто не смахает в лавочку, скорей никто не греет утюга, бойчей никто не заденет встречного мальчишку или разносчика с маком. Благодаря этим способностям мастера начали употреблять его для более важных поручений, например, тайком, на глазах хозяина, пронести в мастерскую косушку вина; продать на толкучем рынке сшитую из благоприобретенных остатков жилетку; поживиться у кухарки лишней ложкой масла, которое немецкая экономия не щедро выдавала на русскую кашу; Саввушка же нередко был выбираем для исполнения какой-нибудь потехи над рыжим подмастерьем, которого артель не слишком жаловала. И хотя за все подобные проделки юный штукарь часто подвергался исправительным наказаниям, то есть, как говорилось в артели, «хлебал березовую кашицу» или «с кувырколетием, за волосное правление, кланялся качательному суду, поясной палате»; но зато много проказ и с рук ему сходило, и мастера горой стояли за ревностного исполнителя их приказаний.

Вообще таланты Саввушки были чрезвычайно разнообразны: в чехарду ли прыгать, в бабки ли играть, орла с решеткой кинуть, в три листика сразиться, задиралой стоять в «стене на стену», песню разухабистую спеть; везде являлся он первым, и звонкий голос его господствовал среди крикотни прочих мальчишек. Грамота ему не далась в деревне, в Москве и подавно; но еще не родился тот лавочник, которому бы он позволил себя обчестить или забожить лишнюю копейку; а какие диковинные вензеля разрисовывал он по заборам — десять Шамполионов не разобрали бы их. «Одним лишь не взял парень, — замечали иногда работники: — ростом больно уж мал; зато мала птичка, да коготок остер!»

В самом деле, Саввушка походил на карлика и за восемь лет, пока продолжался курс учения, едва подрос на поларшина. В чем прошли эти восемь лет, — видно из очерка первоначальной его деятельности; знания, приобретенные им, не уступали знаниям его сверстников, то есть иголка не вываливалась из рук, практическое же знакомство с жизнью произошло преимущественно в последний год, на выходе из ученья, когда Саввушка, запанибрата с работниками, под их руководством, стал посещать разные увеселительные заведения и принимать ревностное участие в магарычных попойках.

Наконец вышел Саввушка из ученья. В то время у многих мастеровых было еще в обычае оставаться выученику

жить у своего учителя, чтобы заплатить за его хлеб-соль, и Саввушка остался у Карла Крестьяныча за скромную задельную плату. Взял вперед денег, купил себе кое-что из платья, а на остальные задал артели такие вспрыски, что чудо. одного чаю выпито было два галенка с половиною, да «чистейшего» полведра; а приемам по мелочам, для освежения горла, пирующие и счет потеряли. Вспрыски, по обыкновению, праздновались на гулянках, в воскресенье, но продолжались и в понедельник, потому что головы и руки многих участников пирушки оказались в таком расстройстве, что необходимо было сильное подкрепление для возвращения им обычной бодрости. Отправились гуляки опохмеляться, завели между собою дружескую беседу, затеяли хоровые песни, — глядь, на дворе уж и вечер «Да уж заодно, братцы, записывать прогулы, — заметил один из собеседников, — пусть хозяин перешится, а мы попируем еще». Товарищи согласились с этим благоразумным мнением, спросили четвертый кувшин пива и затагнули новую песню. Почти к полночи воротилась домой веселая компания; но Саввушки и еще двоих мастеров не оказалось налицо: застряли где-то. К обеду на другой день явился и Саввушка, один, и только что переступил через порог мастерской, вдруг столкнулся с хозяином.

— А где твой пропадал? — гневно крикнул Карл Крестьяныч, и по привычке схватил было Саввушку за волосы, но тот ловко увернулся от этой любезности, прискучившей ему еще в ученье.

— Такие вышли обстоятельства, Карл Крестьяныч, маленько обмишулился, — проговорил Саввушка, стараясь придать своему лицу постное выражение.

— Какой здесь есть мишуль? Ты водочка пил, а? Отвечай!

— Был тот грех, Карл Крестьяныч, так, малость самую, за ваше здоровье...

— А розочка хочешь, а? Отвечай!

— Воля ваша, Карл Крестьяныч. Да за что же наказывать? Вот, лучше пожалуйста-ка гривенничек на похмелье: мочи нет как трещит голова. А там уж я пойду так порхать по работе, что только держись!

— Два целковых напишу тебе прогулочка, в книжка напишу... я задам тебе гривенник!

— Пожалуй, напишите, только дайте. Сил нет, и иголки не сдержат в руках.

— А чучечка твоя где есть? — спросил хозяин с негодованием, заметив, наконец, что Саввушка одет в поношенную фризку вместо синей суконной чуйки, в которой щеголял накануне.

— Грамоте учится, Карл Крестьяныч.

Хозяин вытаращил глаза.

— Это так говорится, Карл Крестьяныч, к примеру только; а чуйка обретается в закладе у одного благоприятеля, человек надежный, не извольте опасаться, — прибавил Саввушка в пояснение первых своих слов.

Но, несмотря на откровенное признание, строгий немец не дал Саввушке гривенника, а наделил его лишь полдюжиною крупных слов, которые изучил на Руси, да велел садиться за работу.

— Держи карман-то! Ты как там ни толкуй: по-латыни два алтына, по-русски шесть копеек, а выпить все-таки надо, — пробормотал Саввушка ему вслед. — Как быть, братцы? — заговорил он, обращаясь к товарищам. — Нет ли у кого гривен шести, душу отвести? Отдам с благодарностью, не здесь, так на том свете, не угольком, так глиной. Выручите Савку!

Но это красноречивое обращение не произвело желанного действия, потому что у всей артели в одном кармане было пусто, в другом ровно ничего.

— Мы сами думали попользоваться от тебя, живая душа на костылях, полечить головы, — сказал один из коноводов, — ни у кого еще маковой росинки во рту не было. Попробовали подделаться к кухарке — не тут-то было.

— А что, братцы, ведь Егорки нет дома? — спросил другой.

— Да, пошел, кажется, на барский двор. А что?

— Его надо проучить. Вчера у нас сошло почесть по полуштофу с брата, а он хоть бы шкалик поставил. Разве так делается по-товарищески?

— Так-то так, да что возьмешь с этого выжиги?

— Что? Сундук не заперт, новые брюки его, разиня рот, лежат, а с ними смело по крючку на брата считай.

Так как подобные возмездия отступникам от правил товарищества очень не редки между портными, то никто и не возражал на счастливую выдумку коновода, который тотчас же кликнул одного ученика, сменившего Саввушку в исполнении комиссий особенной важности.

— Смотри, Петька, чтобы одна нога была здесь, а другая там. К Исаичу, скажи, что от меня. Меньше штофа не бери. Ну, живо! Да не попадись медведю.

Под именем «медведя» разумелся сам хозяин; но на этот раз он просидел в своей берлоге, и лечение больных голов произошло беспрепятственно. Освеженные, мастера принялись за дело, а Саввушка, между работою, начал рассказывать про свои похождения.

Живет Саввушка не хуже, не лучше других портных. А каков быт всех их, можно рассказать в немногих словах.

К мастеровым вообще портной относится как исключение к правилу. Его можно узнать с первого взгляда. Подражая одежде и приемам модников средней руки, имея беспереводно в руках соблазнительные произведения своего искусства, портной любит пощеголять, но всегда каким-то странным, если угодно, эксцентрическим образом: либо без сапог, да в шляпе, или в модном сюртучке, но без приличной нижней одежды. А если, хоть и редко, одет он в полной форме щеголем, даже если и волосы, обыкновенно густо-лохматые, в порядке, — так кривые ноги, следствие беспрестанного сидения по-восточному, срежут его с ног, или случайно замотанная за пуговицу иголка с ниткой изменит удалому франту. О речах и говорить нечего: портной словечка не промолвит просто, все с ужимкой... Работает он также своеобразно. У других мастеровых работа редко перемежается на продолжительное время, более недели, и круглый год тянут они лямку, идут по заведенному колесу; портной же месяцев девять трудится, а остальное время отдыхает, наслаждаясь природой и всеми благами, доступными безденежью. Посмотрите на него, например, великим постом: бледен, изнурен, прическа à la растрепа, одежда в беспорядке; едва протер глаза, сбегал на минутку в трактир, тотчас за работу и сидит за ней, не разводя ног, не выпрямляя спины, сидит день, сидит ночь, иногда к ряду две-три напролет; сидит и будни и праздник, выручает хозяина и сам выручается к празднику; на всю Москву шьет обновы, оденется и сам, сделает себе такое фасонистое пальто, что под Новинским любому франту, говорит он, бросится в нос.

Пришел светлый праздник, портной спешит окончить последний срочный заказ, снаряжает потом свою особу, гремит в кармане деньгами, на лихаче катит под Новинское, посещает балаганы, делает несколько визитов «под колокол», грызет орехи, любезничает с красною шалью (если у него нет постоянного предмета обожания); и так продолжается несколько дней — более или менее, смотря по темпераменту гуляющего. Чаше же весь заработок спускается разом; фасонистое пальто идет «учиться грамоте», за ним отправляются пестрая жилетка, узорчатый галстук, иногда вдобавок и шляпа марширует туда же, — и раздольный тем, что не уронил себя в глазах публики, людей посмотрел и себя показал, портной, как ни в чем не бывало, принимается опять за работу, прихватив, однако, для круглого счета гульбы денька три Фоминой недели. В эту-то бедственную для кар-

мана гуляк пору сапожник подсмеивается над портным: «Что, брат, — говорит ему, — прогорел; как шмыгнешь иглой, так и слышно: чуть жив! чуть жив! А послушай-ка у меня, что поет наваренный конец, как дерну его обеими руками: сыт и пьян! сыт и пьян! Эх ты, жимолостный, убогий человек, иглоку сгноил!..»

Но пока шьются обновы из дешевых остатков Фоминой недели, работа еще ведется у портного, и он не горюет; а после, этак с семика, — мое почтение: и одной руке делать нечего. С июня месяца портной, по его собственному выражению, живет на даче. Конечно, солидный хозяин прокормит хлебом, если и работа переমেжится вовсе; да ведь пропадешь с тоски без дела, сидя склавши руки. Пойдемте-ка, братцы-товарищи, в Марьину рощу, али в Сокольники, рассеем тоску-скуку, печаль-кручину злую, наберем ягод да грибов, наедемся сами и на продажу останется; авось, выручим на мадеру-деверье, что без посуды сорок две.. И идут портные веселой гурьбой под тень берез и сосен наслаждаться сельскими удовольствиями. Лес оглашается их песнями, говором и смехом; трава мнется под пляской и кувырканьем; полочки и подмосковные «умницы» окольными путями обходят гулливую толпу; а толпа, знай себе, тешится, лакомится ягодами, жарит грибы на хитро устроенной сковороде из бересты, покуривает табачок и коротает день среди веселых рассказней и уморительных забав: один показывает опыты геркулесской силы, другой ходит на голове и представляет людей-диво, кто играет обезьяну, карабкаясь по гладким стволам деревьев, кто свищет соловьем-разбойником, кто выводит ногами узоры по зеленой мураве. Веселье такое, что и денег не надо, и на завтра опять тянет сюда же, и на третий день, и на четвертый, и так далее, пока не зажелтеют листья, не переведутся грибы. А к этому времени человечеству понадобится теплая одежда, и, следовательно, подоспеет работа. Полно слоняться по рощам! Отпраздновав засидки вечеров, портной снова делается усердным тружеником и вместе гулякой на другую стать. Но летняя вакация имеет сильное влияние на его характер, развивая в нем любовь к отваге и разным художествам: от этого никто из мастеровых не фигурничает лучше портного, и никто чаще его не метет улиц...

Пока мы беседовали о житье-бытье портных, Саввушка успел уже три года отслужить у Карла Крестьяныча, нажить себе славу первого забулдыги в околотке, сделаться душою всей артели и приобрести почетное имя «настоящего портного». Заработков его едва хватало на удовлетворение необходимых нужд, между которыми выпивка занимала первое место, и на вычеты за прогульные дни, составлявшие не ме-

нее четверти рабочих. Оброка барину он не платил еще ни разу, отлынивая то так, то сяк, а родным послал денег на подмогу только в первый год, при выходе его из ученья. Поэтому немного озадачило Саввушку неожиданное письмо от отца с строгим наказом как можно скорее приехать в деревню по самонужнейшему делу. «Что бы это значило? — раздумывал он сам с собою, — на что понадобился Савка? Брагу, что ли, некому пить? Эхма, не брагу, а верно, барин рассерчал, хочет поучить мотыгу, конюшню показать.. Что ж, пусть показывает. Ну, а если потом в сермягу оденут, баранов заставят стеречь? а? Не ладно, канальство, совесть замучит... Да нет, тогда бы управляющий приказал явиться, а тут пишет отец: разве он хочет задать любезному сынку вытрепку, пыль выколотить? Его воля, не убудет меня, и сам знаю, что следует задать — с кругу скружилась моя головушка... Да зачем же пишет-то ласково? «Один, говорит, остался ты у меня, Саввушка, поилец-кормилец моей старости... приезжай, говорит, милый сынок, порадовать отца, пока не закрылись мои глаза на веки-вечные.» Ишь ты как... Не за что наказывать меня, не вор я, не мошенник, души христианской не загубил. По какому же делу следует ехать, да еще по самонужнейшему? Просто задача. Лучше марш на боковую. Ехать, так ехать: двум смертям не бывать, одной не миновать».

С этими успокоительными рассуждениями Саввушка отправился спать. Во сне привиделись ему дивы дивные. Будто он приехал в деревню, женился на первой горничной, красавице собой; особа его вытянулась в приличный рост и украсилась надлежащей полнотой; далее представилось ему, что он в Москве, хозяйствует богатой рукой, нанимает большую квартиру, с парадным входом, над которым красуется огромная вывеска, золотыми буквами возвещающая, что здесь имеет местопребывание «военный и партикулярный портной Савва Силин»; виделось ему, что завален он заказами, Карл Крестьяныч живет у него в работниках, а рыжий подмастерье просто в учениках, и Саввушка кормит его подзатыльниками... «Немца таскаю, вот штука-то!» — крикнул Саввушка во сне и проснулся. Кой прах: сон это иль явь? Сон, канальство этакое! Сам он все такой же карапузик, спал на полу, повернув под голову кулак, одевался спиной, жена, зная, качается еще в люльке, а немец уже покрикивает в мастерской... «А если сон в руку? — продолжал рассуждать Саввушка, припоминая все подробности заманчивого сновидения. — Если старик и взаправду затеял женить меня? Гожусь ли я в мужья? Чем не молодец! Какая красная девица не пойдет за такого парня?..» При этой мысли будущий же-

них скорчил преуморительную рожу, так что самому стало смешно, и вскочил как встрепанный.

Проводы отъезжающего были торжественны не менее первых «вспрысок» при выходе его из ученья. Сам хозяин принял в них участие и подарил Саввушке на дорогу синенькую, с огеческим увещанием, что «если он перестанет пить водочка, то будет шеловек». — «Другу и недругу закажу, Карл Крестьяныч», — с раскаянием отвечал Саввушка и, тронутый до слез хозяйскою щедростью, в тот же день, пируя с артелью, нализался до того, что и не помнил, как уложили его в сани к попутчику-порожняку.

В деревне Саввушку ждали почти одни радости. Старик отец встретил его со слезами: один он остался подпорою семьи, старший же сын года три как пошел в ратники; о гневе барина, об уплате страшного оброка, о грозных увещаниях — не было и помину. Невеста в самом деле нашлась, только не такая красавица, что грезилась во сне, а простая дворовая девушка.

На другой день молодая и Саввушка долг исполнили оба как следует — и к барину сходили на поклон, и гостей к себе принимали, и сами ездили кататься. Пошел день за днем, месяц за месяцем, — Саввушка все гостит в деревне, чтоб дать нарадоваться отцу на свое житье с молодой женой; а у самого только и в мыслях, как бы уехать в Москву.

II

В продолжение двух-трех часов путешествия по Москве можно встретить все степени развития городской жизни, начиная от столичного шума и блеска до патриархального быта какого-нибудь уездного городка. Идешь, например, по широкой бойкой улице, с домами как на подбор, один другого лучше; по стенам, из окон, из дверей манят тебя вывески всякого рода и цвета, направо и налево снуют пешеходы, мостовая горит под бегом рьяных коней; двери лавок устают затворяться и отворяться; узлы, кульки, тюки, ящики ежеминутно шмыгают то с возов, то на воза... Везде такая хлопотливая жизнь, что разом завертишься в ней и невольно захочешь принять участие в этой неугомонной деятельности, которая, как колесо, одинаково двигает и просто рублями, и сотнями тысяч рублей. И вот продолжаешь путь, уже потупив голову, погруженный в расчеты выгод, ожидаемых от предприятия, задуманного мигом; идешь и уж воображаешь себя миллионером, пока встречный толчок или громкое «пади!» не заставят свернуть в сторону и не разрушат воздушных замков.

Только что перебежал улицу, сделал несколько шагов, глядь — совершенно другая декорация: всю улицу вдоль перерезывает широкий бульвар с ветвистыми липами; по обеим сторонам его тянутся степенные дома, разнообразные по наружности, но одинаковые по цели, которую имели в виду их хозяева, — устроить жилище для себя, а не помещение под известное число торговых заведений; приволье, простор, иногда даже слишком, видны во всем — и в богатых покоях, в которых есть где развернуться старинному хлебосольству, и в разных службах, занимающих просторный двор, с воротами настежь, и в тенистых садах, обнесенных решетчатым забором. Все хорошо, очень хорошо: но что же здесь делать зрителю, случайно занесенному в этот приют прямо с базара житейской суеты? Что ему здесь рассчитывать, над чем спекулировать? Решительно не промышленные мысли роятся у него в голове, а думается о лордах и барах... Пусть идет он дальше.

Еще несколько шагов — и другая картина. Угловой трехэтажный дом битком набит различными действующими промышленностями, сверху донизу обвешан вывесками, а рядом с ним, пригорюнившись, еле-еле держатся дряхлые полуразвалины, с заколоченными окнами, поросшие мохом и травой. Сквозь растворенную калитку видно — сидит у крыльца, греясь на солнышке, старик, чуть ли не ровесник старому дому, а лохматая дворняжка прикорнула у ног его; только и есть жильцов в убогом домишке, и на сломку давно просится он. Зато далее, почти бок о бок с ветхою старостью, красуется самая свежая молодость — не домик, а игрушечка, с пятью окнами и с мезонином. На дощечке над воротами читаете надпись: мещанина Заропаева; на соседнем с ним доме: мещанки Беловежевой; далее — цехового Колбаева; вдовы 14-го класса Разгильдяевой; титулярного советника Угрюмова, и так далее, все в этом же роде. И все дома пестренькие такие, чистые, уютные, что любо-дорого смотреть, и завидно становится на жизнь обитателей этого счастливого уголка, особенно когда из окна какого-нибудь домика ветер донесет до вас звуки гитары, или «Я в пустыню удаляюсь от прекрасных здешних мест», или когда увидите целую семью за самоваром в саду, под тенью берез и акаций, увидите тут же хозяйку, собирающую малину и смородину..

С самыми сладкими мечтаниями отправишься далее, минуешь переулок, другой, а отсюда рукой подать до настоящей Аркадии, то есть такой, какая только возможна в наш «железный, испорченный» век. Вот она — область простого, идеального быта. Нет здесь ни мостовой, которую красиво заменяет зеленый луг с торною дорожкой посредине; нет ни-

каких принадлежностей городской суетной жизни, нет ни одного торгового или увеселительного заведения, если не считать двух мелочных лавочек с товаром рублей на сотню в каждой.. Домики, все без исключения, деревянные, одноэтажные, выстроены по правилам свободной архитектуры, один смотрит вправо, другой влево, и почти все имеют способность склоняться набок, на лавочках у ворот посиживают старушки, занимаясь вязаньем чулок; дети, милые дети, бойко играют в бабки или в шары; мохнатые куры безбоязненно разгуливают по улице, роясь в земле; на лугу пасется идиллическая корова; в луже, которую принято называть прудом, полощатся утки. Люди здесь все добрые, живут скромно, но не скучно, мало знакомы с городскими соблазнами, зато коротко знают друг друга, обмениваются приветливыми «мое» и «наше почтение» при встрече, по праздникам водят хороводы, играют в горелки; о святой качаются на своих качелях, о масленице катаются с своих гор...

Пройдешь этим укромным предместьем Москвы, — и пошли тянуться с обеих сторон огороды, замелькали сараи, крытые соломой, начали встречаться мужики и бабы, кто на косьбе, кто на пашне, слышался говор с ударением на «о» и с предпочтением к звуку «и», раздавалась звонкая песня, — мы в деревне, хотя еще не выступили из пределов столицы. Впрочем, столица и окачивается, как прилично кончиться рынку всей России, городу-миллионеру длинным рядом огромных строений, где день и ночь не умолкает шум деятельности, где пар и вода, люди и лошади, рычаги, колеса и шестерни дружно соединяют свои силы для удовлетворения потребностей не одного миллиона человек, — короче, Москва оканчивается фабриками и заводами.

Подобное путешествие, с несколькими изменениями в картинах, не без пользы для знакомства с разнообразием города, можно совершить на Божедомку, о которой, может быть, вы читывали что-нибудь как об исторической достопримечательности Москвы, но где едва ли бывали. Найти дорогу к ней не трудно. от перекрестка, где Кузнецкий мост пересекается с одной стороны площадкою Малого театра и Голицынской галереи, а с другой — Трубою, ступайте прямо по этой последней, минуя бульвар с прозванием «Волчьей долинки», потом другой, называемый просто Трубным, возьмите немного влево, через Самотеку и небольшой бульвар-безыменку, — тут и будет Божедомка, с старинною красною церковью, при которой в давние годы существовали усыпальницы или «убогие дома».

Путь этот в настоящее время легок и представляет мно-

го занимательного; не то было лет за двадцать, в пору нашего рассказа, когда Труба в полном смысле слова была трубою — канавою для стока всякой нечистоты, а бульвара не было и в зародыше. Но переменялась дорога, а дома, которыми Божедомка очень небогата, вероятно, остались те же самые; если же и заменились другими, то наследники едва ли ушли далеко от своих предков и безобидно могут занять предпоследнюю степень между различными переходами, что видели мы в прогулке по Москве, с тою лишь разницею, что на углу улицы находятся два увеселительные заведения, немного нарушающие степенный вид всей местности. Следовательно, описывать наружность домов того времени не для чего. Один из них обращал на себя особенное внимание, — не тем, что по летам превосходил своих соседей, а тем, что над низенькими воротами его торчала вывеска, означавшая место жительства какого-то ремесленника. Редкая гостя в этих краях, божедомская вывеска была бы редкостью и везде: по черному полю белыми буквами, среди огромных ножниц, изображены были на ней следующие строки: «Сава Силин муской партной и пачинивает старое платье». С чего же нашему чудаку вздумалось сделать себе такой траурный адрес и поселиться в захолустье? Кто его знает! Надобно зайти спросить.

— Эй, голубушка, где тут пройти к портному?

— К Саввушке? А вон, ступай прямо во флигель-то. Как войдешь в сени, будут тебе три двери; направо ты не ходи — золотарь живет, прямо это будет к Александру Ивановичу, а налево-то, в светелке, тут и есть Саввушка.

— Здравствуй, старый знакомый! Что это? Гляжу и не верю. Ну, знать, не баловала тебя судьба-мачеха в эти годы, что не видалась мы с тобой, посеребрила она местами твою голову, провела борозды по лицу, лет десяток лишней накинула на плечи... Не легко, я думаю, нести?

— Со всячинкой. Стерпится, слюбится.

— Как поживаешь, дружище?

— Живу помаленьку, хлеб жую, небо не копчу, земли не тягощу.

— Ну, а сожительница твоя как? При тебе или в деревне?

— Да гуляет по ветру.

— Как так?

— Да так. Видно, что с возу упало, то и пропало. Что и толковать о старом: не воротишь... — И ответ этот сопровождается таким значительным движением руки, что нечего более и спрашивать у Саввушки о предмете, по-видимому, трогающем его за сердце. Переменим разговор.

— Гм... А скажи, пожалуйста, где проживал ты все это время, как уехал из Москвы?

— Мыкался то по кустарным хозяевам, то по немцам; хозяином раз было сел; все нет толку, не нажил ни гроша.

— А теперь есть ли работишка у тебя? Вишь, какую вывеску смастерил!

— Наклеывается. А насчет вывески, доложу вам, вышла такая оказия: купил на толкучем почесть задаром, да и перекрасил сам. Оно бы и лишнее, да для проформы требуется.

— На кого же ты шьешь?

— Слава богу! Из здешней округи почти ни один человек не обегает меня; всем услуживаю. Вот, примерно, взять наш дом. Первый — Петр Евстигнеевч...

И Саввушка начал перечислять жильцов, от кого получал заказы. Нам следует познакомиться со всеми, не исключая и женского пола.

Домовладелица — Дарья Герасимовна, женщина лет под сорок, неизвестно почему сохранившая право называться девицею и искать себе «приличной партии». В околотке она пользовалась большим уважением, и от нее плелись главные нитки для клубка сплетней о местных происшествиях.

Жильцы у ней: по цене квартиры первый — лавочник, Петр Евстигнеевич, торговавший тут же в доме овощным товаром, человек, как следует быть лавочнику, с бородкой, с улыбочкой на лице и с походцем на уме. Так как лавку его посещала вся улица, то он и служил для хозяйки главным источником, откуда почерпались современные новости.

По званию же первым был Александр Иванович, коллежский регистратор, лет двадцати двух. Жил он с матерью старухой, перебиваясь кое-как умеренным своим жалованьем; к должности ходил аккуратно; по вечерам, если не шел гулять в Марьину рощу, читал какие-нибудь стишки или играл на гитаре; в праздники не пропускал ни одной обедни и вообще был «прекрасный молодой человек».

Был еще другой молодой человек, не прекрасный и не чиновный, наживавший себе чахотку перепискою бумаг, день и ночь корпевший над ними. Этот чуждался знакомства с соседями, и они не слишком заботились о нем.

Далее следовали: торговка щепетильными товарами у Сухаревой башни, бой-баба, прожженная сваха и вторая после хозяйки наперсница ее по части сплетен; старушка с двумя дочерьми, достававшая себе насущный хлеб шитьем перчаток; золотарь по дереву с семьею; отставной солдат с женою, промышлявший чинкою сапожного старья и снабжавший ню-

хательным табаком всю окрестность, — и, наконец, Савушка.

Кроме хозяйки и лавочника, все жильцы занимали самые скромные квартирки — и по цене, от целкового до осьми рублей в месяц, и по величине — каморку, много две, на хозяйских дровах. Все они жили своими трудами, значит, более или менее знакомы были с нуждою, но ни к кому из них не подступала она так часто и близко, как к золотарю. Мужчина лет с лишком пятидесяти, но бодрый и крепкий, как в лучшей поре, мастер своего дела и работающий до того, что две его руки стоили шести, он мог бы безбедно прокормить свою семью, которую составляли жена, маленькая дочь и старик отец. Но та и беда, что руки-то у него были, как говорится, золотые, а рот.. уж вовсе не золотой, что он не просто придерживался чарочки, по примеру всех добрых людей, не испивал с толком, а запивал запоем. Нашло на него это несчастье неожиданно. Рассказывали, что смолоду он пил, но, женившись, остепенился и первые годы после свадьбы в рот не брал ничего хмельного, жил с женою, как голубь с голубкою, даром что был почти вдвое старше ее, держал артель работников, хозяйство его цвело, денежки про запас на черный день водились, сторонние люди ему завидовали. И так прошло не год и не два, а без малого пять лет. Раз пировали у него приятели, подгуляли порядочно и потом утащили вместе с собою куда-то допировывать. Воротился золотарь домой уже на другой день ввечеру; домашние как взглянули на него, так и ахнули. А он, сам не свой, кинулся прямо к жене, но не с ласковым словом, а с криками. «Изменница, разбойница! Живой в гроб положу!..»

Поднялась семейная невзгода, кончившаяся слезами и просьбами с одной стороны, угрозами и бранью — с другой. Опомившись утром, виновный просил прощения у всех, плакал перед женою, клал на себя страшный зарок даже не братья за рюмку, — и месяца с два прошли благополучно; старый проступок казался сделанным во сне. Вдруг, в какой-то праздник, повторилась прежняя история, но в сильнейшей степени: муж показал власть свою над женой. За дурным делом последовали новое раскаяние, опять жизнь смиренника, только в продолжение меньшего времени, чем в первый раз, и опять повторение прежнего припадка. Отчего стали с ним случаться они, никто не знал, а толковали многие, что испортили его по зависти злые люди. Жена несколько раз ходила к знахарям и лекаркам, которые еще не перевелись в Москве, потратила много денег, а толку не было. Между тем, с частым повторением запоев дела стали расстраиваться; отсутствие хозяйского глаза не заменялось ни-

чем, а одним днем нельзя было воротить того, на что требовалась неделя; все пошло на разлад — и выгодные заказы, и получка денег, и хорошие мастера, — пошло хуже да хуже. И квартира сделалась дорогá, и артель большую не для чего стало держать. Остался, наконец, золотарь один — и хозяин и работник все вместе, и принужден был переселиться на Божедомку в пятирублевую комнатку. Тут скоро подошли к нему черные дни, да уж денежки про запас на них не было, и сделали они жизнь бедняка темнее ночи, и стал он, ни сыт ни голоден, ни наг ни одет, мыкать горе-горькое, жить так, что не приведи бог лихому лиходею.

Хуже всего было то, что чем стесненнее становились его обстоятельства, чем тяжелее было ему, тем чаще повторялись запои, и пропадал он уже не на день, а суток на трое, иногда на неделю; зачастую спускал с себя последнюю одежонку, чтобы только удовлетворить свою злую жажду к печальному забытью чего-то, камнем лежавшего у него на сердце. Но тяжко-дорогой ценой покупалось это временное забытие лица, бывало, нет на несчастном гуляке, когда явится он домой после двух- или трехдневного отсутствия, изноравливая придти самым ранним утром, пока улица еще спит, и по несмелым шагам, по оглядкам его некому принять за вора, украдкой пробирающегося к подмеченной поживе; потихоньку юркнет в свою каморку, перекрестится, — слава богу, из домашних еще никто не вставал. Но вот слышен тяжелый вздох жены, которая, по-видимому, не смыкала глаз всю ночь; вот старик отец, почти выживший из ума, дребезжащим голосом кричит с печи: «Что, Гриша, принес хлебца-то? Голоден я. Сноха не дает есть досыта: хлебушка, говорит, мало Голоден и холоден. Ох, господи!» Гриша молчит и торопливо принимается за работу: видно, что его грызет раскаяние, что он хочет всеми силами загладить свой проступок; но мудрено это дело. Угар еще не вышел из гуляки, нет сил ни душевных, ни телесных, в голове шум и треск, на сердце словно гора лежит, и тяжко занывает оно, в глазах туман, руки дрожат, капли холодного пота выступают через все поры обессиленного тела. Возьмется за то, за другое, — все валится из рук, ничего не спорится, да и точно в чужой дом он пришел, не знает, где лежит какая вещь.

Вдобавок к этому не замедлят подоспеть домашние мучения. «Нет ли у тебя, Гриша, чего-нибудь на харч? Я бы пошла на рынок», — робко спрашивает вставшая жена. Молчание — и позднее сожаление о безумной трате денег, которых в два дня спустил он столько, что стало бы их дома на две недели. «Да посмотри в карманах-то, — продолжает жена, — не завалилось ли где хоть гривенника!» Что смот-

реть? Хорошо знает он, что не осталось ни копейки, и, скрепив себя, продолжает молчать.

Приходит хозяйка. «Что же, Григорий Кузьмич, надо и честь знать! Бражничать бражничаешь, а за квартиру не платишь. Я сама сирота и кормлюсь только что этим уголком, а еще надо отапливать, обчищать вас, поземельные платить. Ты хоть бы понемногу расплачивался — когда целковый, когда полтинник, все бы с костей долой; а то шутка ли: запустил за четыре месяца! Как хочешь, голубчик, говорю тебе в последний раз, исчезни моя душа: если не разделаешься добром, хуже будет, как начну выживать неволею, провалиться мне на сем месте: рамы выставлю, вьюшки выну, дров ни полена не дам, колодец запру. Петра Петровича попрошу... он умеет учить вашу братью. Срам этакой! На что это похоже? До чего допустил себя человек в такие лета: ни стыда, ни совести, и слова повинного не хочет сказать!»

На подобную проповедь, продолжавшуюся с добрый час, нельзя не отвечать; и разными просьбами, обещаниями исправиться, разделаться в самоскорейшем времени горемыка успевал утишить гнев хозяйки, которая была вовсе не злая женщина, да притом и не любила менять своих жильцов: ее самолюбию приятно было слышать, как кто-нибудь из ее наемщиков говорил: «Спросите у Дарьи Герасимовны: она души своей не убьет; я двенадцать лет живу у ней и ничем не замаран».

Пронеслась одна буря, ушла хозяйка, — снова гроза, является лавочник: «Насчет должку-с. Побойтесь бога, батюшка Григорий Кузьмич! Истинно как родным потрафляю вам: и чайку (всегда маюкону), и сахарцу, и касательно провизии всякий провиант отпускаю; а вы, за мою добродетель, этакую пасквиль со мной делаете. У самого, батюшка, охапка детей на руках, сам по уши в долгах. Возьмите себе это в голову, сударь вы мой, найдите какое-нибудь средство, не тяните меня за душу...» Однако, после убедительных переговоров, и лавочник склоняется, наконец, на мир, на временную отсрочку.

А в доме, хоть все мышинные норки перерой, все-таки не найдешь нигде ни копейки, ни даже черствой корки хлеба. А старик пристаёт больше и больше, жалуясь, что его совсем уморили с голода. И маленькая дочь, едва протерев глазенки, просит чаю с бараночками и разливается слезами, видя, что самовара нет на столе, как не было его уже два дня. Но некому утешить малютку: отец сидит у верстака, печально понурился поседелую голову; а мать, не придумав ни одного средства, как бы просуществовать хотя один день без чужой помощи, бежит, наконец, к лавочнику выпрашивать несколько

фунтов хлеба да четверку картофеля, — или, когда тот не поддается на самые униженные просьбы, требуя уплаты старого долга, она идет закладывать какую-нибудь необходимую вещь из своего бедного наряда.

В горькой нужде, в крайних лишениях даже того, что и бедняк не считает прихотливою роскошью, проходило несколько дней, пока Григорий Кузьмич успевал отделать какую-нибудь работу и разживался деньжонками. С первою получкою их горемычная семья отдыхала: уплачивалась частичка долгов, выкупался заклад, девочка любовалась новенькими башмачками, чайница доверху наполнялась четверкою семирублевого чая. Полный раскаяния и воспоминаний о недавнем горе, которое терпел сам и заставил терпеть других, золотарь искренне сознавался в своих грехах.

— И сам не понимаю, что делается со мной, — говорил он жене, сидя за чаем, — бог наказал за что-нибудь. Выпью рюмку — тянет к другой, к третьей; выпью еще, сделаюсь под куражем, попадутся приятели (прах их побори!), заманят — и пошло... Встанешь на другой день, опохмелишься, пойдешь домой — дорогою точно злой дух нашептывает тебе в уши: зайди, выпей еще; что тебе дома-то, жены разве не видывал, слез ее не слыхивал? Зайдешь и опять забудешь все. А как начнет выходить дурь из головы, — сделается так тошно, что хоть руки наложить на себя в ту же пору; совесть убивает точно разбойника какого, не дает даже минуты спокойной; так и думается, что все пальцем указывают на тебя: вон, дескать, пьяница-пропойца идет!.. Эх, некому бить меня, старого дурака!

Но это раскаяние, к несчастью, не приносило желанных плодов мира, и спустя несколько времени Григорий Кузьмич снова проклинал свою невоздержность.

Но случалось иногда, что он приходил домой еще с сильным запасом паров в голове. В это время жена лучше не попадайся ему на глаза; первый шаг его прямо к ней, первое слово — брань да угроза, а за угрозою иногда и толчок. Слезы девочки, крики ее, что тятенька убьет маменьку, кропотливость старика, который на минуту пробуждался из своей бесчувственности, еще сильнее раздражали безумного. Один Саввушка, живший дверь в дверь с ним, умел укрощать опасные порывы золотаря.

«Да уймись, Григорий Кузьмич, брось ты это, пойдем лучше выпьем», — скажет он ему, вбежав на первый шум в каморку. «Постой, вот я ее!» — кричит золотарь, порываясь ударить полумертвую от страха жену. «Да полно, экой какой! Пойдем, покалякаем за бутылочкой. Ну за что ее бить? И так она мается, сердечная; бог с ней!» — «За что

бить? — гневно крикнет раздраженный золотарь — Ее мало бить, ее надо живую сжечь. Ты знаешь, кто она? а? Знаешь, откуда я ее взял? а?» — «Все знаю; да только пойдём же, а то ведь запрут». — «То-то и есть, что знаешь, да не разумеешь. Она загубила меня навек. Тысячи бы лежали у меня теперь в сундуке; а то фить-фить... Ну, идем. Счастлив твой бог, что я не сердит», — прибавлял он, обращаясь к жене, и отправлялся под руку с Саввушкой, который не отпускал его от себя уже ни на шаг.

Странно было, что, кроме портного, никто из соседей не вмешивался в ссоры золотаря с своей женой, странно потому, что посредничество в подобных случаях считается почти обязанностью каждого доброго жильца, и малейшая невзгода в одной семье занимает всех. Но о золотарихе не заботилась ни одна душа. Пьяный муж мог бить ее сколько угодно, и никто не двигался с места; она могла выплакать все слезы, и не приходило никому в голову подойти утешить ее. Напротив, соседки казались довольны тем, что муж, как говорили они, держит ее в руках, не дает потачки. «Не учи он ее, так она наварит такой каши, что и не расхлебаешь, — толковали кумушки. — Какого проку ждать, когда, не спросясь добрых людей, не посоветовавшись с умом, выбрал себе жену. прости, господи, срам сказать, из какого места. Диви бы не найти ему путной девушки». — «Гордянка она, — судила торговка, — и разуму на грош нет, даром что книжки умеет читать. У меня у самой покойник — царство ему небесное — куда был сперва дерзок на руку. Дня не проходило без потасовки. Да поставила же на своем, переуторила его, сделался под конец как шелковый, прежде, бывало, он слово, а я два; а потом я скажу десять, а он и рот разинуть боится. Хороший был человек, царство ему небесное. А эта дурища только хнычет либо молчит как пень; нет никакой догадки!» Словом, ясно было, что соседки недолюбливали золотарихи, хотя она вела себя в отношении к ним очень скромно, только не мешалась в их сплетни; но чувствовали почтенные кумушки, что она не их поля ягода и лишь по одной необходимости не чуждается их, и зато не давали ей пощады своим языком.

Один Саввушка питал почему-то особенную привязанность к семейству золотаря, и более всех к старику да к девочке. За первым он ухаживал как за маленьким ребенком, водил его в церковь, усаживал в саду подышать свежим воздухом, мыл в бане, кормил калачами, когда был при деньгах, — и старик в это время здоровел, не жаловался ни на голод, ни на холод.

Саша, дочь золотаря, уродилась в мать, а это, говорят в народе, недобрая примета. Впрочем, что до примет! Прехо-

рошенький ребенок, с голубыми глазками и темно-русыми кудрями, она обещала быть красавицей; но, несмотря на ее милость, на лета, столь любезные всякому живому существу, она жила сироткой в доме; из соседей никто не ласкал ее, вероятно, по матери; подруги или обижали крошку в играх, или вовсе не хотели «водиться» с ней. Сашу, однако, это нисколько не печалило. Поцелуи матери редко остывали на ее щечках, одна-одинехонька, она играла так же весело, как будто забавлялась с целым роем резвухек; да в запасе оставался еще Саввушка, который служил ей нянькою и часто товарищем в играх: обязан был катать ее у себя на плечах, снабжать лоскутиками, гостинчиками и по вечерам сказывать сказки. В награду за все эти услуги она позволяла ему изредка поцеловать себя и называла женихом, но требовала, чтобы он непременно вырос и сделался офицером. Саввушка обещался достигнуть того и другого и должен был уверять в этом свою любимицу, которую малейшее противоречие вводило в слезы.

Таковы были обитатели божедомского дома. За исключением бурь в семье золотаря да небольших перебранок между кумушками из-за кур и ребятишек, в нем постоянно царствовало спокойствие; всякому жаль было расстаться с таким укромным затишьем, представлявшим много удобств в хозяйственном отношении, — и все обживались здесь как бы в своем собственном доме. Саввушка квартировал у Дарьи Герасимовны уже лет пять. По округе его знали и во всех четырех Мещанских, и у Сухаревой башни, и по Серединке до самого Полевого двора, и в Сущеве, и везде его звали Саввушкою, все от мала до велика, от титулярного советника Круглова, постоянного его заказчика, до соседнего будочника, которого он снабжал даровыми нитками. Видно, так следовало называть его, в противность обычаю величать людей, достигших зрелых лет, по одному отчеству.

Было воскресенье. День хотя осенний, но выдался такой ясный и теплый, как среди лета, и вызывал даже не любителя природы на прогулку. Население дома Дарьи Герасимовны также почувствовало в себе желание насладиться редкой погодой, погулять в саду. Первый вышел Александр Иванович, «прекрасный молодой человек», с книжкою в руках; следом за ним выпорхнула Саша с мячиком; за нею невольно поплелся Саввушка, бывший несколько навеселе, ради праздника; потом явилась торговка с запасом орехов и в сопровождении дочери-перчаточницы; к ним не замедлила присоединиться и особа хозяйки.

Собрался круг порядочный, и завязался разговор длиннейший, наполненный переливанием из пустого в порожнее.

Наконец, прекрасный пол отделился от непрекрасного с намерением пить чай в беседке, и Александр Иванович с Саввушкой могли свободно разместиться как следует на скамье, которую уступили перед тем из учтивости «дамам».

— Что, Александр Иваныч, какую это книжку изволили почитывать? — спросил Саввушка, после нескольких минут молчания и понюхав табаку.

— Лирические стихотворения, то есть стихи. Понимаешь?

— Смекаю. И хорошая книга?

— О, утопаешь в блаженстве, летишь душою в выпренный мир, начинаешь понимать, что́ есть истинное бытие человека, и презирать эту ежедневную пошлость, которую мы называем жизнью, эту толпу глупцов, которых мы достаиваем имени людей...

— Кого же это, батюшка? — спросил Саввушка просто-душно.

— Всех, всех...

— Как? И себя, и свое начальство?

— То есть не всех, — торопливо подхватил юноша, — это так уж говорится, особенно в стихах; для красоты слога, как объяснял мой учитель. Вот послушай-ка, как здесь выходит это хорошо.

И Александр Иванович, не заботясь о желанье своего собеседника, продекламировал, как умел, одно туманное стихотворение.

— Охота же вам читать такой сумбур! Вот лучше взяли бы у отца дьякона Четьи-минеи, и я бы послушал. А то, не хотите ли, есть у меня житие Иоанна милостивого.

Но Александр Иванович спешил переменить разговор.

— Ведь хорошая женщина наша хозяйка? — заметил он в виде вопроса.

— Так себе, — отвечал Саввушка.

— Вот и Анна Харитоновна тоже хорошая женщина.

— Гм... старуха добрая. А дочка у ней как по вас?

— Лизанька? Девушка скромная, с поведением.

— Уж именно, что с поведением. А ведь вы все-таки не женитесь на ней?

— С чего же это ты взял? Найду себе приличную партию, барышню. А она что! Мещанская дочь.

— То-то и есть, сударь; жениться не думаете, а амурь разные заводите, записочки пишете. Вы думаете, я не видал, как намедни на крыльце... Пожалуй, и дальше зайдет. А у ней только и приданого, что честь да молодость. Вы не обижайтесь, сударь, на мои глупые слова, любя вас, говорю.

Александр Иванович вспыхнул.

— Экой ты какой чудак, — проговорил он с упреком. — Да разве я насчет чего-нибудь? Я с благородными намерениями...

— Может, у вас в мыслях и нет ничего такого, да лукавый-то силен. Вам шутка, а девушке вечное пятно. Замуж взять — другое дело; а то какое ж тут благородство? Если угодно, к слову пришлось, я расскажу вам одну историю. Этому уж будет лет двадцать. Я жил в работниках у немца на Тверской. Рядом с нами нанимал квартиру барин почти в вашу пору (звали его Василий Петрович), а через крыльцо жила немка, Анна Карловна, с дочерью, ездила по домам уроки задавать. Василий Петрович был батюшкин сынок, собой молодчина, деньгами сорил. Вот и свел он знакомство с немкою; дочка-то полюбилась ему — такая была сублильная. Бывало, только что мать со двора, он и пробирается к Луизе Богдановне, к дочери-то, и сидит у ней до вечерен, либо на Тверской бульвар под ручку с ней пойдет. Знаете, немки не наша нация, не боятся ничего. Со стороны стали кое-что замечать. Слухи дошли и до нашего хозяина, а он был знаком с матерью-то. Он к ней. «Чего, говорит, вы смотрите; ведь господин нехороший человек». Старуха обиделась. «Он, говорит, с благородными намерениями, он жених моей дочери, ждет только позволения от отца». — «Ну, жених так жених, дай бог». Проходит месяц, другой — свадьбы все еще нет. «Поеду сам к отцу», — говорит Василий Петрович. Поехал. Ждут его, считают дни и часочки, горюнится мать, слезьми обливается дочь. Нет никакого известия. Раз под вечер, — мы уж пошабашили, — приходит к нам Ефрем, что жил в лакеях у Василия Петровича. «Ба! Откуда ты?» — спрашиваем у него. «Все оттуда же, говорит, от своего барина». — «Разве приехал?» — «Да он, говорит, и не думал уезжать, а проживал себе как следует на Пречистенке». Вот оно что! На другой день весь дом узнал, какую штуку сыграл названный жених. Анна Карловна сейчас на извозчика — знать, к нему. Воротилась, слышим — на квартире у них суматоха, кухарка бежит за доктором: «Барышня, говорит, умирает». Приехал доктор, посмотрел: «Это, говорит, не мое дело»... Понимаете, какая оказия-то вышла? Не при вас будь сказано, ребенок родился мертвенький... А с самой-то бедняжкой что случилось — не приведи господи и слышать. Рехнулась совсем. Доктора и лечить отказались. Мать пожила в Москве еще с полгода, видит, что пользы нет никакой, — взяла да уехала в свою сторону. А Василия Петровича видел я после того: ничего, краснощекый такой. Вот они, батюшка Александр Иваныч, благородные-то намерения иной раз бывают каковы.

— Романическая история, — заметил слушатель, помолчав с минуту.

— Называйте, как знаете, а история справедливая, — отвечал рассказчик.

— Ты добрый человек, Саввушка, хороший человек.

— Полноте шутить, сударь! Какой я добрый? И человек-то не полный: так, сухое дерево. Рад бы сделать добро, да не умею либо силы не хватает; а худа на своем веку довольно натворил закрасить-то его и нечем.

— Здесь все любят тебя...

— Грех сказать: не обижают. Да всем я чужой. Нет, Александр Иванович, одиночке уж что за житье на сем свете. У вас, например, есть матушка (продли ей бог века); жёнитесь потом, детки пойдут — с ними все веселее тянуть жизнь.

— Да ведь и ты, кажется, был женат?

— Был, да уж и позабыл когда...

В эту минуту Саша, напевая какую-то песенку, подбежала к собеседникам и взобралась на колени к Саввушке.

— Что, устала, козочка? — спросил он ее, глядя по головке.

— Мячик забросила в беседку.

— Так надобно достать.

— Поди-ка попробуй там сидит сама, а с ней купчиха.

Однако, несмотря на присутствие этих страшных для девочки особ, то есть хозяйки и торговки, Александр Иванович вызвался найти мячик. Саввушка продолжал утешать свою любимицу.

— Сказать сказку?

— Скажи, только хорошую.

— Ну «В некотором царстве, не в нашем государстве...»

— Э, да я знаю это и сама.

— Ну... «Жить жил, а служить нигде не служил, храбрый рыцарь-кавалер, мушиный царь, комариный государь, что тот ли колесный секретарь. Дворец у него без крыши, а по полу гуляют мыши; на часах стоят жуки и ружье держат у руки; как на караул отдадут, так со страху упадут, петух главный у него генерал — чем свет и заорал. Кафтан, сударыня ты моя, у нашего кавалера воздушный, воротник на кафтане еловый, обшлага сосновые, подбит ветром, оторочен снегом. Кушает он сено с хреном, солому с горчицею, лапти с патокой — кушанья все деликатные; три дня не ест, а в зубах ковыряет, гостей на пир созывает. Ходит при усах, при часах, трубка табаку во рту, звонка сабля на боку; идет — ухмыляется, красотой своей похваляется, а девушки на него умиляются». Ну...

Но появление Александра Ивановича с найденным мячом прекратило сказку. Девочка спрыгнула с колен Саввушки и побежала с полученным от него грошом покупать себе пряничного кавалера взамен сказочного.

— Саша любит тебя пуще всех, — сказал Александр Иванович, усаживаясь опять рядом с Саввушкой.

— Да ведь почёт только один я приголублю ее. Хуже сиротки. У меня, признаться, особенно лежит к ней сердце. Давеча вы спросили меня насчет жены. В молодые годы, сударь вы мой, я был не такой гриб, как теперь. Женился я не по своей охоте. Жена попалась не по мне. С первых уже дней промеж нас пошло не ладно. Крепился я, крепился, да и стал ее поколачивать. Куда тебе — пуще в слезы, а потом жаловаться всем на мужа. До барины доходило. Ладно, думаю я. Собрался в Москву. Она пошла провожать меня. Идем, растабарываем, а у самого сердце так и кипит. Вот, дошли мы до роши, откуда поворот на большую дорогу. Простимся, говорю, жена; спасибо тебе за ласку. И начал я ее... Кричи, не кричи — помочь некому. Ну, а в Москве, известно, ничего. И думать об ней забыл. Спустился этак с полгода, пишет отец, что дал бог ему внучку, а мне дочь, да сама-то, невестка, жена то есть моя, что-то чахнет: приезжай, пишет, непременно. Поехал я. Зову жену с собой в Москву — жаль стало, годов на десять состарилась. Куда — и слышать не хочет. «Умру, говорит, здесь, а там от твоих рук не хочу идти в сырую землю». И отец стоял за нее. Зло взяло меня пуще прежнего: пропадайте, говорю, вы прахом; в Москве жен много. Уехал. Сперва делишки мои шли-таки изрядно, и хозяином садился, а потом словно как хмыл все взял, все врозь да пополам, да и за галстук стал я запускать чересчур; расстроился совсем, ни на мне, ни у меня нет ни синь пороха. Пошел в работники к одному хозяйчику. Артель попала забубенная: работать не работается, а пить пьется. Вот, пишет отец, просит денег на подмогу: знаете деревенские обстоятельства — то, другое требуется; а мне и послать-то нечего. Запъешь с горя. Пройдет с месяц — пишет опять; так и так: месячины не велено давать, огород отняли, приходится последнюю коровенку продать. А там опять письмо: у жены молоко пропало, и девочка хворает крепко, дома куска хлеба нет, хоть милостыню идти просить. Что ж мне-то делать, подумаешь с собой: я и так под сотню рублей забрал у хозяина вперед; а на что, на какие потребности? Известно на что чтобы горе не было горько. Так маялся я целых пять лет. Божье наказание было. Получаю, наконец, письмо от брата (что служит в работниках), Христом-богом молит меня приехать поскорее: батюшка болен, при смерти. Что делать?

Время осеннее, попутчиков нет — побрел пешком. Прихожу. Брат один-одинехонек горюет дома, а батюшка с неделю как богу душу отдал (царство ему небесное!). Поплакал я, да и воротился сюда доживать свой век, пока не придет час воли божией.

— Ну, а жена-то твоя что ж? — спросил Александр Иванович.

— Нешто я вам не сказал? Погуливать начала еще при батюшке. Даром что чахоточная, а собой ничего, таки смазлива была. Ну, а тут как в воду канула и дочку с собой увела. Никакого известия доднесь не получал, где она и что с нею. Может статья, давно и на свете нет. Да мне бог с ней; дочки жаль — своя кровь. Всего-то видел ее однажды; годков двенадцать было бы теперь; звали Сашей. Так-то, сударь вы мой: вольный я теперь казак, один как перст, а легче бы с камнем на шее ходить... Эх, Александр Иванович, — продолжал Саввушка, переменяя тронутый голос на обычный шуточный тон, — до какого чувства довели вы меня — стыдно сказать!

— Нет, Саввушка, нет, хорошо! Если описать все это романически, занимательная будет история.

— Бог с вами, сударь! Я истинно по душе вам рассказал, а вы все насчет своих сочинений. Нет, уж от этого увольте. Такие ли бывают настоящие истории! Мы люди маленькие, и жизнь-то у нас птичья — без году шесть недель, то есть не насчет лет, а касательно всего прочего. Какие у нас истории! Посмотрите-ка у других.

В это время из беседки вышел прекрасный пол, усладивший там душу чаем, яблоками и орехами, — и хозяйка, желая, по ее выражению, «сделать променаж», предложила публике заняться увеселительными играми. Большинство голосов склонялось к хороводным песням, сторону же горелок со жмурками и кумы с зарею-заряницею держали не многие; итак, решено было водить хороводы. Почти весь дом высыпал на это зрелище — кто смотреть, а кто принять в нем голосистое участие. И вот развернулся ряд певцов и певиц, заплелся в круг и затянул: «Ай по морю». От «моря, моря синего» поехали в «Китай-город гулять»; потом пошел «царский сын, королев сын круг города ходить»; за ним выступил «донской казак во скрипку играть»; наконец, после «Дуная, веселого Дуная» дошел черед до «подушечки», самой любезной для молодежи песни, потому что она сопровождается беспрестанными поцелуями. «Подушечка» расстилась до тех пор, пока поздний вечер не расстроил хоровода, и веселая гурьба, обменявшись пожеланиями «спокойной ночи, приятного сна», разошлась по своим квартирам.

— А что, сударь, — сказал Саввушка, идя с Александром Ивановичем во флигель, — не правду я говорил?

— Какую?

— Да с Лизанькой-то вы не пропустили случая поамуриться. Небось, к хозяйке так не льнули: эта — не кто другая, разом окрутит.

— Ах ты, волшебник старый, — смеясь заметил Александр Иванович.

— Смейтесь, смейтесь. Известно, это уж такая игра, да после не вздумайте играть взаправду. Да вот еще, чуть не забыл сказать вам: давеча, как вы подплясывали, я заметил, что один-то сапог у вас каши просит. Станете ложиться, швырните его ко мне; к утру я залечу его как следует.

Молодой человек покраснел и признательным взглядом поблагодарил Саввушку, не раз исправлявшего его небогатый наряд.

III

В противность утверждению Саввушки, у всякого человека есть своя история, с тою лишь разницею, что у одного она изображает собою величие и падение Римской империи, у другого — точно придворная запись однообразных происшествий Срединного царства, у третьего — мирное существование какого-нибудь уездного богоспасаемого городка. Об ином мало написать целую книгу; о другом достаточно сказать: «И только что осталось в газетах: выехал в Ростов». Но какова бы ни была эта история, ни в одной не обойдется без бурь и гроз, более или менее опустошительных. Правда, то, что для одного кажется бурей, для другого не более, как обыкновенный порыв ветра; что обессиливает вконец одну душу, то освежает другую. О мнимых невзгодах, выдумываемых несчастным воображением, нечего и говорить: довольно того, что они выдумываются и, следовательно, тревожат своего изобретателя. Но что же сказать вам о житье наших божедомцев? Разумеется, и у них была своя история, даже часто случались истории, но такого рода, что ими не стоит занимать ваше внимание, без ущерба для занимательности рассказа мы можем перешагнуть через пять лет вперед.

Самые замечательные события этой минуемой нами эпохи были следующие: Дарья Герасимовна приблизилась, наконец, к цели своих пламенных желаний и питала близкую надежду приковать к себе узами брака одного отставного управляющего, которого прельщало ее благоприобретенное имение. Лавочник, «живя помаленьку, бога не гневя», обратился в квадратную фигуру с значительною выпуклостью

наперед. Александр Иванович сшил себе новый виц-мундир и купил каиарейку. Другой молодой человек, корпевший над бумагами, переехал куда-то, чуть ли не в больницу, и комнату его занял сапожник-семьянин Лизанька «расцвела наподобие розана», по словам Александра Ивановича. Золотариха начала частенько прихварывать (впрочем, и прежде она была незавидного здоровья), а муж ее, вероятно с горя, стал чаще запивать. Кажется, и все... Да, Саввушка принужден был купить себе «стеклянные глаза», потому что его собственные отказались служить по вечерам. Может быть, были и другие происшествия меньшей важности, но об них не сохранилось ничего в местных преданиях. Итак, пять лет вперед.

Как хороши в предместьях Москвы весна и лето, так невыносимо скучны осень с зимою. Кругом грязь непроходимая или сугробы такие, что завязнешь в них по пояс; живешь точно в берлоге; изредка пройдет по заглохшей улице пешеход, еще реже проедет Ванька или мужик с дровами; соседа увидишь разве только в церкви — и словом перебросятся некогда. Зато однодомцы придумывают всевозможные средства, как бы скоротать злое время, особенно долгие вечера, и посиделки друг у друга, с работою, рассказями и песнями, составляют одно из самых действительных средств против скуки. В божедомском жилище главные собрания бывали большею частью у хозяйки, потому что просторная комната ее представляла значительные удобства для посетителей, да и сама она, чая желанного брака, любила слушать свадебные песни, в которых восхвалялась ее «девичья краса» и «кудри русые» ее будущего суженого. Из жильцов флигеля только один Александр Иванович иногда навещал эти собрания, и непременно с книжкою или тетрадкою стихов; прочие же вели себя особняком: Саввушка потому, что не любил «мешаться в бабью компанию», золотариха потому, что считалась как бы отверженною от такого благородного общества, а маленькую Сашу и калачом трудно было заманить туда. Обыкновенно Саввушка, когда не случалось спешной работы, приходил к золотарю покалякать часок-другой.

— Здорово, отец! — крикнет он старику, почти все время проводившему на печи.

— Здорово, родной! — отзовется слабый голос — Что, принес калачика?

— А вот пойду в лавочку, так принесу. Погоди маленько

— Охо-хо-хо, грехи мои тяжкие! Все меня забыли. Не покинь хоть гы-то, кормилец. Бога за тебя помолю, — тоскливо говорит старик, у которого мысль о Саввушке была нераздельна с калачиками.

Утешив как-нибудь старика, Саввушка заводил речь с хозяйкой, если золотаря не было дома.

— Ну что, матушка Анна Федоровна, как твое здоровье?

— Плохо, Саввушка: все грудь заваливает. Думала лечь в больницу, да на кого покинешь дом?

— И хорошо сделала, что не легла. Разве такая у тебя болезнь? Известно, не слеглая, а простуда. Напейся чего-нибудь горячего на ночь, укутайся хорошенько, а то вином бы с перцем натереться.

— Чего я не пила, легче нет нисколько. Так и давит. Нет, видно, ненадежная я жилица на сем свете.

— Господь с тобою! Не грех ли говорить такие слова! А что, сам еще не приходил?

— Нет, понес в город работу.

— Не загулял бы опять. Это всегда с ним бывает: степенствует, степенствует, и вдруг словно кто прорвет его.

— Да, больше месяца как он не пил.

— А теперь разом напьется за все дни. По мне уж лучше пить аккуратно. Я сам, грешный человек, пью; этак, по рюмочке, по две, оно не мешает; перед обедом пользительно даже, можно сказать... Ну, а эту невзгоду, что мучается он, я сам прежде знавал. Доктора говорят, что болезнь такая. Врут, сударыня ты моя, с позволения сказать: не болезнь, а дьявольское наваждение. Вот, отслужила бы ты три молебна.

— Служила я, всем святым угодникам молилась, — не проносит бог.

Глубокий вздох сопровождает эти слова, и Саввушка спешит переменить разговор, обращается к девочке:

— А ты, Сашуточка, училась сегодня?

— Училась и перчатки шила.

— Так завтра я тебе лоскутиков каких принесу, чудо! Ну, поцелуй же меня, да и прощай.

В таких или подобных разговорах проходила большая часть вечера. Иногда Саввушка занимал свою любимицу сказками, иногда экзаменовал ее знания в чтении, иногда беседовал с золотарем о старине. А время шло себе да шло...

Здоровье Анны Федоровны худело более и более. Злая болезнь, что точила ее сперва, как червь, стала грызть потом, как голодный волк. Лекарства не помогали, домашние огорчения тяжелым камнем падали на истомленное сердце, сушили и без того изнуренную грудь. Муж пил уже не с пережками, а просто мертвою чашею, и почти не жил дома, показываясь на день, на два, чтобы протрезвиться и пригрозить жене, которая, по его словам, притворничала и была причиною всех бед. И работал он большею частью на сто-

роне, где неделю, где день, помогая мелким хозяевам, и из заработанных денег редкая копейка попадала домой... Не получая несколько месяцев платы за квартиру, хозяйка привела, наконец, в исполнение одну из своих обычных угроз — два дня не давала дров, — и без просьбы Саввушки, переменявшего ее гнев на милость, худо было бы с бездольной семьей, принужденной, чуть ли не в двадцать градусов мороза, сидеть в нетопленной комнате, стены которой промерзли насквозь, в окна дуло, из-под полу несло, да и теплой одежды к тому же не было почти ни клочка. Через два дня горницу истопили, но на больную эта побудительная мера все-таки подействовала сильно, да и старик, привыкший к горячей печке, тоже захворал. На беду и лавочник решился последовать примеру хозяйки для скорейшего получения долга: объявил, что не станет отпускать без денег ни на копейку, и решение его было непреклонно, так что не только варева — сухого хлеба сплошь и рядом не было бы у горемык, если бы не Саввушка, который делился с ними крохами своих скудных заработков.

Наступало рождество. Золотарь с неделю глаз домой не казал. Для удовлетворения неотступных требований хозяйки Анна Федоровна распродала кое-какой домашний скарб и уплатила ей частичку долга; остальные деньги пошли на необходимые домашние расходы, и после первых дней праздника бедная семья принуждена была опять поститься. Саввушка и рад бы помочь, да нечем: работа к празднику была незавидная. Занять более не у кого, продать и заложить нечего. Перебирая в уме все средства, какие помогли бы ее безвыходному горю, Анна Федоровна вспомнила, что у ней есть дядя-богач, тысячами ворочает. Правда, что он знавал ее еще молоденькой девушкой, и с того времени много воды утекло; да что стоит ему от своего богатства дать племяннице для праздника какую-нибудь красную ассигнацию. «Прежде он был такой добрый, я помню, гостинцы мне всегда покупывал». И она уже рассчитывала, сколько дней можно будет прожить на пособие от доброго родственника... Придела Сашеньку, надеясь видом малютки тронуть его сострадательность, и пошла за Москву-реку.

Но где тонко, тут и рвется. Богатые дядюшки, помогающие бедным родственникам, встречаются не каждый год. Последняя надежда Анны Федоровны, как можно было предвидеть, лопнула. С заплаканными глазами, дрожа от холода и душевного горя, воротилась домой бедная женщина. Саввушка ждал ее.

— Что, голубушка ты моя, чем наделил тебя дядюшка, золотом или серебром?

— Попреками да приказаниями, чтоб я не смела казаться ему на глаза; а то, говорит, велю выгнать, — отвечала Анна Федоровна сквозь слезы.

— Я это знал допрежде. Только расстроил он тебя, разбойник такой.

— Стал колоть глаза, поминать про старое. «Ты, говорит, опозорила наш род, не знай же моего порога...» Помогите хоть для своей внучки, говорю я, она хуже сироты, подайте, как подаете нищему, ради Христа... Сама заплакала А он мне: «Ступай, говорит, по миру, тогда подам милостыню». Бог ему судья.

— Э, да что плакать-то, уж это известный народ! Прах побери его и с богатством! Прости, господи, мое согрешение. Дом-то раззолотил, я чай, словно граф какой, на тысячных рысаках катается, а жаль бросить родной племяннице десять рублей.

— И жить-то он пошел от покойного моего батюшки, — продолжала Анна Федоровна, рыдая, — теперь все забыл.

— Да брось ты его совсем. Что кручиниться без толку? Ложись-ка лучше, сударыня ты моя, спать да оденься потеплее. Вишь, как разгорелась: не простудилась ли опять. Ну, Христос с тобой! — сказал Саввушка, прощаясь с горемыкой.

Завернув к ней утром на другой день, Саввушка испугался происшедшей с ней перемены.

— Матушка ты моя! — вскричал он. — Да на тебе лица нет. Краше в гроб кладут. Что с тобой?

— Ничего. То в жар, то в озноб бросает, — отвечала она слабым голосом.

— Так напейся поскорее малинки, да и ляжь. Верно, простудилась, как ходила к этому жидомору. Вот пока четвертак; Саша сходит в лавочку. А мне надо нести работу; если ворочусь скоро, так нынче же сбегаю к нашему частному лекарю; он добрый человек. Пока прощай. Смотри же, пропотей хорошенько.

Однако, сверх ожидания, хлопоты с заказчиками поддержали Саввушку до вечера, и, когда он пришел домой, вся Божедомка уже спала. Заглянув в окошко к золотарю и уверившись, что там все спокойно, он пробрался в свою светелку и лег. Около полуночи стук в двери разбудил его.

— Кто тут?

— Я, Саввушка, — отозвался голос рыдавшей Саши, — поди поскорее, голубчик, к нам: маменька умирает совсем. Вдруг закричала: смерть, смерть моя! — да и замолчала, не шевельнется даже. Поди скорее.

Накинув на себя что попало, Саввушка поспешил за Сашей. В комнате золотаря было тихо. Месяц глядел в окно, и

при свете его Саввушка на цыпочках подошел к больной и стал прислушиваться к ее неровному дыханию. Она лежала в забытьи; освещаемое бледно-синими лучами месяца, лицо ее было точно мертвое; по временам вырывался у ней несвязный, едва слышный бред. Постояв несколько минут, Саввушка воротился в свою каморку, принес оттуда огня и засветил лампаду перед иконами. Больная открыла глаза.

— Что это, светает? — прошептала она, смотря кругом.

— Нет еще, матушка ты моя, спи себе с богом. Это я зажег лампадку: ведь завтра воскресенье.

— Григорий Кузьмич пришел?

— Нет еще. Да что тебе нужно?

— Тошно мне. Душа с телом расстается. Святых тайн хотела бы я причаститься, если сподобит бог.

— Что ж, это можно: христианское дело, и здоровому спасение приносит. Да только с чего же вздумалось тебе, хворушка ты моя?

— Ах, Саввушка! У меня словно что оборвалось в груди. Вот здесь давит тяжело. Я чувствую, что час воли божией пришел. Я видела смерть, она ждет меня. Сходи же, родной, Христом богом молю тебя, не дай умереть без покаяния... Скоро заутреня; как отойдет, и попроси батюшку сюда.

— Попрошу, — отвечал Саввушка, не зная, чем утешить больную, и не понимая такого быстрого перехода от жизни к смерти.

Саша со слезами бросилась к матери и приникнула головкой к ее груди.

— Маменька, душечка, не умирай! — лепетала она, осыпая ее поцелуями. — Разве не хорошо тебе здесь? Тятенька не станет больше обижать тебя. Я всегда буду слушаться... Мамаша, голубочка, красавица! С кем же я-то останусь? И тятенька будет плакать. Лучше я умру за тебя, мамочка, милочка!

— Ох, дочка, дочка, сердечная ты моя, — грустно произнесла больная, — авось, бог и добрые люди не оставят сироточку; божия мать будет твоею заступницею. Помолись ей, Саша.

Девочка стала на колени и сквозь слезы, полупшепотом начала читать молитвы, заученные от колыбели. Тихо вторила ей мать, набожно крестился Саввушка и не чувствовал слез, что катились по его щекам.

Когда Саша кончила молитву, больная велела ей подать икону из киоты и благословила ее. Дрожащий голос матери заглушался тяжелыми рыданиями без слез, призывая на малютку благословение свыше. «Этою иконою благословила и меня покойница-матушка. Она у нас родовая. Береги

же ее, Саша. Молись пречистой заступнице. Будешь доброю, и она никогда не покинет тебя; станешь вести себя дурно, божия мать отвратит от тебя лик свой. Ох, дочка, дочка, крошечка ты моя! Подрастает ты, скоро должна будешь жить своим разумом, увидишь много и хорошего и дурного, но будь всегда честна, не потеряй себя. Понимаешь, Саша? Успокой меня, скажи.

— Понимаю, маменька, — робко отвечала девочка: — я всегда буду честна. Только не умирай, родимая, поживи со мной хоть годочек. Мамочка, не умирай!

И Саша залилась слезами горше прежнего, и опять бросилась целовать руки матери, тоскливо прижимая их к своей груди.

— О господи! Хотя бы за мои-то грехи ей не отвечать, — промолвила больная, как будто думая про себя. — Пятнадцать лет... Дошли ли до бога мои грешные молитвы.

Рыдания заглушили ее голос. Успокоившись через несколько мгновений, она продолжала:

— Еще, голубчик Саввушка, есть просьба до тебя. Я вряд ли увижу Григория Кузьмича... глаза мои закроются без него. Скажи, чтоб он простил меня: я много огорчала его. Еще скажи, что даст он большую отраду грешной душе моей, если воздержит себя. А больше всего прошу, чтоб он не кинул Саши, не довел ее до того же, до чего дошла мать. Ты знаешь, откуда взял меня Григорий Кузьмич.. теперь язык не повернется сказать. Весь свой век носила я это пятно, вытерпела из-за него столько горя и обиды, что разве одному богу известно. Накажи же, Саввушка, чтоб он не кинул родного детища. Ох, тошно как.. Без меня будет расти она.

— Да будь спокойна, матушка ты моя, — сказал Саввушка, отирая слезы, — скажу все, и сам не оставлю Саши, видит бог. Успокойся же, усни тебе как будто крошечку полегче стало.

В самом деле, глаза больной загорелись лихорадочным огнем, на щеках заиграл зловещий румянец: появились все признаки, которыми смерть украшает свою жертву, заставляя думать, что жизненная сила снова взяла перевес. Но через несколько же минут волнение чувств и продолжительное напряжение опять обессилили больную; в изнеможении опустилась она на постель, произнесла несколько несвязных слов и скоро, по-видимому, забылась сном.

Саша прислушивалась к ее дыханию, наклонилась к изголовью и, тихо плача, тут же уснула. Саввушка прикорнул было на лежанке, но ему и сон не шел на ум. Тяжелый выдался ему денек, а тяжелее всего были думы, что вызывались окружающими предметами.

Мудреное дело смерть! Дума наша за горами, а она за плечами, приходит нежданная, незванная, не разбирая, впору или нет, здоровый дуб или чахлую былинку подсечет ее коса... Зачем умирает тот, чья жизнь необходима для опоры беспомощной дочери, и остается на белом свете старик, который тяготит всех и, наверно, был бы в тягость самому себе, если б понимал, как живется ему? Так ли, Саввушка? А ведь бог строит все к лучшему: здесь-то что же? Подумай-ка поглубже. Много ли радостей в своей жизни знала бедная женщина? Молодости она почти не видала; красота да воля сгубили ее в первом цвету под самый корешок; судьба бросила ее в омут, откуда никто не выплывает, не поплатившись несколькими годами жизни, а иногда и целым веком. Нашелся добрый человек, который не задумался назвать ее своей женой; не задумались и добрые люди колоть ей глаза прежним несчастьем, унижать прошлым позором. Слушал, слушал муж людские толки, начал и сам давать им веру. Жизнь несчастной обратилась в пытку. И дочь-то недолюбливали по матери: вся в нее, дескать, будет, яблочко от яблони недалеко падает. Стало быть, не видала умирающая почти никакой отрады на сем свете: так не лучше ли ей переселиться в иную жизнь, где «нет ни печали, ни воздыхания»; не легче ли ей будет там, нежели здесь, в борьбе с нуждою, под гнетом горя, в тревожном опасении за будущность дочери? Да, одна гробовая доска может успокоить ее; больная чувствует это и встречает смерть без страха и ропота. А сиротка, что остается после нее? Ее, горемычную, какая ждет участь? Участь наша в руках божьих, и не угадаешь ее вперед. Конечно, родная мать не два раза бывает; жизнь без нее, что цветку без солнца. Но верно то, что ни бог, ни люди не оставят сироты без призрения: ты первый, Саввушка, хотя и маленький человек, поделишь с нею последний кусок хлеба, утетишь ее горе, остережешь от беды.

Много подобного передумал Саввушка и до того углубился в мысли, что не слыхал, как раздался вдали благовест к заутрене.

Больная открыла глаза.

— Саввушка, отец родной, пора! — сказала она умоляющим голосом. — Сходи же, попроси батюшку со святыми дарами сюда...

Саввушка постоял несколько минут, собираясь сказать что-нибудь в утешение больной, и, не придумав ничего, перекрестился и вышел из комнаты.

Через два часа служитель веры напутствовал больную в жизнь вечную, а к вечеру она отдала богу душу.

Горько плачет Саша, сидя у ног матери и как будто

ожидая, не встанет ли она; старик, отец золотаря, кладет земные поклоны перед образами, молясь вслух об упокоении рабы божией Анны; Саввушка протяжно читает псалтырь; женщины хлопочут о приготовлении ее к погребению. А та, о ком льются непокупные слезы, за чью душу воссылаются усердные молитвы, для кого в последний раз волнуется житейская суета, — она покоится сном непробудным, достигнув, наконец, тихого пристанища... Смерть примирила усопшую с живыми, положила забвение на все прошедшее; суд ближнего над ближним умолк, по крайней мере на время смиряясь перед непреложным голосом суда загробного, не смея произнести ни слова перед телом, в котором, казалось, еще не остыла жизнь; суд этот сменился братским желанием царствия небесного отошедшей с миром.

Наступает ночь. Окончив погребальные приготовления, соседки расходятся по своим квартирам; утомленная бессонницей, Саша засыпает; старик опять впадает в забытие; один Саввушка остается бодрствовать, перемежая чтение псалтыря молитвами за умершую. Лампадка перед иконами и восковая свеча перед чтцом едва бросают слабый свет...

В это время отворяется дверь, входит неровными шагами золотарь и, едва переступив через порог, грозитя выместить на жене какое-то огорчение.

Не прерывая чтения, Саввушка молча указал ему на гроб. Несчастный муж не вдруг опамятовался и продолжал кричать, но едва озарил его луч рассудка, шатаясь, подошел он к умершей, несколько минут смотрел на нее и, наконец, с глухим воплем упал у гроба.

Спустя немного после похорон Анны Федоровны все пошло по-прежнему. Смерть ее произвела временное впечатление, и, когда оно миновалось, жизнь вступила в свои обыденные права. Золотарь, на которого впечатление это, конечно, должно было действовать сильнее, чем на других, дал было страшный зарок и не смотреть на хмельное. «Буду жить для моей Сашки, — говорил он, — не заставлю покойницу плакаться на меня, что сгубил дочь, как заел ее век, моей голубушки».

И точно, месяца с два он был столько же добрый отец, сколько и усердный работник, и благодаря своему прилежанию расплатился почти со всеми долгами.

Но тем и кончилось доброе начало. Раз как-то, вспомнив про жизнь свою с покойною женою, он расчувствовался до того, что счел необходимым залить свое горе; потом, в оправдание преступления зарока, нашлись другие причины, а наконец, и причин не стало более нужно, и обратился он на прежнюю стезю полупомешанного. Мигом закружился он и,

бросив хозяйство, пошел опять в работники к такому же горемыке, каким сделался сам. Сашу же до времени взял к себе Саввушка, потому что все родные отказались от сиротки.

IV

«Эх, не живется людям-то на одном месте, на теплом, насиженном гнезде! Тесно, что ли, здесь или недостает чего? Так ведь здесь Москва, не другой какой город. Эх, Александр Иваныч! Кажется, не глупый человек, а вздумал журавля в небе ловить. Ну, зачем ты идешь почитай на край света? Жалованье, говорит, большое дают, прогоны вперед, чины через три года. А на что тебе большое жалованье? Сыт, слава богу, и тем, что получаешь. А на чины-то ради чего льстишься? И без чинов ты хороший человек, а благородный само по себе, никак уже три раза офицер. Ей-богу, досада и тоска берет, как подумаешь, что это случилось с народом-то, с молодежью-то. Ведь вот сколько лет, никак уж тринадцать, живу я здесь; пора привыкнуть ко всякой дощечке, не то что к человеку; а старые-то знакомые, как на смех, и разъезжаются все по разным сторонам. Ну, кто останется со мной? Один Васильич — ему где ни умереть, все равно. Нет ни Петра Евстигнейча, ни Дарьи Герасимовны, ни Кузьмича — этих бог прибрал; Саша... да что и вспоминать про нее, лишь сердце растревожишь. Пора, однако, чай, часов одиннадцать уж есть».

Эти мысли, частью вслух, частью про себя, думались Саввушке в одно летнее воскресенье, когда он собирался идти к Сухаревой башне — продавать «разные старые погудки на новый лад», то есть кое-какое старье из платья, приведенное в возможно исправный вид его иглою.

Благодаря своим прибауткам и балям Саввушка скоро распродал весь товар до последней нитки и, довольный такою удачею, решил зайти в одно заведение, где продавались разные подкрепительные средства. Минут через пять он вышел оттуда почти в полном довольстве своей судьбой и забыв о недавних жалобах на нее.

Несмотря на то, что полуденный жар уже свалил, солнце еще сильно пекло. Подкрепив свои силы однажды, Саввушка счел не лишним подкрепить их в другой раз, только каким-нибудь прохладительным напитком, разумеется, не водою и не квасом. Выбор места для отдыха колебался между двумя заведениями: одно, известное под именем «Разграбы», находилось у самой Божедомки; другое, с скромным прозванием «Старой избы», лежало ближе к Сухаревой башне, на Самотеке. Хотя в первом Саввушка был знакомый покупа-

тель, но, вспомнив, что буфетчик Разграбы как-то на днях не поверил ему семи копеек, он выбрал Старую избу.

Старая изба, действительно, заслуживала свое прозвище и снаружи была немного лучше деревенской лачуги. Но украшавшая ее казистая вывеска, на которой по синему полю ярко блестела золотая надпись: «Распивочная продажа пива и меду», а самые напитки были представлены бьющими пеной из бутылки в стаканы, — вывеска эта сейчас приводила на память старинную пословицу, что красна изба углами... а веселые песни, которые неслись из заведения, раздаваясь на половину улицы, не оставляли никакого сомнения, что Старая изба любит тряхнуть костями на старости лет и мастерица расшевеливать сердца своих гостей.

Саввушка вошел в желанный приют, уже наполненный посетителями. Отыскав себе укромное местечко, едва он сел за стол, как вдруг подскочил к нему русский гагшон, мышленое лицо которого много обещало для искусства торговать и плутовать, и бойко спросил:

— Что угодно, купец?

— Да бутылочку бы холодненького, знаешь, этак покрепче, — отвечал Саввушка.

Мальчишка скользнул и мигом воротился с бутылкой пенистого напитка в одной руке и подносом, на котором торчали стакан и блюдечко с сухариками, — в другой, поставил их на стол и, очень эффектно стукнув бутылкой, примолвил: «Самое лучшее, бархатное!» — и шмыгнул в сторону для дальнейшего отправления своей службы.

Освежив горло и оценив достоинство напитка вторым стаканом, Саввушка осмотрелся кругом. «Лавочка-то, — подумал он, — не чета Разграбе, да и Панфиловской не уступит, и пивцо хорошо».

О достоинстве последнего мы не можем сказать ничего достоверного; а лавочка, в самом деле, была очень хорошая в своем роде. Правда, что она была изрядно закопчена, мебель в ней носила следы уж слишком патриархальной простоты, а скудный свет падал в нее через полуразбитые окна, но какого же света еще требовать, когда «свет мой» — улыбающаяся бутылка на столе, а прозрачный стакан ожидает, чтоб наполнили его, возвеселили животворною влагой ум и разогрели сердце! Впрочем, и украшений было немало в Старой избе. По стенам, когда-то выкрашенным желтой краской, висело несколько назидательных картин вроде «мытарств грешной души»; рядом с ними грустно смотрели из полинялых рам какие-то портреты, в которых воображение хозяина лавочки находило Румянцева и Потемкина. Но, умиляясь сердцем при виде тех и других изображений, посе-

чители Старой избы с особенною любовью останавливались пред лубочною картинкою, представлявшею нескольких усердных питухов, с красноречивою надписью:

Пиво сердце веселит,
Пиво старых молодит!

На заднем плане в другой половине заведения виднелась на стене декорация, изображавшая «романическое местоположение» и нарисованная, вероятно, кистью «Ефрема, домашнего маляра», который знал, на каких деревьях поют птицы райские, величиною с орла, и в какой стране львы походят на баранов. Главное же, по крайней мере, существенное украшение и самый видный предмет в заведении составлял буфет, установленный множеством стаканов и стопок. За ним присутствовал сам хозяин — плотный мужчина, с черной бородой, ласковой улыбкой и плутовскими серыми глазами, в красной рубашке, пестром ситцевом фартуке, с огромным ключом на поясе и в сапогах со скрипом. У буфета сосредоточивалась главная деятельность заведения: сюда шли требования посетителей, и отсюда удовлетворялись они. Три взрослых парня едва успевали разносить бутылки и снимать со столов опорожненные, которые немедленно сдавались в ледник разлищику для наполнения и поступали снова за буфет. Но, несмотря на ежеминутный отпуск и прием напитков, на беспрестанную получку и сдачу денег, буфетчик хозяйским глазом зорко следил за общим ходом торговли в заведении и наблюдал, чтобы все посетители оставались довольны, были угощены, как говорится, до самых до усов и до бороды. То раскланивался он с гостями, приветствуя кого просто «нашим почтением», кого почтением «с походцем», то есть нижайшим, кого сударем, иного графчиком, другого купчиком; то живо покрикивал на своих помощников, чтобы «не зевали, смотрели глазами повеселее, да в оба, а не в один»; то удерживал прихотливого, но почетного покупателя обещанием подать «самого лучшего, мартовского» и отыскивал ему спокойное место, «на самом веселом положении»; то доказывал захмелевшему гуляке, что «его милость» должна заплатить не за две, а за четыре бутылки; то производил какие-то операции над питиями, переливая их из одной бутылки в другую, — словом, это был Аргус по своей зоркости, держи ухо востро насчет всего прочего, себе на уме касательно благосостояния собственного кармана. «Шельма продувная должен быть буфетчик, а с виду хороший человек», — решил Саввушка, продолжая осматриваться.

За столами, только не дубовыми и без браных белых скатертей, сидели многочисленные посетители, наслаждаясь

взаимною беседою, разговором с бутылками и оглашая заведение песнями. Везде говорили или гугорили, пели или курныкали, и все эти звуки сливались в один неопределенный гул, среди которого по временам господствовали громкие возгласы буфетчика или песенное «коленце» какого-нибудь парня. Гости представляли смесь одежд, лиц и даже состояний; но по числу и голосистости первенствовали мастеровые; временными соперниками их являлись извозчики и изредка подмосковные мужички.

За большим столом, посредине заведения, уставленным целою «рощею» бутылок, заседала артель портных, народа веселого и гулливого. Что это наверно были портные, Саввушка не мог ошибиться: один из них щеголял в модном сюртучке, но только без приличного нижнего платья; у другого торчало за ухом несколько шелковинок; третий отличался чересчур «галантерейным, черт возьми, обхождением»; а все вообще были такие характерники и артисты, что любой годился бы в труппу бродячих комедиантов. «Молодятинка, — думал Саввушка, глядя на своих собратий по иголке, — жидки больно, не то что в наше время; а удасть есть, ей-богу есть, ведут себя с поведением», и он с любопытством начал прислушиваться к их беседе.

— А что, братцы, платить ли нам за пиво? — спросил один из собутыльников, отличавшийся невообразимо косматой прической и огромными усами, которые, при малом росте его фигуры, придавали ему не очень казистый вид

— Ай да черкес! Эку пулю отлил! — возразил другой, с более степенною наружностью. — Небось, Михал Михалыч не промах, сам с забористым перцем; у него и последний сюртук оставишь за бутылку, а не то бутарей позовет на расправу.

— Зачем бутарей? Он еще свою четверть поставит, только лишь, батюшка, ступай себе с богом, не заводи ссоры, — продолжал черкес с уверенностью.

— Полно морозить, ахинею с маслом несешь, — заметили несколько голосов.

— А вот увидите. Будь пока по-вашему. Хватим-ка, ради скуки: «Полно нам, ребята, чужо пиво пити». Ты, Башкин, запевай, а я буду держать втору. Ну, дружно!

Громко раздалась веселая песня и покрыла собою общую разноголосицу. Под конец ее черкес куда-то ускользнул, но скоро воротился на прежнее место.

— Теперь надо горло промочить. Ну-ка, по стаканчику! — молвил он, принимаясь за объемистую бутылку.

Собеседники выпили и не поморщились; но сам разливатель едва поднес стакан ко рту, в тот же миг плюнул с отвращением и громко крикнул:

— Эй, буфетчик Михал Михалыч, пожалуй-ка сюда!

Вместо буфетчика на зов явился один из служителей, и черкес накинулся на него.

— Нешто ты можешь подавать такое пиво? А? Нешто так водится? А? — твердил он ему, показывая стакан. — Разве приказано вам морить людей? Разве пойдет это кому в душу? А? Да от этого и ноги протянешь кверху. Ах вы мошенники! Живых людей морить хотите!

Оторопелый парень только и повторял в свое оправдание:

— Помилуйте, почтеннейший! У нас пиво хорошее.

Но черкес горячился более и более, так что соседние с портными посетители обступили их.

На крупный разговор подбежал и сам хозяин.

— Что за шум, а драки нет? — спросил он.

Черкес выразительно поднес стакан к его лицу. Буфетчик взглянул и, о ужас, увидел, что в драгоценном напитке плавали кое-какие запечные насекомые.

— Солонину из них, что ли, солить? — продолжал портной. — Разве таким товаром вы торгуете?

— Это по ошибке, недосмотрение разлищика, — произнес буфетчик в смущении, — у нас пиво первый сорт. Как перед богом, по ошибке; ввалились как-нибудь сами, без позволения.

— А холера по ошибке бывает? А? А человек по ошибке умирает, по ошибке душу сквернит? А? Нет, Михал Михалыч, у добрых людей так не водится. Гляди-ка — в бутылке-то этого товару не оберешься. Спасибо! Ну, если кто из нас, не здесь будь сказано, захворает? Кто тогда в ответе, кого потянут? Ведь тебя, голова ты с мозгом! Что, Михал Михалыч? Ведь здесь свидетели есть; никто душой своей не покривит.

— Помилуйте, господа, — смиренно заметил буфетчик: — пиво можно переменить. Эй, Алексей! Нацеди князьям четверть Александровского из шконтика. Это будет моя-с, во уважение вашей милости. А насчет такой оказии не беспокойтесь, уж сделайте милость, оставьте эту канитель! Бросьте, да и вся недолга.

Но черкес очень основательно доказывал, что это дело не плевое, не шуточное и пахнет не одной четвертью; что если повести его как следует, так, пожалуй, и двух ведер мало; известно, привязка будет: то, се, пятое, десятое, а карману все изъян да изъян; а слава-то какая про лавочку пойдет...

— Да уж извольте, все угощение мое, копейки с вас не возьму, — сказал, наконец, буфетчик, побежденный юридиче-

скими доводами черкеса, которым поддакивали прочие портные, — только бросьте эту пасквиль. Я всегда с истинным моим уважением к вам, всякое снисхождение делаю... так уж, пожалуйста!

После нескольких возражений и переговоров мировая была заключена с помощью новой четверти, и, разглаживая свои усищи, черкес победоносно спросил у артели:

— Что, ребята?

— Любим мы тебя сердечно,
Будь начальником нам вечно! —

затянул вместо ответа один из портных, и артель хором подхватила общее выражение благодарности к ловкому штукарю.

Спустя несколько минут, когда мировая четверть была осушена, черкес опять повел речь:

— Слушайте, ребята: атаман говорит. Знаете, какой я человек: на плута сам прожженный плут, десятерых проведу; на доброго человека — совесть есть. Что ж, нечего сказать: Михалом Михалычем мы довольны завсегда: и на похмелье даст, и грамоте учиться какую хошь вещь возьмет. Слушайте: отшутил я шутку — и баста! Прусаков поймал я здесь, за печкою — там их тьма тьмущая. За пиво мы расплатимся по чести. Сегодня покутим, тринкен бир и шнапс; завтра Севрюга заложит пальто на похмелье, а потом марш в Марьину рошу. Прости, Москва, приют родимый! Прочь, народ! Раздайся, расступись: портные гуляют! Михал Михалыч, пожалуйста сюда!

И черкес добросовестно объяснил свою проделку буфетчику, который, поглаживая бороду и посмеиваясь, намотал себе на память, что в другой раз на подобную штуку его уже не подденут.

«Славно сыграно», — подумал Саввушка, весело потирая руки, и спросил себе другую бутылку.

Между тем портные продолжали отличаться. Не довольствуясь вокальною музыкою, они устроили инструментальную, причем блистательно выказалась их изобретательность. Черкес ухитрился посредством двух чубуков подражать звукам скрипки, Башкин высвистывал губами вместо флейты; Севрюга начал выводить диковинные тоны, ударяя ножом по пустой бутылке; поднос заменил бубен; один искусник затрубил в кулак, другой забарабанил по столу, — и импровизированный оркестр, на диво всем, заиграл польку триблина (*tremblante*) и выделявал такие тоны, что у одного посетителя зачесались ноги, и он пустился в пляс.

— Ну, хоть не складно, да ладно, — сказал черкес по окончании польки. — Теперь пьяный галоп. Башкин, начинай! Оркестр задудил, а черкес, пиликаая чубуком, начал петь:

Настоечка простая,
Настоечка двойная,
Настоечка тройная,
Настоечка травная,
Настоечка славная,
Светлейшая,
Чистейшая,
Славнейшая,
Утешительная,
Прохладительная,
Горячительная,
Очистительная,
Усыпительная,
Разморительная,
Разахтительная!
Чарочка моя!
Рюмочка моя!

— Дружней, ребята! Разом последнее коленце!

Едет чижик в лодочке,
В адмиральском чине
Выпьем, выпьем водочки
По этой причине!

Башкин, с своей стороны, также захотел выкинуть коленце — для удовольствия почтеннейшей публики съесть стакан, но сотоварищи удержали его от этого опасного фокуса, и он ограничился несколькими опытами «геркулесовской силы». В заключение спектакля портной протанцевал французскую кадриль с полным стаканом на голове, не пролив ни капельки.

«Отличная лавочка, лучше требовать нельзя, — заключил Саввушка, немного навеселе: — коли идешь сюда, так уж мое почтение, оставляй горе за порогом, а кручину пускай на ветер. И народ какой разухабистый — разлюли! Только, я думаю, насчет кулака-то не стойки», — рассуждал он, искренне желая, чтобы завязалась какая-нибудь потасовка, по которой можно было бы судить о физической силе современных портных. Но, к прискорбию его, потасовка не состоялась, и портные продолжали мирно веселиться. «Нет, у нас водилось не так, не то было, без синяков ни одна попойка не кончалась», — продолжал думать он и мысленно перенесся во времена своей молодости. Не цветущей прошла она, забубенная, нечем помянуть ее добром; да сердце-то было какое, тоже кое-что чувствовало; его-то не воротишь, не забурлит кипятком горячая кровь... Эх, молодость, молодость! Прокадилась ты ни за денежку!.. И задумался Саввушка, и скло-

нил отяжелевшую голову на руку, и дал волю воспоминаниям, потому что вперед-то смотреть было нечего и не на что...

— Что пьешь один? Угости-ка стаканчиком, — проговорил вдруг чей-то голос над самым ухом его.

Саввушка поднял голову. Рядом с ним уселось какое-то существо, которое потому только можно было принять за женщину, что голова его была повязана пестрым платком, в ушах висели серьги, а с плеч спускалась полинялая красная шаль. Он вопросительно посмотрел на это существо.

— Аль не признаешь своих? — продолжала красная шаль. — Попотчуй-ка и познакомимся покороче.

— Проваливай, матушка; ищи молодца по себе. Старек я, — отвечал сквозь зубы Саввушка.

— Что ж, и старше тебя бывают. Угостишь, что ли?

Саввушка с досадой махнул рукой, и красная шаль исчезла, подарив его каким-то приветствием, которого за шумом нельзя было расслышать.

Расстроенный среди своих дум этим явлением и желая навести себя на прежнюю степень, Саввушка невольно потребовал еще бутылку. Но красная шаль не вдруг вышла у него из ума и расшевелила не одну мысль. «Ведь тоже была молодая, — думал он, — может быть, и собой не дурна, наряжалась барышней, в шляпках щеголяла, а об этаким месте и подумать боялась... Чай, были отец с матерью, родные какие-нибудь, и замуж снаряжали. Чего ж они смотрели? А, может статься, выросла одна-одинехонька, негде было приютиться сироте... Спросить бы у ней... Не скажет. Вишь, что стала теперь: один образ человеческий, и то неполный... Отчего же это?»

Но вопрос этот остался не разрешенным; не помогли ему даже и приемы свежего напитка, — и опять забродила в голове жажда веселья, как было за несколько минут тому... Осмотрелся Саввушка кругом — портных уже не было в заведении. Место их за большим столом заняли с одной стороны трое угольников, протиравших глаза выторгованному сегодня барышу, с другой — господин, чрезвычайно упитанный, которого, не в обиду его чести и благообразию, можно было принять за олицетворенного Силена. Господин пил торжественно в молчании, как будто приносил жертву Бахусу, пыхтя и отдуваясь при каждом стакане; мужички попивали, растабарывая между собою самым задушевным образом. Беспрестанно слышались восклицания вроде следующих:

— Ванюха, брат! Ведь ты, ей-богу, тово... мотряй, не прошибись. Баба-то больно занозистая!

— Дядя Антон, и не говори; нешто я лиходей себе?

— Слышь, голова: поцелуемся. Вот-те Христос, как я тебя люблю! Право слово!..

За откровенною беседою последовали усердные лобызания, и дружеский союз был скреплен новою парюю пива. Потом все трое затаили что есть мочи самую раскатистую песню. Это умилительное зрелище изъятий дружбы приятно заняло взволнованного Саввушку.

Место упитанного господина скоро занял какой-то человек с изношенною наружностью, неизвестно какого звания, сомнительных лет и в неопределенной одежде, которую нельзя было назвать ни сюртуком, ни халатом, ни чуйкой, ни пальто: до того была искажена она лохмотьями. Охриплым голосом потребовал он себе стопку пива и трубку табаку.

— А деньги есть? — против обыкновения и не очень вежливо спросил служитель.

— Как ты смеешь мне это говорить? — гневно возразил посетитель. — Ты подай, что приказывают, а не рассуждай.

— Так не подам же, — решительно произнес мальчишка. — Знаем мы тебя: на даровщинку любишь. Покажи деньги, и подам.

Вероятно, зная по опыту, что дальнейшая настойчивость будет бесполезна, неопределенный человек разжал кулак, в котором скрывалось несколько серебряной мелочи и медных денег, и с гордостью показал их служителю-скептику.

— А, видно, месячное получил, — произнес этот последний, тряхнул кудрями, и через минуту желанная стопка вместе с трубкою явилась к услугам гостя.

Залпом осушив стопку и жадно затянувшись табаком, неопределенный человек начал считать свою казну и распределять бюджет предполагаемых расходов: «Хозяйке полтинник, за подметки три гривенника, жилетку выкупить... это всего целковый с пяточком; на баню, хлеба два фунта, селедку, шкалик... Э, хватит на все; а там даст бог день, даст и пищу».

— Эй, человек! — закричал он повелительным голосом, который, может быть, очень шел к нему когда-то, а теперь был театральной выходкой, вызывавшей, впрочем, не смех, а грустную улыбку. — Челаэк! Дай мне, братец, еще стопку и получи деньги за две.

Подбежавший мальчик с комическою вежливостью спросил:

— Что прикажете, сударь, ваше благородие?

Неопределенный господин повторил свое требование, прибавив:

— Да трубку Жукова!

— Жукова нет.

— Как нет?

— Так. На всех проходящих и Маслова не напасешься. Жукова-то стоит копейку серебром.

— На, возьми деньги и не ори, только дай мне Жукова, настоящего. Слышишь?

— Вишь как разгулялся попрошайка! — проворчал мальчишка, удаляясь.

В это время мимо неопределенного господина проходила какая-то голубая шаль.

— Дуня, не хочешь ли выпить? — сказал он ей так ласково, как позволял его неприветливый голос.

Она небрежно взглянула сперва на господина, потом на скудное угощение, стоявшее перед ним, и еще небрежнее отвечала:

— Что пить-то? Самому облизнуться нечем! — и пошла дальше.

Саввушка покачал головой и задумался. «Видно, что жил прежде на благородную ногу, совсем другой был человек, и хороший, может быть, человек. А теперь всякий щенок помыкает тобой как мочалкой. Думаете, не понимает он? Нет, все понимает; да что станешь делать-то? Выпьешь с горя. А завтра хлеба нет, руку протягивать ступай. Да, не в осуждение будь сказано. Все мы транжирим. Правда, что трутнем жить не годится. Шел бы куда-нибудь в писаря или к какой ни на есть должности, все бы имел себе кусок хлеба, сыт и одет был бы завсегда, не ходил бы в этих лохмотьях. Жаль человека... Да ведь и то надо взять в рассуждение: забыл он стыд и совесть, упал в грязь, — так и поднять его никто не хочет, всякий стыдится с ним компанию иметь. А что бы сказать ему доброе слово: «Вот, дескать, ты заблудился, замарал свою честь и скоро сгибнешь, как капустный червь; дай, дескать, выведу я тебя на истинный путь, на прямую дорогу, помогу тебе по-христиански, а ты помолись за меня богу. Читал, дескать, ты о блудном сыне? Покайся же. никто как не бог». Ведь из мертвых воскресил бы погибшего человека, а себе заживо приготовил место в раю. Да! Что и говорить! Добрые люди, знать, нынче повывелись. Всякому лишь до себя, своя печаль больна, а чужое горе легко и слезинки для него жаль. Охо-хо-хо! То ли дело наша трудовая копейка — любезная вещь! Профуфырился сегодня, так завтра и зубы на полку, и работай до поту лица, неделей наверстывай дневной прогул.. Да кусок хлеба все-таки есть, пока бог не отнял рук. Вот мужички-то пируют: известно, дома годилась бы полтина-другая; да ведь отчего же не поотважить себя, не разделить времени с хорошим человеком?»

И полный охоты высказать вслух свои мысли, обменять-

ся с кем-нибудь изъявлениями дружбы, Саввушка двинулся было к мужичкам, в намерении разделить с ними компанию; но тотчас же остановился. Миротлюбивая дотолѣ беседа угольников неожиданно приняла воинственный характер: один из них, захмелев порядком, порывался выместить на своем товарище какую-то давнюю обиду; тот, защищая свое лицо и особенно бороду от его порывов, отмахивался кулаками и грозил своротить салазки зачинщику ссоры, а третий разнимал бойцов.

— Ах, галманы! — с негодованием произнес Саввушка. — И напиться-то как следует не умеют.

Но доброе начало взяло верх в междоусобной брани друзей. При посредстве буфетчика, который не позволял, чтобы в его заведении происходили «бесчинства и дебоширства», они помирились, запили мировую и, схватившись все трое рука с рукой, чинно убрались из заведения, затянув на походе: «Вот мчится тройка удалая».

Таким образом это происшествие кончилось счастливо, и Саввушка, в знак своего удовольствия, решился разориться еще на бутылку: «Куда ни шла! Не всякий день пируешь: в кой-ста веки пришлось» — говорил он сам себе для успокоения совести, которая шептала, что довольно и пора бы идти домой.

Между тем посетители заведения непрерывно менялись; почти каждую минуту входили и уходили новые лица, и рассмотреть их всех недостало бы ничьих глаз; песни не умолкали, шум не уменьшался, веселье росло разлитым морем. Чувствовал Саввушка, что и его как будто подмывает отколоть какую-нибудь штуку — песню ли затянуть, или пройти трепака так, чтобы все суставчики заговорили. «Да ведь стыдно будет, если на старости лет осрамишься; и куры засмеют. Так не осрамлюсь же, пройду таким козырем, что наподи!» — решительно подумал подгулявший Саввушка и приготовился было стать в пару с одним сапожником, который «дробь» отхватывал так, что стекла дрожали, как вдруг в заведение — не вошел, а влетел молодец-молодцом красивый парень в щеголеватом полукафтаны, перетянутый цветным платком, в шапочке мурмолке набекрень, с гармонией в руках, — влетел с присвистом, напевая «камаринского». Следом за ним ввалился лихач-извозчик.

— Гуляка приехал! — пронесся шепот по полпивной, и на минуту все приутихло, с любопытством обратив глаза на нового гостя.

Нисколько не смущаясь этим вниманием и считая его, по-видимому, заслуженным, молодчик сел за стол (извозчик рядом с ним) и на всю лавочку крикнул:

— Эй, пива!

— А, Феденьке наше почтение! — радостно сказал подбежавший буфетчик. — Как поживаешь?

— Живем, не мотаем, добрых людей уважаем, и денежки у нас водятся, — отвечал молодчик. — Пива давай, Михал Михалыч, целую дюжину разом ставь сюда! Да смотри, чтоб не «сливки»...

— Помилуйте-с, как можно. Вы посмотрите, что я подаю: просто мадерца.

— Знаю я твою мадерцу — всего семь верст до нее не доехала. Ты дай белого, Тарусинского.

— Сию минуточку-с. Алексей, живо!

И роща бутылок, по живописному выражению буфетчика, не замедлила занять стол.

Попойка началась. Молодчик исправно пил сам и потчевал извозчика.

— Смотри же, — говорил он лихачу — поедем так, чтоб с градом было, знаешь, как я люблю.

— Сказал, что заслужу, так уж заслужу; друга моего Феденьку прокачу так, что душа в пятки уйдет, — отвечал извозчик, затягивая песню под пискливые звуки гармонии, на которой не переставал наигрывать молодчик.

Буфетчик снова подошел к гостю-кутиле.

— Не попотчевать ли сигарочкой? — спросил он у Феденьки.

— Давай, Михал Михалыч, давай, побарствуем. Да выпей стопку!

— Теперь нельзя-с дело есть.

— Пей, говорят тебе, не то оболью. Знаешь меня? (Буфетчик выпил с поклоном, а Феденька закурил зловонную сигару, как истый джентльмен.) Гулять так гулять. Закучу нынче — помнишь, как намедни? Еще лучше будет, жару подбавим, лишь бы лафа не отошла. Знаешь, какую штуку мы с Васькой строим? — Здесь Феденька начал шептать на ухо буфетчику, который, слушая его, ухмылялся, поглаживал бороду и поддакивал: «тэк-с, понимаем-с!» — Коли наша возьмет — ух! тогда всю Старую избу пивом оболью. Гуляй! «Ты зачем, зачем, мальчишка, с своей родины бежал»... Пей, извозчик!.. «Никого ты не спросился, кроме сердца своего». Наливай еще! Чих-чох-чебурах! чибирики-чок-чибири! комарики-мухи-комары!..

И, не вставая с места, Феденька начал приплясывать и повертывать плечами.

Красная шаль, голубая шаль и еще какой-то пестрый платок не замедлили подойти к Феденьке с приветствиями. Бутылки стали осушаться мигом. «Жизнь для нас копейка!» —

кричал Феденька и требовал дюжину за дюжиной. Знакомый и незнакомый могли без церемонии пользоваться его угощением, и охотников нашлось немало. Пир пошел горой.

Удаль Феденьки отбила у Саввушки охоту выкинуть какую-нибудь штуку. «Вишь, какая колывань пошла, — сказал он сам себе. — тебе ли, старому дураку, соваться туда! Молоденек паренек, а с душком Кабы в руки его, да в ежовые, выколотить из него пыль, да выютюжить его хорошенько, — золото вышел бы, а не малый. Раненько художеством занялся — проку не будет; разве под красную шапку попадет, там вышколят. Вишь, как денежками пошвыривает — что твой батюшкин сынок. Знать, линия такая идет. А и то сказать: ты что за судья, ценишь и пересцениваешь всех? На себя-то погляди, на свою образину что, хорош? Сказано: не осуждай. Еще справедливо сказано, что дважды глуп бывает человек — стар да мал. Не здесь бы следовало сидеть тебе, Савка, а дома; не повесничаньем заниматься, а разговорами с хорошими людьми. Вот кого надобно бы держаться, вон твоя компания — видишь?»

Последние слова Саввушки относились к старику, как лунь седому, с небольшой бородкой, одетому в изношенную чуйку, который, опираясь на палку, вошел в заведение «Видно, устал, дедушка, захотел прохладиться что ж, пускай выкушает во здравие». Но старик, медленно обойдя столы, занятые пирующими, не присел нигде и, наконец, подошел к тому, где сидел Саввушка.

— Подай, добрый человек, старику, Христа ради, — сказал он.

С участием посмотрел на него Саввушка — и невольно вскрикнул от изумления.

— Батюшка, Антип Егорыч, какими это судьбами привел вас бог?

Старик показал на ухо.

— Не слышу, — проговорил он. — Копеечку сдачи, что ли, надобно?

Саввушка громко повторил свой вопрос. Старик окинул его подозрительным взглядом.

— Да, — отвечал он, — я Антип Егоров. Почем же ты меня знаешь?

— Как же, сударь: я сколько раз и в доме у вас бывал. Помните, как женился Григорий Антипыч, ваш сынок...

— Гришка, разбойник?.. Так ты, верно, пьянствовал с ним вместе, обирал его, пил мою кровь?.. — вскричал старик с нескрываемым гневом.

— Куда нам знаться с такими особами! Что вы, Антип Егорыч. Ведь я портным мастерством занимаюсь. Наш хо-

зяин шил тогда на вашего сынка платье: я и бывал у вас в доме по этому случаю.

— А! Да... помню, — отвечал старик, вдруг успокоившись.

— Как же это, батюшка Антип Егорыч? Наказанье разве какое было на вас, божьим попусщением, пожар или другое какое несчастье?

— Нет, не пожар...

— По торговле разве что?..

— Торговля ничего, шла себе, как должно. Гришку-то ты знал? Он сгубил весь свой род, опозорил мою старость! Не родное детище, а змею вскормил я на своей груди! Бог ему судья... Все примерли — и жена, и дочь, и внучка.. один я за грехи остался мыкаться по свету.. Мается и он, ворог, да ему не слаще моего: где день, где ночь, дневного пропитания не имеет. А меня, слава богу, добрые люди кормят, мне не стыдно просить; а ему никто не подаст... Подай же, добрый человек, старику, Христа ради!

— Ах, Антип Егорыч, сударь ты мой... как это... истинно жалостно. Да не побрезгуйте, присядьте со мной, выкушайте за компанию стаканчик, если угодно, — в замешательстве сказал Саввушка, стыдясь подать старику убогую милостыню.

— Нет, я не пью, я милостыню прошу. Коли нет, бог с тобой! — отвечал старик и побрел далее.

Саввушка хотел было остановить его, но пока собирался с словами, старик уже был за дверьми.

Тяжелые мысли опять зароились в голове Саввушки. «Вот она, жизнь-то наша, какая! Что было и что стало!.. Диви бы наш брат, маленький человек! Туз-то какой, можно сказать, первостатейный был... гремел по Москве: Пшенишников, Пшенишников! Дом один чего стоил, лавок сколько было. И вдруг в таком убожестве, по миру, и от кого же? — от родного сына! Божья воля. Ох, грехи, грехи наши тяжкие! Был слух, что нажил Антип Егорыч капитал не одним умом-разумом; да ведь чужая душа темна. И где же видано, чтобы разбогател человек, живучи по совести? Да пусть все так: от сына-то терпеть легко ли отцовскому сердцу?..»

И под влиянием этих грустных мыслей еще скучнее стало Саввушке, и совершенно в ином виде явилось окружавшее его шумное веселье; дикой разноголосицей показались разгульные песни, безобразными чудаками все пирующие, — и еще более сделался он расположен резонерствовать в назидаение самому себе. «Вот ты рассиживаешь тут, прохлаждаешься, барствуешь; а старик, что в отцы годился бы тебе, скитается по миру. Сколько ты пропил? Сочти-ка. Четыре

бутылки... выходит три гривенника, с лишком рубль. А на рубль можно бы два дня прожить, а старик пропитался бы и больше. Рубль! А он собирает по копеечкам, да за всякую два раза поклонится, да хорошо как кто подаст, а то и так отойдет. Ведь ты вот не подал... ей-богу, совестно было. А сидеть здесь не совестно? Эх, ты!.. Ступай-ка, Саввушка, домой. Ну, марш! Ах, канальство: встать не могу! Вот оно, пивцо-то, как подкузьмило... Ну! Нет, не идет, корпус-то ослаб. Эх ты, Саввушка, Саввушка, где твоя славушка? В пивной сидишь, трубочки не хочешь ли?» И Саввушка не церемонился уже высказывать мысли свои вслух, хотя большею частью они были такого рода, что им приличнее бы не выходить на свет.

Испытав еще два раза сильное сопротивление со стороны непослушных своих членов, которые отказывались действовать, он решился ждать, пока возвратится к ним должное повиновение, и погрузился в какую-то полудремоту. Внушающая доверие, простодушная наружность его не могла подать буфетчику никаких подозрений касательно расплаты, и Савушку не тревожили вопросами о деньгах. Кругом его, между тем, по-прежнему все волновалось весельем, шумело и пило; но он как будто не слышал и не видал ничего; стало смеркаться, а он продолжал сидеть как прикованный к месту, точно кряж, изредка шевелил губами, неясно бормоча, да думал, о чем — неизвестно, может быть, о противниках, стоявших перед ним на столе и сразивших его вконец.

Около сумерек желание утолить жажду и заработать что-нибудь привлекло в заведение и шарманщика. Сыграв лучшую пьесу своего репертуара, он с прискорбием увидел, что желающих слушать его музыку очень мало, а платить за нее еще меньше. Напрасно старался он прельстить кого-нибудь разнообразием своего репертуара, заключавшего в себе, по его словам, песни немецкие и русские, и всякие, и даже французскую кадрили, напрасно зазывал публику прибаутками — «пивца покушать, варганчика послушать»; напрасно ставлял своего помощника, красивого мальчика лет двенадцати, петь «Лучинушку» и «Соловья»: посетители Старой избы — одни отвечали, что сами споют лучше всякого варгана, другие требовали, чтобы мальчишка представление какое-нибудь показал, а иные предлагали по копейке серебром за песню — цена, приводившая шарманщика в справедливое негодование. Обойдя почти всех гостей без малейшей выручки для своего кармана, злополучный шарманщик заметил, наконец, и Савушку, продолжавшего сидеть с поникшей головой. Четыре бутылки, красовавшиеся на столе нашего портного, ручались ему за состоятельность кошелька этого гостя, вопре-

ки скромной одежде, и он подошел к Саввушке с предложением своих услуг.

— Что задумался, купец? Прикажи-ка песенку сыграть.

— А? — проговорил Саввушка, очнувшись из полубытья.

— Песенку, купец, закажи, веселее будет. Всякие есть: «Тройка удалая», «Ты не поверишь», «Соловей», «Барыня», полька, валец.. да вот реестр, — и шарманщик подал Саввушке засаленный клочок бумаги, на котором был исчислен список его пьес.

Саввушка посоловелыми глазами посмотрел на каракульки, испещрявшие реестр, и бессознательно пробормотал что-то, но догадливый шарманщик составил из этих неясных звуков слова: ««Барыню», поживей? Извольте!» — и, придвинув ближе свой орган, завертел на нем.

Пронзительно-веселые звуки шарманки вывели Саввушку из забытья, а новый прием напитка возвратил ему прежнюю бодрость, так что через несколько минут он уже прищелкивал и притопывал, а потом заказал новую бутылку. Шарманщик, слылавший, что богатого с тароватым не распознаешь, удвоил усердие и предложил Саввушке послушать, как мальчишка откалывает песни.

— Пусть споет, послушаем его удали, — весело отвечал Саввушка.

Мальчишка начал играть на шарманке и запел... Разгулявшийся Саввушка сперва тихонько подтягивал ему, потом шибче и шибче и, наконец, хватил во весь голос, но так не в лад, что мальчик, который посмеивался во все время разгула Саввушки, не вытерпел, залился звонким смехом и бросился к певцу.

— Вишь, как раскуражился, старый! — сказал он, продолжая смеяться. — Что смотришь? Иль не узнал?

Саввушка был озадачен и не без замешательства проговорил:

— То есть как же, брат, ты... тово... а?

— Знаю-то тебя? Эх, ты! Да я на твоих крестинах был, Саввушка ты Саввич! — И мальчик захохотал во все горло.

— Ну, голубчик, Саввушка-то я Саввушка, да как ты смеешь...

В ответ на это замечание мальчик шепнул на ухо Саввушке несколько слов. Надо было видеть, что сделалось тогда с портным: как будто уколотый, вскочил он, схватил мальчика за руку и притащил к себе с такою силою, что шарманщик бросился было на помощь к своему товарищу.

— Правду ли ты говоришь? — произнес Саввушка дрожащим голосом, всматриваясь в мальчика с таким внима-

нием, как будто хотел снять с него портрет. — Или нет, пойдём отсюда... я узнаю... Ах, господи, господи! Вот радость-то послал!.. Взгляни-ка на меня глазенками, да не смейся только... вот так. Да, это ты! И мое сердце не признало тебя сразу? Ах, я пьяница!

В самом деле, было от чего изумиться Саввушке: в передетом мальчике он узнал Сашу, свою милую названую дочку, которую судьба отняла у него из глаз, но не могла изгнать из памяти сердца.

Но как сильно было его изумление, как велика была его радость, не без примеси, однако, горя, так равнодушною к этой неожиданной встрече казалась Саша, не перестававшая улыбаться даже и тогда, как ее старый друг, со слезами на глазах, принялся целовать ее, называя своей козочкой, милочкой.

Все это произошло в несколько мгновений, и в общем шуме почти никто, кроме шарманщика, не обратил особенного внимания на поразительную сцену, так что Саввушка свободно мог расспрашивать свою любимицу. А спрашивать было о чем... Но вопросы путались и шли не по порядку.

— Голубушка моя! Зачем же срам такой ты на себя взяла?

— Какой? Что ты? — со смехом отвечала Саша, уклоняясь от обниманий Саввушки, который, по старой привычке, хотел усадить ее к себе на колени.

— Да платье-то? Разве это хорошо — мальчишкой одета! Разве нет у тебя платица? Ведь ты не маленькая; слава богу, я чай, четырнадцать лет минуло.

— Вот еще что выдумал! Платьев у меня в год не переносишь, да так лучше, и хозяин велит.

— Какой хозяин? Нешто ты...

— Видишь, что с шарманкой хожу. Мне и жалованье дают — семь рублей в месяц, окромя платья. Хлеб тоже хозяйский.

— И пища хорошая?

— Ну, с голода не уморят, сытою не накормят. Чай по утрам бывает, а вечером как придется. Да все-таки во сто раз лучше, чем у тетки!

— Да-да-да! Тетка, Арина Агафоновна, кажется. И забыл спросить. Отчего же ты не жила у ней, а? Прихожу к вам раз, прихожу два, узнать, что за напасть случилась с тобой, — она и говорить со мной не хочет; бранит тебя и меня тут же. «Ты, говорит, ее сманил. Она, говорит, неблагодарная, бежала от меня, верно по матушке пошла». Как же это, Саша, а?

— Неблагодарная! Позвольте спросить, за что же мне

благодарить-то ее было, руки, что ли, у ней целовать? — отвечала Саша с досадою. — Я и в лавочку поди, я и воды принеси, самовар поставь — все Сашка да Сашка, а она знай себе растягивается до осьми часов, барская барыня! А потом бранить меня примется, чаю опивки даст, сахару один кусочек. Бить вздумала... к столу привязала однажды, змея чукотская! Терпеть, что ли, мне было? Другая бы на моем месте дала ей знать. Я взяла да ушла. Плевать мне на ее кусок, в горле он останавливается, попрекала беспрестанно.

— Так ты бы ко мне, дурочка, пришла. К шарманщикам-то как попала?

— Э, добрые люди показали. Мимо нас они, шарманщики-то, почти всякий день ходили. Ведь не я одна из девушек: нас три у хозяина. Он, как уговорился со мной, так и послал Василья, нашего работника, к тетке за билетом; она сначала было заупрямилась, в гору пошла, да шиш взяла. Только и было. Вот уж скоро год, как хожу с органом.

— А потом-то что будет с тобой? Возьми ты это в голову, птичка глупенькая! Хорошо ли тебе будет, как войдешь в полный разум, станешь настоящей девушкой! От хороших людей ты отвыкнешь, и замуж никто не возьмет тебя. Неразумная ты головка!

— Возьмут, как захотят. Нешто ты думаешь, что я век буду ходить с органом? Как же, держи карман! Что тут выживешь? Весело только, да и то как выручка хороша, хозяин не сердится. Пива я не пью.. медку стаканчик разве иногда. Зато случается, заставит играть гость такой противный, старый, старше тебя, да еще целоваться лезет! Тьфу! Нет, я хочу быть богатой и буду. Намедни один барин сказал мне, что через год, если захочу, то непременно разбогатею, в карете буду ездить. О, тогда я знаю, как жить! Сама себе буду госпожа, кухарку найму, сошью лисий салоп, шляпу с пером.

— Дочка, Сашурочка! Перекрестись, опомнись, что ты говоришь!

— Что ей креститься? Она и так крещеная, — вмешался в разговор шарманщик. — Девка будет не промах, не распустил глаз. Зачем у ней отнимать счастье? Вон, Фенька-то наша — Федосьей Алексеевной теперь величается, в шелковых платьях щеголяет, а на нашего брата, даром что вместе жила, и глядеть не хочет, словно из милости выбросит гривенник за песню. А Надежда, с органом же ходила, на лицо-то почище ее была, да сглуповала сама: вышла замуж за столяра, по-голубиному хотела прожить. Теперь, может быть, и кается, только близок локоть, да не укусишь его. Что, понимаешь эти закорючки?

Саввушка грустно покачал головой и отвечал:

— Так, любезный, да по делу-то, по совести, по закону божиему не так. И через золото льют слезы, и с коркой хлеба бывают счастливы. Честь на полу не подымешь! Вон, видишь молодиц-то, — и Саввушка показал на красную шаль, сидевшую с несколькими подругами за ближним столом, — спроси-ка у них, куда девалась их молодость и краса? Не время съело ее, а гульба съела в какие-нибудь пять лет. Они каются теперь, они клянут себя, а не тех, кого пронес бог. Душу неповинную грех губить, пуще смертоубийства, тяжкий грех; я чай, слыхал, что говорится в церкви... Бог на тебе спросит.

— Я что? Я работник — это дело хозяйское, — возразил шарманщик, немного смущенный словами Саввушки, которые неприятно зазвучали у него в ушах. — Известно, честь не что другое, особенно для ихней сестры... Да ты вот понянчись-ка с этой штукой, с органом-то: ведь его только что за непочтение родителей таскать — с лишком два пуда. Как околесишь с ним, с этими горячими пирогами-то, пол-Москвы, да разломит тебя всего, так запоешь не то. Слыхали мы сами эту мораль-то, басни Крылова читали. Да что наша честь, коли нечего есть! Так-то, почтеннейший! — И, убежденный в силе своих доводов, шарманщик потрепал Саввушку по плечу.

— А кто твой хозяин? — спросил Саввушка, немного помолчав.

— Илья Исаич Прибылов. У него двадцать органов.

— Женат он?

— Есть хозяйка.

— И деток бог дал?

— Как же! Дочь невеста, а мальчишка пешком под стол ходит.

— Что сказал бы он, если б и его дочь попала на такую же линию, себя потеряла? Небось, облилось бы кровью родительское сердце. А чужим детищем легко помыкать; не он его родил, не он за ним ходил. Да воздаст ему бог! Не смейся, брат, чужой сестре — своя в девках.

— Да ты что за Филипп сбоку прилип, всякому проповеди читаешь? Мне-то что за тоска слушать твою философию? Ты иди к нему, так он тебя шампанским — чем ворота запирают — угостит. А мне поднеси-ка стаканчик пивца, и будешь сват, новая родня!

— Изволь, брат, пей, сколько хочешь. Только, пожалуйста, поговори своему хозяину об этом деле, насчет Саши-то. Она, мол, сиротинка безродная, ни отца, ни матери нет у нее; некому поставить ее на ум-разум; не доводите, мол, ее до гибели, отпустите в заблаговременье к старику — хоть дя-

дей назови меня; он, мол, любит ее пуще родной дочери, а вам, мол, всякое уважение будет оказывать: случись какая надобность, сшить даром сошью, ей-богу, сошью, закабалу ему себя. Поговори, голубчик: тебе угощение будет; что хочешь, поставлю, только лишь выручи мне дочку!

— Чудак ты, право, какой! С какой же стати буду я говорить? Ведь она без малого сорок рублей должна!

— Это за что же?

— Известно, забрала на книжку; только как поступила, вспрыски всем нам сделала, важные вспрыски; потом костюм себе захотела сшить — вот что на ней. Насчет этого, то есть долгу-то, будь спокоен; наш хозяин копейки лишней не припишет.

— Да будет тебе, Петруша, толковать с дядей, — смеясь заметила Саша. — Что он мне за дядя, зачем я пойду к нему? Теперь мне и здесь хорошо, а через год, как буду богата, тогда и с органом перестану ходить.

— Саша, милочка, ангельская душка! — чуть не плача, заговорил Саввушка. — Пожалей хоть меня-то! Вспомни, как умирала твоя маменька, царство ей небесное! Вспомни, что она тебе наказывала, как велела себя вести, кому препоручила тебя, крошку... Сберегла ли ты ее благословение, призывала ли на молитве Божию мать? Сашенька, ангелок ты мой! Я на колени стану перед тобою, ручки твои расцелую, ножки слезами оболую. Сними с меня тяжкий грех, пойдём отсюда. Салопчик тебе какой хочешь куплю. Сашуточка! Маменьку-то свою пожалей: плачет она теперь, тяжело ее душе, ноет ее сердечко и в могиле.

Грустное чувство мелькнуло на лице Саши при имени матери, слезинка блеснула в глазах, потупила она головку, задумалась — и под влиянием первого порыва, казалось, готова была броситься к Саввушке. Но вдруг один гость повелительно крикнул: «Эй, шарманка, сюда!» — и, повинувшись привычке, Саша побежала на зов.

Саввушка остался один, с невысохшими слезами, с тяжелым гнетом на сердце и еще более тяжелыми раздумьями. Понимал он, что в чистую душу его любимицы запало уже довольно злых семян, что не легко будет вырвать эти семена и навести ее опять на прямой путь; а не сойди она с этой дороги — два шага до пропасти, которой и не заметить ей, когда глаза затуманит блеск золота. Но ему ли взяться за ее обращение, и чем он начнет это обращение, где возьмет сил для борьбы и умения выдержать ее?.. А просьбы умирающей матери, которые, кажется, и теперь еще звучат в ушах; а обещания, что дал он ей; а собственная любовь к несчастной малютке, соединенная с воспоминанием о своей родной

дочери; а добрые люди; а бог... Разве мало этого? Попробуй-ся, Саввушка!

Скоро подошли к нему шарманщик и Саша, собиравшиеся уже в путь

— Ну, купец, — сказал шарманщик, — нам пора и ко дворам. Пожалуй-ка за песни хоть пятачок.

— Прощай, дядя, — промолвила Саша, — давай я тебя поцелую. Может, не скоро увидимся. А через год приходи ко мне в гости; увидишь, как я сдержу свое слово.

И она несколько раз поцеловала бывшего товарища в своих детских играх, который молча смотрел на нее во все глаза и только, когда она пошла к дверям, мог промолвить едва слышно: «Сашенька, пожалей меня! Вспомни свою матушку родную». А потом закрыл лицо руками, заплакал, как ребенок, да и просидел в таком положении, верно, не мало времени, потому что, когда облегчилась тоска сердца слезами и утомленные глаза потребовали освежения, в лавочке не было уже почти никого. Лишь только двое русаков скромно допивали остатки своего пиршества; служители дремали; нагорелые свечи на столах едва освещали на аршин от себя; тишина настала такая, что слышно было, как буфетчик, постукивая на счетах и гремя деньгами, выкладывал приход с расходом, — а маятник мерными шагами маршировал из стороны в сторону. Пришла заведению пора и запирается. Саввушку потревожили.

— Захмелел, верно, старина? — сказал ему буфетчик, окончив счета.

Саввушка очнулся, протер глаза и спросил:

— А где тот... как бишь его... шарманщик-то?

— Все давным-давно ушли. Пора и тебе. Ступай-ка с богом, а завтра приходи опохмеляться Ну, вставай же. Эх как раскис! Приподнять, что ли?

— Нет, я так, — отвечал Саввушка, расплатился и побрел..

— Известно так, — ворчал буфетчик по уходе его. — Вишь, мудреная штука-то какая этот хмель: у иного дерет голову, в задор лезет, а другого делает смирнее барана; слезьми разливается Ох, господи, господи! Запирайте, ребята!

Всю ночь Саввушка почти не сводил глаз. Не хмель бродил у него в голове, а думы, одна другой беспокойнее. Едва забывался он сном, как чудилось ему, что растворяется дверь и Саша зовет его к больной матери. «Не покинь моей сиротки!» — говорит ему умирающая слабым голосом. «Не покину, видит бог, не покину», — отвечал Саввушка в полузабытьи — и пробуждался, и чувствовал, что дрожь пробегает по нему, а горячая слеза катится по щеке. Неотступные виде-

ния живо возобновили в его памяти все случившееся за пять лет и заставили сердце искать успокоения в молитве, потому что ум не придумывал ничего.

Рассвет застал Саввушку одетым и готовым идти. «Сорок рублей, — рассчитывал бедный портной, — а у меня сколько всей казны? И четырех рублей не наберется. Если б не пьянствовал вчера, было бы шесть, да все мало, все не хватает еще много. Продать нечего, заложить и подавно. Хоть бы чужое платье случилось какое-нибудь, рискнул бы. Да и будь деньги, что я с ними сделаю. Приду к хозяину: «Что тебе?» — спросит. Вот так и так явите, сударь вы мой, божескую милость. — «Да ты что за зверь, с какой стати суешься, где тебя не спрашивают? Опекун, что ли, ты иль родня какая; так покажи мне закон. Я с теткой имел дело. Девочка живет у нас не беспашпортная» Что я отвечу ему на это? — Сжальтесь, скажу, над сиротой; покойная мать ее почти погибла от того, что несла такую же участь, на своей воле жила. Ну, а он? «Дурак ты, скажет, братец, как поведешь себя, такое и счастье себе найдешь. Девчонка в четырнадцать лет получает по семи рублей на месяц, где, в каком мастерстве, выработает она больше? Ведь у нас не воду возит она, работа не трудная. В портнихи, что ли, отдашь ее али в цветочницы; и там избалуется, коли захочет; всякие бывают, во всяком чину...» — Да девчонка, мол, смотрит очень востро — «Нам, скажет, таких и надобно. Вот тебе бог, а вон двери». И пойдешь как несолоно хлебал. Да положим, что и согласится хозяин, так согласится ли она? Куда я ее дену? Ведь игрушками не займешь ее, за книжку не засадишь. Глаза да глаза надо смотреть за ней. Так-то и выходит, что, куда ни кинь, все клин. Вот где скончалась покойница и сдала мне на руки Сашу — царство ей небесное! — и Саввушка набожно перекрестился, проходя мимо светелки, где жил когда-то золотарь. — Помолись за меня, помоги мне выручить твое детище, тронь ее сердце непокорное, наставь на разум да и благослови ее жить так, чтобы радовались на нее ангелы, и душе твоей была отрада! .»

Последние мысли успокоили Саввушку, и он пошел почти с уверенностью в успехе своего предприятия — прямо в Старую избу. Но не похмелье звало его туда. Несмотря на раннее утро, приют веселья был уже отперт, но посетителей не являлось еще никого. Саввушку приветствовали как починного покупателя.

— Бутылочку, что ли? — спросил его служитель.

— Нет, брат, — отвечал Саввушка. — я выпью после. А скажи, сделай милость, дружище, знаешь ты шарманщика, что играл здесь вчера вечером?

— Как не знать. Он бывает у нас почти каждый день. Вы, кажись, повздорили с ним маленько?

— Нет, зачем вздорить; так был разговор. Ведь он, я слышал, у Ильи Исаева живет?

— Ну, да. Отсюда недалеко — в Безыменном переулке

— А что, приятель, хороший человек этот Илья Исаев?

— Да такой хороший, что лучше требовать нельзя. Перец горошчатый. Пять раз смеряет, один отрежет. С походцем, что называется, пальца ему в рот не клади — разом откусит. Образина-то какая! Настоящая пряничная форма. Даст шкалик на похмелье, а запишет косушку.

Саввушка крякнул.

— Подать, что ли, бутылочку? Сейчас только из ледника, — настойчиво повторил слугитель.

— Спасибо, брат... я после... теперь так. Прощай, голубчик!

Собрав эти неутешительные сведения о хозяине шарманщиков, Саввушка раздумал идти к нему, потому что предвидел неуспех мирных переговоров с таким человеком, а отправился в город.

Лавки городские были еще заперты; в затворенных рядах расхаживали одни сторожа, да слышалось бряканье цепей огромных псов. С томительным чувством дождался Саввушка восьми часов, когда мало-помалу начали сходиться сидельцы; потом стали съезжаться на тучных рысаках и сами хозяева; наконец, замелькали и покупатели... С трепещущим сердцем вошел он в одну знакомую лавку, на хозяина которой работал уже несколько лет.

— С добрым утром и наше наиглубочайшее почтение, сударь Василий Пантелеевич, — сказал он с низким поклоном купцу, который посылал сидельца за горячею водою для чаю. — Все ли в добром здоровье, батюшка?

— А, живая душа на костылях! — отозвался Василий Пантелеевич, приземистый мужчина довольно благообразной наружности, с живыми движениями и скорою речью. — А я уж собирался в поминанье тебя записать. Что, прыгаешь?

— Вашими молитвами, сударь, вашими. Я к вам, сударь Василий Пантелеевич, с просьбою, можно сказать, всеусерднейшею, всенижайшею. Кровная нужда..

— Что, не жениться ли вздумал?

— Хе-хе-хе, сударь! Вы все такой же шутник, значит, такой же благодетель, как прежде. Женюсь я на то лето, не на это, а если угодно, дочку замуж выдать собираюсь.

— Да ведь ты, помнится мне, сказал, что она пропала вместе с матерью.

— Так точно, сударь; а это дело вот какое...

И Саввушка, не утаивая ничего, без малейших прикрас, рассказал всю историю Саши, прибавив в заключение, что для выручки несчастной его любимицы требуется сто рублей, о которых он и просит почтеннейшего благодетеля.

Василий Пантелеевич внимательно выслушал его, погладил бороду и повел такую речь:

— Пустое ты затеял, Саввушка. Девчонка-то, видно, того... с изъязном. Да ведь еще три года надо хлебом кормить ее, пока жених выищется, да и какой дурак возьмет без приданого? Из каких же доходов поведешь ты эту канитель? Теперь, касательно суммы, что ты просишь. Сто рублей не сто копеек: их на полу не подынешь и на ветер бросать не приходится. Ты думаешь, что у нас денег и куры не клюют; как же, держи карман-то. Шея одна у нас золотá, да так золотá, что и головы поднять нельзя. Ты смотришь, что в лавке товару много: а посмотри-ка в книге-то, сколько наставлено крестов, долгов-то. Уж это такое колесо заведено. Сегодня я поверю, а завтра мне отпустят на слово. А все-таки того и гляди, что вылетишь в трубу, сядешь на черный камешек... Так-то, любезный! Конечно, богачу сто рублей плюнуть стоит, а мы люди маленькие.

— Батюшка, Василий Пантелеевич, да я к вам в кабалу пойду, душу свою заложу... Расписку какую угодно возьмите... на гербовой бумаге.

— Эх, правда, что без ума голова шебала. Первый, что ли, год ты на свете живешь? Сегодня таскаешь ноги, а завтра богу душу отдал, какая же тут кабала? Документ с тебя возьму — ладно. Ну, а вдруг я банкрот, на черный-то камешек сяду: что скажет конкурс про твой документ? Дураком меня все назовут; в благодетели, скажут, полез, а долгов не платил. Вот оно что!.. Да брось ты, сделай милость, эту блажь. Девчонке, знать, на роду написана такая участь. Не одна она. Мало ли их — всех не поведешь замуж.

Саввушка со слезами бросился на колени перед рассудительным Василием Пантелеевичем.

— Благодетель, не оставьте! Вам бог сторицею воздаст. На вас вся моя надежда! Не доведите меня до греха — руки на себя наложу, если не выручу моей дочки. Меня совесть замучит. Бог на мне спросит. Батюшка, Василий Пантелеевич! У вас свои детки есть, хоть для них-то помогите!

— Нет, никак не могу, — сказал он, подумав. — Времена нынче крутые. Десять рублей, так и быть, изволь.

— Некуда мне девать их, — печально отвечал Саввушка: — я не милостыни прошу у вас, а милости; заслужил бы ее... Прощения просим, Василий Пантелеевич, счастливо оставаться!

— Да постой на минутку, выпей чайку чашечку. Поразговоримся, и полегче будет и выкинешь из головы эту историю.

Саввушка с безмолвным поклоном вышел из лавки.

«Куда теперь идти? Ведь как надеялся-то: как на каменную стену! А добрый человек, нечего сказать: нищим всегда подает, и ласковый такой. Правда, сто рублей не шутка; да ведь сделай он таких дел два-три, вот и купит себе царствие небесное».

Но на что же тебе, Саввушка, сто рублей? Ты бы просил сколько следует — сорок-то, он, может быть, расщедрился бы на половину; нашелся бы другой добрый человек на столько же, и дело в шляпе.

«Толкуйте вы! Как на что? Да куда я повернусь с сорока-то рублями? Ведь это надобно отдать одному хозяину. А если он добром не возьмет, придется силой заставлять, ну, а силу-то собрать следует. Понимаете?.. Это раз. Потом: на сухой хлеб, что ли, посажу я мою Сашу? Чай, избаловалась, к сладенькому кусочку привыкла. А салопчик-то сшить на какие деньги? Я бы как куколку разодел ее — живи только, голубочка, не лезь в петлю. И выходит, что и ста-то рублей еще мало. Ну, разумеется, я, слава богу, не без рук, стал бы работать день и ночь... Ах, господи, господи! Постой, дай попытаюсь, схожу к этому барину... как бишь его... Архаулов, Владимир Петрович. Славный барин, на водку сколько раз мне давал. Когда это я шил двое брюк его людям? Да с полгода тому. Еще помню, Парфен, человек-то его, сказывал мне тогда, что они на днях невесту в лотерею разыгрывали... то есть, известно, не невесту самое, а приданое... Да, Владимир Петрович барин настоящий, знакомитый. Круг-то какой у него заведен, тузы-то к нему ездят! А дом-то — палаты! Как это давеча не пришло мне в голову!.. Ну-ка, господи, благослови!»

И Саввушка почти бегом пустился на Покровку.

Дом господина Архаулова, действительно, был барский, выстроенный для привольного житья одного семейства. Но владелец его, несмотря на то, что считал себе под сорок, оставался холостяком. Жил он, впрочем, весело и открыто, пользуясь всеми преимуществами своего одиночества, например, ежедневным выездом в клуб, правом возвращаться за полночь, участвовать в приятельских *parties de plaisirs* и тому подобным. До нас, однако, это не касается. Довольно сказать, что он был человек не без значения и не совсем дюжинный, потому что где-то числился на службе и по мере своих сил старался не отставать от века.

Под протекцией знакомых лакеев Саввушка дождался,

пока встал господин Архаулов. Разговоры с ними придали ему еще более надежды на успех просьбы. «Мало ли к нам ходит просить на бедность, — толковал Парфен, — всякие бывают — и отставные, и салопницы, и вдовы разные, и на невест... всех награждает, особенно как плакать умеют. Денег-то даст, да нотацию прочтет такую, что только держись; переберет тебя всего по косточкам, до слез тронет. Что говорить, барин первый сорт!» После полуторачасового ожидания Саввушка позван был, наконец, в кабинет доброго барина. Через какие комнаты шел он, что находилось в них, как убран был кабинет, — ничего этого не видел Саввушка, мысли его летали далеко. Но вот и сам господин Архаулов, кушающий кофе. Саввушка отвесил поклон чуть не до земли.

— Садись, любезный, — ласково сказал господин Архаулов.

Саввушка не поверил своим ушам. Господин Архаулов еще ласковее повторил приглашение.

— Помилуйте-с, ваше высококородие, сударь Владимир Петрович, как я смею Мы и постоим-с... — отвечал Саввушка

— Да ведь нам надобно толковать о деле: что же, я буду сидеть, а ты стоять. Так не годится. Садись, любезный, как тебя...

— Саввушка-с.

— А по отчеству?

— Саввич-с, да я больше Саввушка, по привычке-с...

— Ну, Саввушка Саввич, расскажи же мне, в чем твоя нужда?

Саввушка робко сел на кончик какой-то неизвестной ему мебели и начал:

— Извольте видеть, сударь, ваше высококородие, я человек маленький, портной, как извольте знать. Живу на Божедомке вот уже почти двенадцать лет; не замечен ни в каких качествах; меня все знают-с. Вместе со мною, тому лет пять, нанимал квартиру золотарь, Григорий Кузьмич, мастер своего дела отличнейший, да попивал, запоем пил, с позволения сказать. Жена у него была прекраснейшая женщина, дочка, Сашей зовут, да старик-отец, — не здесь будь сказано, — не в полном разуме. Я нанимал светелку один, а они напротив. Известно, дело соседское, друг другом займешься, ну, и знакомство вели мы между собою. Последний год перед смертью золотарь-то уж очень пил, мертвой чашей: такое, знать, было божие попущение. Анна Федоровна, жена-то его, всегда была хворая, тщедушная; а как пошла эта неприятность, и муж пьет, и дома куска хлеба нет, и в мороз трескучий надеть нечего, — так и совсем слегла. Маялась да маялась — и богу

душу отдала, царство ей небесное! До последнего часа была в полной памяти. Мужа на ту пору дома не было, три ночи к ряду не ночевал; она и призывает меня, чтоб долг христианский исполнить, и говорит, при последнем-то часе: «Не покинь, Саввушка, моей крошечки, моей Саши...», то есть дочери-то, сударь, словно чуяло что ее сердечко. И девчонка-то тут же плачет: «Не умирай, — говорит, — маменька». Меня инда жалость взяла. Я и говорю: «Бог свидетель, не покину сироты, буду ей вместо отца родного». После этого Анна Федоровна жила всего часа с три. Похоронили ее как следует. Муж, видно с горя, давай пить пуще прежнего, и скоро нашел себе не христианскую кончину — на улице подняли. Старика, отца-то его, добрые люди определили в богадельню. Сиротка-дочь осталась одна-одинехонька, без рода, без племени, без пристанища; а всего-то ей только десятый годок пошел. Что делать, куда ее приютить? «Живи, — говорю, — Сашенька, у меня; хлеба с нас будет; а там, как вырастешь, что бог даст». Чудо что была за девочка! Как поняла грамоту, рукоделья разные и все такое! Живет она у меня год, живет другой и третий на исходе и прожила бы так до совершенного возраста, копейку уже умела выработывать; да на беду приехала из Рязани ее тетка. «Пускай, — говорит, — племянница живет со мною; я остаюсь здесь в Москве». Признаться сказать, не лежало у меня к ней сердце, и на вид она была такая противная; да что делать-то: мое дело мужское, всего не доглядишь. Отпустил я Сашу и навещал ее этак с полгода. Жаловалась, что жить ей плохо, тетка очень капризна; ну, да как быть-то? Не у матушки родной. Прихожу раз, Саши нет; спрашиваю, где она. «Бежала», — говорит тетка. «Как так?» — «Бежала, — говорит, — да и все тут». — «Господи, господи! — думаю, — что же это за наказание послал ты на меня? Свою-то дочь родную я потерял и названной лишился». А я только что сшил было ей новый капотец да башмачки купил. С того времени не было никакого слуха о Саше. «Умерла, верно, сироточка моя, — думал я, — а то как бы не прийти ко мне!» Вот вчерашнего числа, сударь, ходил я к Сухаревой с кое-какими перекройками. Устал порядком, и захотелось мне отдохнуть. Зашел я, извините, сударь, ваше высокородие, в полпивную лавочку; грешный человек, выпил-таки маленько. Сижу да на народ гляжу. Вдруг — смотрю: моя Саша с шарманкой в полпивной, одета мальчиком, песни поет, а что слышит-то — впору нашему брату, мужчине. Сами извольте знать, место какое; что ни шаг, то грех да соблазн. Каково же девочке-то! Кровью облилось у меня сердце. До чего доведет ее эта жизнь, куда пропадет ее честь, как скоротает она свой век, на что погу-

бит свою молодость, за что будет терпеть такую участь!.. А ведь уж не маленькая, все понимает — четырнадцать лет дошло. Со слезами начал я уговаривать ее, чтоб бросила эту жизнь; да уж шибко забрало ее, далеко завели ее лиходеи. «Не хочу, — говорит, — богатой хочу быть». Понимаете, сударь, ваше высокородие: богатой! Какой-то злой человек нашептал ей, как делаются молоденькие девушки богатыми! Да, может быть, она и согласилась бы, уговорил бы я ее, так нельзя отойти от хозяина — много задолжала ему, а хозяин-то бестия преестественная. Вот, сударь, ваше высокородие, мое горе и моя нужда. Дочку выручить мне надо. Клятву я себе дал. Со слезами молю ваше высокородие: окажите это благорасположение. Вам слово стоит сказать. . денег не много потребуется. Я их заслужу вашей милости, по гроб жизни моей буду ваш слуга! Меня, старика, вы из мертвых воскресите и душу христианскую от смертного греха отведете. Вы благодетельствуете всем; добрые дела радуют вас каждый день. Ваше высокородие, Владимир Петрович! — И Саввушка бросился перед ним на колени.

— Встань, любезный, встань, я этого не люблю, — ласково сказал господин Архаулов, поднимая Саввушку. — Теперь ты выслушай меня. Разумеется, ты хочешь сделать доброе дело.

— Если ваша милость будет, то с божией помощью... авось...

— Так. Ну, а ведь всякое дело венчает конец, хорошо начнешь, да как кончишь, — на это надобно смотреть. Например, когда ты шел сюда, наверно, ты думал не о том только, как будешь просить меня, а какой выйдет из этого толк?

— Правду изволите говорить.

— Вот видишь ли. Значит, надобно рассмотреть, что произойдет из твоего, по-видимому, доброго дела. Скажи, что станет делать девочка, когда отойдет от хозяина?

— Да пока бы, годок-другой, пожила у меня, — много ли ей надо, да и сама кое-что заработает, хоть на башмаки себе; а потом, если бог пошлет доброго человека..

— То есть замуж надеешься отдать ее? Хорошо. Положим даже, что найдется какое-нибудь приданое. Выйдет она, разумеется, за мастерового, у которого только и капитала, что руки да голова. Как водится, пойдут у них дети — мал мала меньше: чем тогда станут жить твои супруги? Ведь из ста примеров, сам знаешь это, разве один только выдается случай, чтобы работник сделался хозяином. А сколько же он заработает? Много-много двести—триста рублей. На эту сумму двое они еще проживут как-нибудь, а с семьей невозмож-

но. Нынче неостанет одного, завтра другого, послезавтра платье в заклад, потом салоп, а там и заложить больше нечего, и есть нечего... Домохозяин требует денег, квартира стоит нетопленная, дети плачут, жена охает. Горе возьмет мужа, отца семейства; выпьет он раз, чтобы заглушить его, выпьет другой, да и пойдет испивать, и жалованье его все уйдет в питейный дом. Понимаешь, что происходит вследствие этого, какая глубокая нищета водворяется в несчастном семействе, как проклинаят они свои дни, не осушая глаз, в каком мрачном виде представляется им будущность, что делается с детьми таких злополучных родителей? И кто же виновник этих мучений, где корень зла, кого не помянут они добром? Того, кто, думая сделать доброе дело, устроил их брак, нищую выдал замуж за бедняка. Понял ли ты, братец?

— Как не понять, ваше высококородие; мало ли нужды на свете! Да бог-то, отец наш милосердный, на что? Он птиц небесных питает.

— Хорошо, хорошо, знаю, что ты хочешь сказать. Устроить подобный брак — значит увеличить число бедных — это истина неоспоримая, не у нас одних, а во всей Европе. на всем земном шаре. Понимаешь? Когда я говорю, стало быть, так; мне все равно — это для твоей же пользы. Возьми себе в голову и то, что девочка, по твоим словам, бойкая и уже теперь смотрит не туда, куда должно. Это второе зло. Из нее уже никак не выйдет доброй, работающей, послушной жены, какую надобно мастеровому. Следовательно...

— Да что вы, сударь, ваше высококородие! — осмелился Саввушка прервать рассудительную речь господина Архаулова. — Не извольте опасаться. Я ее знал еще вот какой крохоткой, знал вот и этакой: не переродилась же она. Известно, слышит дурацкие речи — и заходил ветер в голове, а сердце у ней предоброе-доброе, поверьте моей совести, сударь Владимир Петрович: никакого афронта от нее не может произойти.

— Опять-таки, любезный, это одни предположения, на которых нельзя и не должно основываться. Я смотрю вперед и, поверь моей опытности, вижу дальше тебя. Ты, может быть, думаешь, что мне жаль денег; скажи, сколько надобно — сто, двести, триста, пятьсот рублей, — сейчас готовы. Ты знаешь, что я не отказываю никому; но всякая благотворительность должна быть разумным действием, а не безотчетным, необдуманным порывом сердца. Если я нередко помогаю ложной бедности, то есть людям, которые не заслуживают пособия, так это потому, что зло уже сделано, они уже неисправимы, но видеть начало зла и дать ему средства расти, увеличиваться — нет, это не в моих правилах, это легло бы у меня

на душе Пойми меня, любезный: пусть будет она одна несчастна, а не двое, не пять человек.

— Ваше высокородие, — прервал опять Саввушка, — ей-богу, осмелюсь сказать, вперед вы слишком заглядываете. Богу одному известно, что ждет нас. Не смею спорить с вами, где же нашему брату понимать все? Только уж позвольте мне этот грех, коли точно он грех, взять себе на душу. И не пройдет недели, сударь, ваше высокородие, как придем мы к вам с моей дочкой на поклон — поглядите тогда на нее: наверно одобрите и насчет поведения; а годика через два она же приедет к вам с молодым мужем благодарить своего благодетеля; а через пять-то лет, если бог потерпит грехам, за ваше здоровье денно и ночью будут молиться две или три ангельские души, отец с матерью да я, старик. Поверьте, сударь, моему простому, глупому, неученому разуму.

— Верю, что добрый человек, — и только. Быть просто добрым мало для того, чтобы благотворить, и ожидаемая польза может обратиться во вред. Это я уже объяснил тебе и доказал. Замечу еще, что напрасно ты беспокоишься об участи девочки: оставь ее идти своей дорогой; если она и падет и будет жертвой судьбы, то одна; а пожалуй (бывают и такие случаи), она пройдет этот путь спокойно, не подозревая лучшей жизни. В отсутствии сознания самих себя и заключается для многих людей счастье, то есть если, например, ты не понимаешь, что сделал что-нибудь дурное, так и совесть тебя не беспокоит. Понял? Теперь я сказал все. Поверь, что после ты поблагодаришь меня за то, что я не исполнил твоей просьбы. Ступай с богом. Это возьми себе на расходы.

И целковый подал он Саввушке.

Не хотелось безудаченному слушателю верить, чтобы только этим и кончилась речь его оратора, чтобы не оставалось более никакой надежды на перемену мыслей благодетеля, от доброты которого ожидалось так много. Все думается ему, что господин Архаулов непременно скажет: «Я пошутил, братец; вот тебе деньги — выручай свою дочку». Но минута идет за минутой, и много их прошло, а Владимир Петрович раскрывает рот лишь за тем, чтобы допить простывший кофе, и, по-видимому, вовсе не замечает присутствия Саввушки. Наконец, он позвонил, спросил одеваться и, взглянув на Саввушку, сказал что-то камердинеру. Этот последний дернул гостя за платье и указал глазами на дверь. Понятно. «Прощайте, ваше высокородие!»

Опять идет горемыка по тем же роскошно убранным комнатам и не видит ничего; опять обступают его в передней лакеи с расспросами, и он не помнит, что отвечает им.

— Выпей-ка водицы, — заботливо говорит Парфен: — вишь, как упарил тебя барин. Знать, рацею такую прочитал, что и в год не позабудешь. Хорошо?

— Хорошо, — говорит Саввушка и плетется на улицу «Что, уж не перевернулся ли свет вверх дном? Нет, все на своем месте — и дома, и люди. Что же это у меня голова идет кругом и перед глазами словно туман какой? Незадача, да и только! Вот что значит ученье-то: в чем хочешь уверит тебя и поперечить нельзя».

Сильный толчок прервал рассуждения Саввушки.

— Эк разинул рот-то: ворона влетит! — крикнул мимоходом разносчик с лотком, задев портного локтем.

— Зазевался маленько, любезный. В голове-то у меня... того... дребедень. Ты вот бежишь, знаешь куда, на барыш надеешься, а мне надеяться на что? Вон, извозчик едет — седока надеется залучить, а это сапожник с работой на рысях бежит в город — на деньжонки надеется; гляди, и барин-то идет бодрой походкой — тоже, я чай, на какой-нибудь интерес рассчитывает. У всех хоть мало-мальски есть надежда; плохо жить без нее на свете. А у меня-то какая? Куда теперь пойдешь, кого просить?

Остаток этого дня Саввушка просидел дома. Работа не шла ему на ум; на пищу не было позова, а думы, одна другой печальнее, приходили сами собою, незваные, и гнули седую голову. Около сумерек он опять пошел в Старую избу

Вот уже более часу стоит перед ним бутылка, а он еще и не принимался за нее, все смотрит по сторонам, как будто ожидая вчерашних сцен. Но сцены эти не повторялись, и вообще в заведении было и гостей и шума вполовину против вчерашнего. Из прежних посетителей Саввушка заметил одного только Феденьку, который был одет уже не в щегольское полукафтанье, а в старый затрапезный халат, распивал не дюжину, а одну бутылку, и то выпрошенную в долг у буфетчика, который сегодня не оказывал особенного внимания прокутившемуся гуляке.

Прошло еще с час; немало посетителей сменилось в заведении, а Саввушка и с места не трогался, и пива не пил. Лавочку стали запирают.

— Нет, видно, не придет моя Саша, — проговорил он со вздохом и побрел домой.

У ворот его дома, несмотря на поздний час, стоял кружок молодежи, которые с жаром разговаривали между собою.

— Что, и ты, верно, на свадьбе был? — спросила Саввушку одна из них.

— На какой?

— Да у нас в приходе была. Курлетова замуж свою воспитанницу выдала за какого-то судейского: парочка славная. Мы сейчас оттуда. Бал какой — музыка, танцы...

— Какая Курлетова? Та, что в Мещанской живет? — спросил Саввушка, вдруг озаренный счастливою мыслью.

— Ну да, она самая — Ольга Петровна, генеральша. Одну воспитанницу выдала, а другая на руках осталась; и ей приищет жениха. Добрая барыня, дай ей бог много лет здравствовать! Уж сколько сирот на своем веку пристроила к месту.

Саввушка принял к сведению это обстоятельство и решился на другой день попытать счастья — сходить с поклоном к госпоже Курлетовой. «Утро вечера мудренее; авось, господь не до конца прогневался на нас», — подумал он и лег, немного успокоенный.

Недалеко от Божедомки, в одной из Мещанских, стоял уютный деревянный дом с мезонином — жилище покровительницы бедных невест. На воротах значилось: «статской советницы»; но госпожу Курлетову все соседи на версту кругом называли не иначе, как «генеральша», а в глаза: «ваше превосходительство», и никто не смел усомниться в законности этого титула. Вдова, с изрядным независимым состоянием, она умела поставить себя в такое положение, что между светилами своего круга составляла звезду первой величины и занимала почетное место на всех балах и вечерах, на свадьбах, крестинах и похоронах. Находясь в тех почтенных летах, когда умная женщина перестает уже думать о замужестве, она обратила всю свою деятельность на бракосочетание других, — и можно сказать, что была свахою по страсти, без всяких корыстных видов, свахою в благородном значении этого слова, потому что не просто сватала, а «составляла партии». Все чающие супружества — девицы и зрелые девы, молодые вдовушки и молодящиеся вдовы, розовые юноши и основательные молодые люди, солидные холостяки и расчетливые вдовцы, — все у ней были на счету, и для каждого она, хотя мысленно, составляла «приличную партию». Для влюбленных она была настоящею благодетельною волшебницей. «Ольга Петровна! Составьте наше счастье», — умоляла ее парочка нежных голубков, к которым не благоволила судьба, и Ольга Петровна ездила, просила, переписывалась, убеждала, интриговала, словом, хлопотала до тех пор, пока желание влюбленных не увенчивалось успехом. «Ольга Петровна, — говорил ей какой-нибудь промотавшийся герой средней руки, — поправьте мою карьеру, остепените меня, финансы чертовски расстроены!» И Ольга Петровна искусными дипломатическими мерами сближала его с жаждущею

брака вдовою и соединяла их неразрывными узами. «Ольга Петровна! Как матери родной открываюсь вам: жить не могу без Вольдемара!» — жеманно и стараясь покраснеть, шептала ей перезрелая дева. И добрая покровительница употребляла всю свою изобретательность, чтобы вздохи девы обратились в томные нежности супруги. Мало того, про запас, на случай, у Ольги Петровны всегда были две-три воспитанницы, сироты или дочери небогатых родителей, и для каждой из них она умела найти хорошую партию. Скорее расчетливая, чем щедрая, Ольга Петровна не скупилась, однако, когда приходили к ней просить на приданое бедным невестам, и наделяла просительницу двумя-тремя поношенными платьями, старым бельем и даже деньгами; а если невеста была милостива собою, то нередко вызывалась быть у ней посаженою матерью и, как водится, не скупно одаривала названую новобрачную свою дочь.

К этой-то госпоже решился Саввушка идти с просьбою о своей Саше и уже заранее утешал себя мыслию, что авось, бог даст, крошечка его будет пристроена, что генеральша возьмет ее к себе в дом, обучит всему, может быть, и по-французскому, да и выдаст за хорошего человека, пожалуй, еще за благородного...

Просители генеральши разделялись на два разряда просто на бедных и на бедных с невестами. К первым она выходила сама в переднюю, последние допускались в залу. Старый дворецкий досконально расспросил Саввушку, кто он и за чем.

— Что же ты ее, дочь-то, не привел с собой? — заметил он с упреком, выслушав рассказ портного.

— Да она у места живет, нельзя, — отвечал Саввушка

— Как же я доложу генеральше?

— Так и скажите: отец, мол, пришел, а дочь явится после благодарить ваше превосходительство; он, мол, здешний обыватель — ведь я на Божедомке живу, у Дарьи Герасимовны, Саввушка, портной, может быть изволили слышать. Так и скажите: отец, мол, с слезным прошением на бедную невесту, а дочь, мол, после...

Убежденный этим доводом, дворецкий пошел докладывать и через несколько минут позвал Саввушку в залу.

Генеральша сидела вместе с какой-то молодой девушкой, вероятно, ее воспитанницей, судя по их взаимному обхождению. Окинув Саввушку взглядом и видимо довольная его грустно-почтительною наружностью, она приветливо спросила:

— Что тебе, старичок? Дочку замуж выдать собираешься? Хорошее дело.

— Так точно-с, ваше превосходительство. Только осмеюсь доложить, не родная она мне дочь да стала более родной. Извольте видеть, ваше превосходительство, как дело-то было...

И Саввушка рассказал генеральше известную нам историю Саши...

При словах «полпивная лавочка» Ольга Петровна вопросительно взглянула на молодую девушку.

— Je crois, maman, que c'est un cabaret¹, — отвечала та нараспев

— Нет, не кабаk, сударыня, — смело заметил Саввушка, поймав на лету знакомое ему слово. — Кабак совсем другое, у кого угодно извольте спросить; а это лавочка, заведением называется, народ хороший бывает, и из купечества много...

— Все-таки не хорошо девочке наряжаться в мужское платье и заходить в такое место, — возразила генеральша — Верно, она получила дурное воспитание?

— Какое, матушка, ваше превосходительство, воспитание! Известно, обучили кое-как грамоте да иголку в руках держать, и все тут воспитание. А девочка, смею доложить, добрая, с поведением...

— Что же я могу сделать для тебя?

— Заставьте за себя вечно бога молить, ваше превосходительство, будьте ей вместо матери, осчастливьте сироту.. если милость будет, к себе в дом ее возьмите: она лучше какой крепостной услужит вашему превосходительству.

— Как можно, чтобы я сделала из нее служанку! Который ей год?

— Четырнадцать лет минуло, ваше превосходительство

— Гм! Еще три-четыре года. К тому времени.. может быть, Картофелин Федя поправится, получит место. Это ничего, можно, — медленно проговорила генеральша, рассчитывая что-то, — притом же теперь и Поли нет; вместо нее было бы прекрасно, и Лизе веселей. Да, это можно устроить
А где служил ее отец?

— То есть, как же это, матушка, ваше превосходительство? — с недоумением спросил Саввушка, не поняв вопроса генеральши.

— Ну, в каком присутственном месте он служил?

— Помилуйте, ваше превосходительство! Ему ли было соваться в присутственные: раз выбрали было в цеховую, так насилу отбоярился. Я уж докладывал вашей милости: золотарь по дереву он был и, кабы не испивал, нажил бы копейку.

¹ Я думаю маменька, что это кабачок

— Так он был мастеровой, простой мастеровой? — сказала генеральша голосом, в котором слышалось изумление

— Мастеровой, как следует, ваше превосходительство, и отличный мастер своего дела.

— Стало быть, я не могу ничего сделать для тебя. А жаль, очень жаль! Вместо Поли я с удовольствием бы взяла.

— Возьмите, ваше превосходительство, возьмите, сударыня. Для меня-то ничего и не делайте, мне ничего не требуется, а сиротке благодеяние окажете.

— Не могу, мой милый, решительно не могу! Если бы ее отец имел звание... А то как можно, куда я пристрою ее — у меня нет таких партий!

— Ваше превосходительство, да вы сделайте из нее что угодно: на все способна.

— Ничего не могу. У меня и в дворне как кто хочет, так и женится. Да и какой пример подаст это другим, что скажут обо мне: мещанку воспитывает! Какая она воспитанница, как это можно!

— Ваше превосходительство! Для доброго дела все равны.. Она будет прислуживать вашей милости, день и ночь станет служить.. только спасите ее, не допустите до гибели!

— Ах, не могу, сказала, что не могу. Для своей горничной я буду приискивать партию — очень прилично это мне! Ты вот что сделай, старичок: возьми ее к себе, запиши кандидаткой на Шереметевские награды бедным невестам, приищи хорошего жениха, и приходите потом ко мне. Два года не увидишь, как пройдут. Чем буду в силах, я охотно помогу. А теперь нет... Это против моих правил.

V

Лето было уже на исходе и дарило москвичей последними красными деньками. Загородные гулянья пестрели народом. В Марьиной роще готовился «великолепный бриллиантовый фейерверк», с полковою музыкой и песенниками, с представлением девицы Розы на канате и опытами геркулесовской силы какого-то господина Александра на открытом месте. Бесплатное зрелище и ясный, теплый день привлекли в Марьину рощу тысячи народа.

Далеко разносятся песни голосистого хора, весело гремит музыка, перемежаясь разудалыми голосами песенников, разносчики бойко выкрикивают свои товары, народ жужжит как пчела, орехи щелкают, самовары кипят, раек тешит прибаутками толпу слушателей. Весело, очень весело;

а веселее всего то, что солнышко приветливо греет и землю и людей, что небо ясно, что деревья еще зеленеют, освеженные недавним дождем, и трава спорит с ними яркостью своего цвета, что вся природа как будто улыбается человеку и говорит. «Спеши наслаждаться жизнью, пока я еще не состарилась».

Как не спешить, особенно когда и в жизни-то подула уже ненастная осень! Поэтому не диво, что и Саввушка пригнулся в Марьину рощу, разумеется, не за тем, чтобы себя показать, а чтоб людей посмотреть. Сказать правду, у него и в мыслях не было таскаться по гуляню, да так случилось, что уж кстати было зайти сюда: в Останкино работу носил.

Не весел Саввушка, и гуляют одни его ноги, а не он. Смотрит на народ, на чужое веселье, да без толку: где не доглядит, а где и вовсе ничего не видит. Подойдет к хороводу, постоит, послушает, а спроси его, какую песню играли, наверно не умеет сказать; проберется к песенникам, постоит и у них, но уже не прищелкивает под песню в лад, как обыкновенно делывал прежде; вмешается в толпу, а зачем — и сам не знает. Переходя с места на место, он встретился с одним старым знакомым, когда-то закадычным другом, который был довольно навеселе и бросился обнимать Саввушку

— Друг сердечный, таракан запечный! — вскричал тот радостно. — Не чаял-то! Сколько лет, сколько зим! Ах, дружище! Здоров ли?

— Таскаю ноги помаленьку, — отвечал Саввушка.

— Да ты что-то постарел, похудел. Или так нахохлился, досада на сердце есть?

— Нет, ничего. Прощай, Петрович..

— Э, Саввушка, шалишь. У нас так не ходит, — настойчиво сказал Петрович, хватая своего сотоварища за руку. — Благо попался мне. Нет, брат, так не уйдешь от меня. Пойдем, выпьем. У меня еще рублишка с два осталось: протрем им глаза.

— Я не пью, отвяжись ты от меня, — с досадою проговорил Саввушка.

— Пока не поднесут. Знаем мы тебя, старый хрен. Ну идем проворнее, там и покалякаем.

— Право, не пью, Петрович; вот уже другой месяц капли в рот не брал. Спасибо на ласковом слове.

— Да что ты, опомнись! Зарок разве дал — так можно разрешить для такого случая.

— Нет, не зарок, а просто в горло нейдет, прощай, Петрович: мне некогда!

— Пропащий человек! Совсем пропащий! — с негодованием произнес Петрович, махнув рукою вслед Саввушке, ко-

торый почти бегом пустился от него в сторону, к Немецкому кладбищу, где собралась густая кучка народа.

Оттуда раздавались веселые звуки шарманки, и, продравшись сквозь толпу, Саввушка увидел, что играл итальянец по заказу одного тароватого господина, а ученая обезьяна представляла разные штуки. Поглазев минуты с две на это увеселение, он повернулся было, чтобы идти опять куда глаза глядят, как вдруг услышал свое имя, произнесенное кем-то в толпе зрителей. Он двинулся на голос и увидал Сашу. На этот раз она была одета не по-мужскому.

— Голубушка моя! Где ты досель пропадала? — вскричал Саввушка, обнимая девочку и выходя с нею из толпы.

— В ярмарку ездила: хозяин посылал, — отвечала Саша.

— А я уж искал, искал тебя — и по лавочкам, и по гуляньям, и на квартире на вашей был, не добился никакого толку, вот и здесь все глаза проглядел, все думаю, не встретится ли мне моя Саша. Ах ты, сироточка, сироточка! Одна ты здесь?

— Нет, с органом; да товарищ-то подгулял

— Да что так не весела? Здорова ли?

— Ничего, слава богу. На ярмарке гости все пить заставляли; плясала много...

— Ах, глупенькая, глупенькая! Хорошо ли это? Ты бы не пила!

— Насилкой заставляют, а то и денег не отдадут. А в Кунавине один купец так всю меня вином облил — противный этакой... Вот у цыган гораздо лучше житье; я пошла бы к ним, — они говорили, да нельзя, хозяин не отпускает. Только уж и у него ни за какие блага не останусь жить вишь, с чем вздумал подъезжать

Саввушка тяжело вздохнул и перекрестился.

— Ох, Саша, Саша! Спаси тебя господи от злых людей! Поедом они съедят тебя, сироточку; некому заступиться за тебя, горькую. Стар и глуп я, ничего не смогу сделать. За что же пропадаешь ты, бедняжечка!

— Да не пропаду, не печалься; сказала, что разбогатею скоро, брошу с шарманкой ходить. Купи-ка мне орешков хоть полфунтика. Купишь, Саввушка?

Саввушка поспешил исполнить просьбу своей любимицы, и девочка весело защелкала зубками, забыв недавнее огорчение. На расспросы Саввушки она отвечала шутками и, наконец, не переставая грызть орехи, принялась напевать вполголоса какую-то песенку.

— Дурочка несмысленная, — сказал Саввушка с упреком, — не то что видеть, и не понимаешь ты горя, не видишь

беды, что собирается над твоей головкой. Ох, сироточка, сироточка!

— Какое там еще горе выдумал! Скучный какой! Посмотри на людей-то: у всех, может быть, есть горе, да ведь никто не хнычет. Пойдем посмотрим представление, как на канате пляшут, — скоро начнется, вот и не будет скучно. Пойдешь?

— С тобой куда хочешь пойду; только и ты уважь меня. Сходим прежде на могилку к твоей матушке. Вон видишь за валом-то: там и лежит она. Пойдем, милочка! Ты, я чай, ни разу еще не навестила ее.

— После когда-нибудь, в другой раз, теперь не хочется, — отвечала Саша нерешительно, — пожалуй, еще товарищ хватится.

— Всего одна минута, два шага отсюда; успеешь и представление посмотреть, а шарманщик тебя не хватится. Пойдем, моя крошечка; утешь меня, вспомни родимую свою матушку, — умоляющим голосом сказал Саввушка и взял девочку за руку.

Саша нехотя последовала за ним.

Только один вал отделял поле разгульного веселья от тихого жилища смерти, и из рожи видны были мелькавшие по окраине кладбища кресты. Но такое близкое соседство, казалось, не мешало никому тешиться жизнью здесь, на одной стороне, и думать о жизни там, на другой. Думал ли о чем-нибудь Саввушка с своею спутницею, — неизвестно, но оба они шли молча. На гулянье только что зарождался еще вечер, на кладбище начиналась уже ночь. Широкие тени ложились между лесом крестов, ветвистыми березами и вербами; густой туман носился над влажною землею. Со стороны долетал отголосок говора и песен, слышался шум и гам, но на самом кладбище не было ни одной живой души.

— Как жутко здесь, я боюсь, — шептала Саша, робко следуя за своим вожатым и прижимаясь к нему.

— Ты к маменьке идешь, не к чужой; чего же бояться? — отвечал Саввушка, продолжая торопливо идти и сворачивая то в ту, то в другую сторону среди лабиринта могил, между которыми лишь одна память сердца могла отыскать свою, родную.

— Вот мы и пришли, — сказал он, подходя к едва заметной могиле, поросшей травой забвенья и необозначенной даже крестом. — Вот и матушка твоя родимая. Поклонись ей, Сашенька, попроси помолиться за тебя и сама помолись..

Набожно перекрестился Саввушка и поклонился до земли праху усопшей; слезинка блеснула в глазах девочки, когда она последовала его примеру.

— Молись, Саша, молись! Скажи: вот, мол, маменька, и я пришла к тебе в гости. Узнаешь ли свою дочку, благословишь ли меня, как благословила перед смертью? Зачем и на кого покинула ты свою Сашу? Живу я сироткой, у чужих людей, много вижу горя, а впереди готовлю еще больше, готовлю гибель, от своего от глупого от разума... Матушка, слышишь ли свою дочку? Слышишь ли меня, старика? Мне отдала ты ее на руки, перед богом поручился я за сироту, — и вот до чего довели ее недобрые люди.. Чай, тревожатся твои кости и в сырой земле, ноет душа, не легко тебе, может статься, тяжелее, чем было здесь, пока маялась на сем свете — да мне-то разве легче?.. Господи, господи, согрешил я перед тобою. Минуты спокойной нет моему сердцу, точно душу я христианскую загубил.

Но Саша, припав головкой к могиле матери, плакала навзрыд, целовала землю и лепетала «Маменька, голубушка, встань хоть на минуту!..»

Брызнули слезы из глаз и у Саввушки. Снова перекрестился он, обнял девочку и стал утешать ее:

— Плачь, крошечка, плачь! Услыхала тебя с небес матушка, молится она теперь за свою сироточку. Плачь, Саша — на радость тебе льются эти слезы, всякая слезинка принесет тебе год счастья... Послушай, моя ненаглядная крошечка: деньги, что должна ты хозяину, у меня готовы, — скопил по грошикам да по копеечкам. Отдай их ему, да и переходи жить ко мне. Сашенька, миточка моя! Я буду лелеять тебя пуще родной дочери, ночи все насквозь стану работать, лишь бы ты была спокойна да весела, всю жизнь в тебя положу. Слышишь, и матушка говорит тебе то же: не губи себя, дочка, не маленькая ты, все смыслишь, Сашенька!

Девочка продолжала рыдать и не отвечала ничего. Еще крепче обнял ее Саввушка, приподнял ее головку и поцелуями стер слезы, градом катившиеся из глаз Саши. Несвязным полусшепотом заговорила, наконец, и она; но ее речи мог расслышать один Саввушка.

Стемнело уже кругом, опустело и гулянье, когда они оставили могилу Сашиной матери. Шарманщик пришел домой один, без девочки.

VI

«Скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается» Легко сказать, что прошло с лишком четыре года со времени последнего описанного нами происшествия; но прошли они ведь не как один день, и много воды утекло в это время. Видите ли этого старичка, седого как лунь, порядочно сгор-

бившегося под тяжестью своих лет? Это Саввушка А де вушку, что сидит напротив него за шитьем, признает ли ваша память? Это Саша, теперь, впрочем, уже не просто Саша, а Александра Григорьевна. Красавицей ее нельзя назвать, а хороша, даже очень хороша, особенно милы глаза, которые она нет-нет да подымет от работы и посмотрит то в окно, то на Саввушку; взгляд этих глаз согревает сердце.

Старые знакомцы наши разговаривают. Саввушка, видимо, озабочен чем-то, да и Саша, кажется, тоже не очень спокойна.

— Что это сделалось с ним? — говорит Саввушка. — По сю пору нет. Ведь уж обед на дворе

— Он хотел зайти к кондитеру: может быть, и позамешкался там, — отвечала Саша.

— Зачем это к кондитеру? Уж не нанимать ли вздумал? Что за прихоти такие, что за банкеты?

— Ведь вы сами говорили, батюшка, что свадьбу надобно сыграть как следует, чтоб не стыдно было людей.

— Говорил? Да, точно, говорил. От старости да от радости и память совсем помешалась. Правда, что свадьбу следует сыграть, как должно. Отчего же и не сыграть? Ну, и кондитера можно нанять. А у Петра-то Васильевича родство все хорошее. Отчего не сыграть? Ведь ты не бесприданница какая: восемьсот рублей чистыми денежками. Дай бог царство небесное, рай пресветлый покойному графу, что всех сирот наделяет счастьем и будет наделять покон века! Есть где бедная невеста, записывай ее в Шереметевскую, и, коли бог благословит, выйдет она с награждением. Молись, Саша, за него, и детей своих учи молиться, и чтобы из роду в род пошло у нас его имя; каждый год панихиду служите по своему благодетеле; нищим подавайте милостыню за упокой его души; после бога и царя он дороже всех для вас.

— Ах, батюшка, когда вынимали билеты одной девушке, такой же круглой сироте, как я, вышло пятьсот рублей. Она в обморок упала от радости, так и вынесли ее на руках. Три года как была она сговорена за жениха; верно, добрый человек, что ждал столько времени.

— Известно, что добрый, вот как наш Петр Васильевич; ничего, говорит, мне не надо, ни приданого, ни денег, как есть, в одном платье беру. Да, знать, не следовало быть тому, и на твою долю бог послал. Право, как вспомнишь про все их старое, да посмотришь, что сделалось теперь, — так насилу верится, как могло все это случиться, точно сон какой!.. А уж куда как боялся я первый год: ну, думаю, соскучится, пожалуй, моя Саша, убежит опять к шарманщикам нет, никакой беды не случилось, только день ото дня радо-

вала ты меня больше и больше, — и выросла теперь, можно похвастать, и умница и красавица. Слава богу!

— Полноте, батюшка, хвалить: сглазите, пожалуй, — промолвила Саша, улыбаясь, — опять уйду.

— Извините, теперь я не пущу, — проговорил, показываясь в дверях молодой человек.

— Ах, Петр Васильевич! — сказали в один голос Саввушка и Саша. — Что так долго?

— Затолковался с кондитером: не берет меньше пятидесяти рублей. Ну, да зато уж хорошо будет.

— Все ли, по крайней мере, обделал, как должно? — заботливо спросил Саввушка.

— Почти все. Остается лишь купить перчатки, башмаки невесте да лент девицам. Это недолго — всего каких-нибудь полчаса.

— То-то полчаса: ты сам, брат, часовщик, должен соблюдать аккуратность. Завтра некогда будет возиться с этой капиталью.

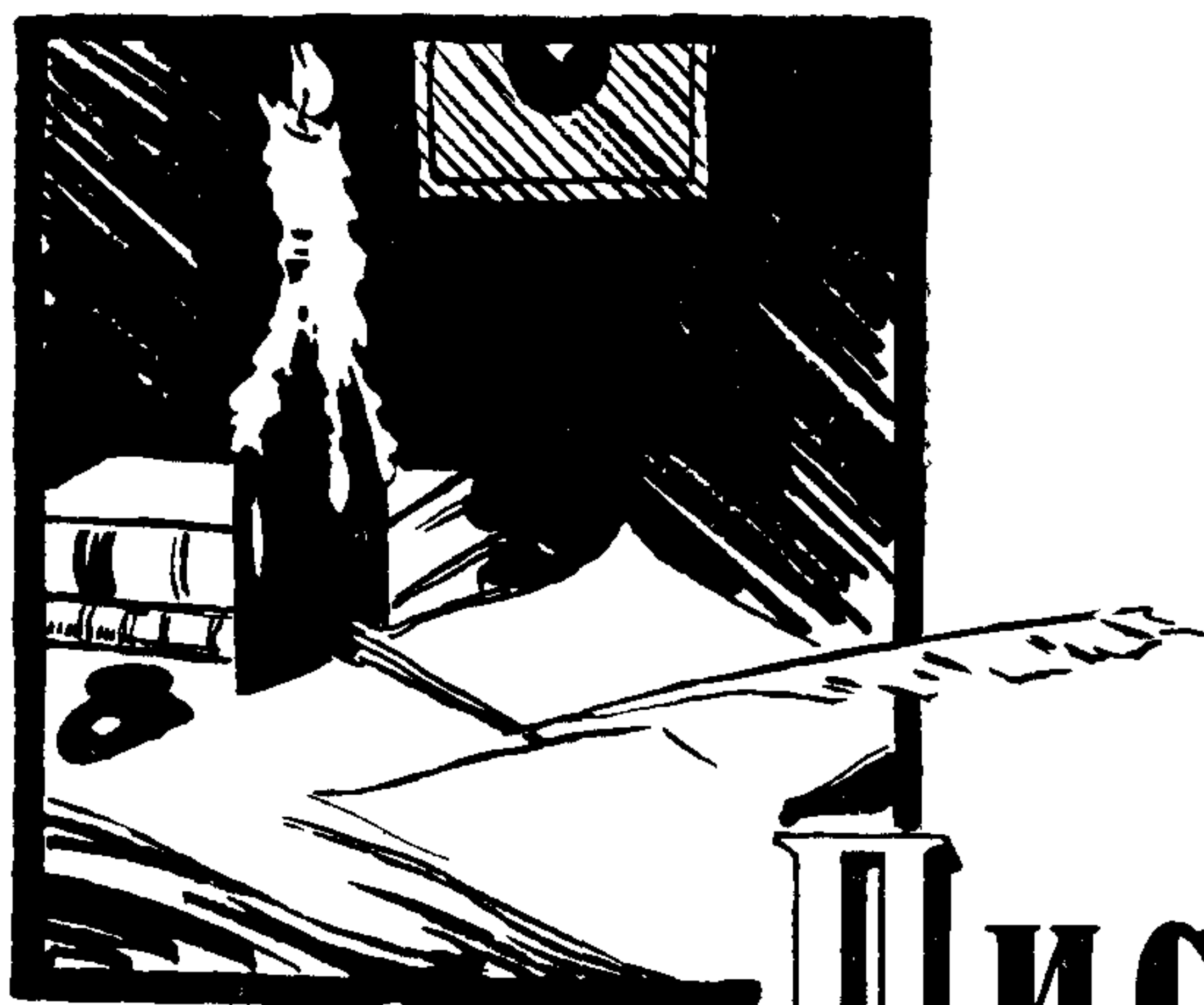
— Да вот еще, батюшка, хотел я посоветоваться с вами насчет музыки. К настоящей-то приступу нет: дай не дай двадцать пять рублей за вечер. Ну, ведь такая-то и не нужна нам: танцевать некому, а только для веселости одной. Я думаю, не взять ли лучше две шарманки с кларнетами, да у меня есть знакомый скрипач, поиграет из-за одного угощения

— Скрипач — это хорошо; а о шарманках отложи всякое попечение.

— Отчего же? Я выберу самых лучших.

— Никаких не надо. А отчего — спроси об этом завтра у своей молодой жены.

Тут и конец? — спросите вы. Да, тут и конец. Дальше не о чем рассказывать... Впрочем, если когда-нибудь летом, в праздничный день, вам случится быть на Лазаревом кладбище, погуляйте здесь, по этой «божьей ниве», на которой, как межи последнего владения человека на земле, разбросаны камни и кресты. Много собирается сюда гостей — навещать могилы близких сердцу и увлажить слезою память прошлого. Много живых приходит беседовать с мертвыми и в их безмолвном ответе искать надежды или утешения... На одной могилке, осененной деревянным черным крестом и ветвями молодой вербы, почти каждый праздник увидите семью, состоящую из отца с матерью и двух малюток. На кресте прочтете: «Нашему благодетелю и второму отцу». Это могила Саввушки. В гостях у него — Саша с мужем и детьми.



ПИСЬМА

«Пора нам жить и выполнять обязан-
ности человека, как гражданина, пора.
жизнь коротка
За работу, за работу, за мысли!»

И Кокорев.

НЕИЗВЕСТНОМУ ДРУГУ

№ 1 8 апреля 1843 г

Здравствуй, мой милый лентяй, здравствуй! О чем писать к тебе? Новостей океан, глупостей бездна, а ты просишь писать обо всем обстоятельно — не могу! Передам, что в силах. Прежде — о Рубини, этом итальянском соловье в 50 лет, но полном жизни, энергии, полном чудных звуков, которые льются в душу и заставляют трепетать Ты заплакал бы, если б слышал его арию из *Lucia di Lamermoor*, ты убил бы своего врага, если б увидал Рубини в «*Марино Фальери*»! Но ты лишен этого наслаждения: вероятно, у вас в уезде даются концерты, где доморощенные музыкальные гении из коллежских регистраторов и сентиментальных барышень подымут такой визг, такой гром, что боже упаси! Но к делу. Рубини давал в Москве три концерта и участвовал в концерте в пользу больного Гебеля Он собрал до 90 000 рублей — скажи это в уезде, будут ахать

№ 2 8 июля 1843 г

Прости, мой добрый, милый, душечка М., что я, занятый бездною дел, погруженный в сухие изыскания о Китае и Японии, в работу листов «Живописного обозрения», почти не отвечал на твои письма.. Подписывайся на «Китай» — там увидишь и мой труд, все стоит 5 р с или, может быть, даже дешевле. Но зато что за рисунки, раскрашенные в Париже! Роскошь! За медленность к «Живописному обозрению» приложится «Живописный листок» — великолепное прибавление, в котором, между прочим, будет помещен портрет Клеопатры — царицы красавиц Ты не можешь представить себе, что это за картина! Я по целым часам любовался ею у Дациаро. Это — неземная красота, о которой нам, смертным, не позволено мечтать.

Глядя на нее, я верил стихам Пушкина (в «Египетских ночах»), когда Клеопатра вызывает всех ценою жизни купить ее любовь

№ 3 17 августа 1844 г

Мои блистательные надежды лопнули вполовину. Банкротство книгопродавца Г. убило предприимчивость Полево-го, а следовательно, и С—а Работы покуда прекращаются. Впрочем, впереди много очаровательных замков *Laboga et srega*, будем повторять мы. Я надеюсь пробить себе дорогу в «Библиотеку», надеюсь держать экзамен на звание домашнего учителя, и, кроме того, в моем безденежном кармане родятся кое-какие спекуляции, которые обещают если не славу, то выгоды... Ну, женись же скорее, женись.. без шуток я верю в семейное счастье, верю, что оно существует, и не в одних романах. От нас самих зависит уметь наслаждаться жизнью, уметь жить..

№ 4 20 сентября 1844 г

Вот еще новости Погодин будет сам продолжать свой журнал *Аз многогрешный*, с помощью божией, надеюсь вступить в ряды его сотрудников, ратовать храбро за родимую Белокаменную. Я должен сделать это потому, что обстоятельства мешают мне присоединиться к партии Сен[ковск]ого. До свидания. Работать, работать, жить душой. Скорей, скорей, *dahin, dahin*. туда, туда, в тот край, где лавр и мирт растет и где нам сделают из них венки

№ 5 29 октября 1844 г

«Живописное обозрение» покуда прекратилось, потому что П[олев]ой близок к разорению и Ст[удитский], вероятно, возьмет его (то есть «Живописное обозрение») на свои руки Тогда я редактор! Линд скоро едет в Казань, где он получил место лектора английского языка, и, следовательно, наша переводная кампания прекращается, чему я отчасти и рад, потому что господа журналисты не любят выплачивать гонораров. «Китай» и «Япония» работаются, повесть моя, давно задуманная, тоже приходит к концу, и на днях я отправлюсь с нею к Погодину Самое важное событие в моей современной жизни — это переселение на край Москвы, противоположный тому, где я влачил горестное существование: я говорю про переезд к Черткову Вот уже с месяц, как я живу у этого молодого и ужасно богатого (100 тысяч в год дохода) джентльмена и работаю вместе с ним. Он пишет по поручению правительства «Историю дипломатических сношений Мальтийского ордена с Россией»; мне поручена разборка и обработка различных документов, исправление слога и т. п.

Жизнь у него довольно комфортабельная, и ваш слуга делается понемногу дипломатом.

Что тебе сказать еще? Мое сердце, моя голова больны скукою, а отчего — не знаю. Жизнь то хороша, как первый поцелуй, то глупа и приторна, как старая кокетка.

№ 6 19 ноября 1844 г

Скоро Новый год. Что сделали мы оба в старый, улетающий теперь в вечность? А оба надеялись, оба обещали друг другу жить не даром, не бездействовать, не спать. Тебе еще я готов простить, но себе — никак. Ты можешь иногда отдыхать, я — нет. Когда я родился, судьба дала мне несколько золотников ума, любви к прекрасному и больше ничего. С этими подарками не проживешь на безумной и дурной земле, их надобно обработать, развить, пустить в ход. Тогда можно надеяться на что-нибудь. Обстоятельства (глупое слово!) сделали этот год вполне високосным для меня; но от меня, от моей воли зависело прогнать их и не быть глупым ребенком. Жаль, что у нас нет никакой настойчивости, никакой твердости в характере. один должен бы поддерживать другого.

Сделай себе памятную книжку и на первом листе ее напиши:

Что ты, человек,
Когда ты только означаешь дни
Сном и обедом? Зверь, не больше, ты
Да, он, создавший нас с таким умом, что мы
Прошедшее и будущее видим, — он не для того
Нас одарил божественным умом,
Чтоб погубили мы его бесплодно!
И если робкое сомненье медлит делом
И гибнет в нерешительной тревоге —
Три четверти здесь трусости постыдной
И только четверть мудрости святой

(«Гамлет»)

№ 7 22 декабря 1844 г

Люблю советовать тебе, а сам не переменяюсь. Что делать: первое легче последнего. По-прежнему нерасчетлив, по-прежнему легкомыслен и только собираюсь жить. Если я переменялся в чем-нибудь, так это только в сердце.

Много горя, душевного и физического, перенес я в этот год — так много, что собираюсь писать роман под заглавием: «Черное время, или год жизни раба божия Ивана». Поверишь ли, что бывают минуты, когда я умираю, живу столько же, сколько лошадь. Мысли гуляют бог весть где, голова горит, прошедшее выходит из сердца, настоящее жмет его, будущее

заставляет плакать. Сделаю ли я что-нибудь, могу ли сделать, зачем буду жить — эти и тысячи подобных вопросов, глупых и умных, теснятся в голову.. Черные мысли! Прочь их! Я вполне убежден, что я гений посредственной руки; только вот что озадачивает меня все гении ужасные пьяницы, а я хмельного и в рот не беру Что прикажете делать?

№ 8 28 января 1845 г

..Много ли дает тебе литература? Разве ты не знаешь аксиомы, что все литераторы умирают с голоду — и если Иван Тимофеевич до сих пор уцелел, так только потому, что он не литератор, а поденщик, не мастер, а работник.

Желаешь ты мне в Новый год деятельности, а ее нет у меня в помине! Лень, застой души, сон способностей! Когда я встану и, уча других, выучусь сам? Грустно, скучно и досадно!..

№ 9 12 марта 1845 г

Что же планы? Или на новую жизнь сонная душа отозвалась одними фразами? А где же истинное чувство, где неуловимые впечатления взволнованного сердца? Мысль — облако; схватывай скорее его форму, оживотворяй его на бумаге, если не хочешь раскаиваться после Я знаю очень хорошо по себе, по своим ощущениям, что, как ни трудно выразить настоящее, как ни бессвязно бывает это выражение, но все же полнее, оживленнее воспоминаний, которые надобно нанизывать на нитку слов Надобно работать, непременно надобно. Чин хотя бы коллежского регистратора и 800 руб жалованья — вовсе не глупый предрассудок. Однажды навсегда прошу тебя сделаться немножко практическим человеком. Я бестолковее, безрассуднее тебя вдвое и с каждым днем убеждаюсь в необходимости поумнеть, применить теорию жизни к делу

Я кончаю «Японию» и принимаюсь за отделку (говоря технически — стирку) повести для «Москвитянина».

Планов, предприятий, надежд — много, и дай бог, чтобы хотя половина их осуществилась.

№ 10 21 марта 1845 г

Каждый из нас прежде всего принадлежит миру или частичке его — своему отечеству Кто больше сделает — больше славы, а сделать что-нибудь непременно надобно. Не в силах выдумать мы новых паров, но можем пустить в ход две, три благотворные мысли, можем работать хоть «в своем муравейнике». А круг семьянина тесен: он и она в первую пору, и они — новое поколение, плачущие и играющие в лошадки,

Тогдашний редактор
неоднократно писал
Марию и провозвещал мораль
в сафари, подражая тому
Редактору Школы, не
идея до В. Да перел
журнала, следовательно
успехов был.

И. Кокорев

после — вот все члены этого мирного государства. Итак, пора нам жить и выполнять обязанности человека, как гражданина; пора: жизнь коротка. За работу, за работу, за мысли!

№ 11. 26 апреля 1845 г

Грустная история! Все зовет нас к деятельности, кругом поднимаются мысли о назначении человека, спешит усовершенствоваться мир, а мы с тобой почиваем себе, да почиваем.. И что нам за нужда до людей! Пусть их суетятся, шумят, лишь нас не трогают и не мешают спать. А проснемся мы когда-нибудь? Конечно... без сомнения... один из нас читает «Пчелку», да два года, в день по строчке, переводит «Консуэло», а другой, красноречиво рассуждая о деятельности, отдыхает по месяцам и только собирается начать работать. Долой же эти пеленки ума, прочь сонливость и сборы, жизнь не ждет. Я начну готовить материал для будущих трудов, начну учиться, думать и производить круглым числом в неделю по статье — и дай бог, чтобы эти предположения не кончились, как и всегда, ничем, не остались на одной бумаге и чтобы в новый 1846 год нам не пришлось по-прежнему спрашивать: зачем жили мы? Такими очень хорошо тебе знакомыми проповедями надеюсь и стараюсь исправить я себя, лентяя, вполне.

Здоровье мое сильно расстраивается, душа болит и мелькает в суетах обыкновенной жизни, останавливающих ее развитие. Больно, М, думать о разочаровании, слишком странном, непонятном для меня, для моих лет и моего скептицизма.

Недавно крепко взгрустнулось мне о себе, о тебе и о всех, подобных нам. Я слушал Виардо-Гарсию (во втором концерте ее). Пела она, пела на языке незнакомом — кругом меня кричали: bravo, divina! — толковали про хорошенькое ее личико (которого моя близорукость не рассмотрела), судили, восхищались; а я молчал, прислушивался и зажимал чувство в груди, боясь, чтобы оно не вырвалось слезами. О чем? Не знаю. Запела Виардо «Соловья», мне сделалось полегче, повеселее, захопал я и закричал, как бывало прежде с тобою; отправился к театральному подъезду и, вместе с кучкою театролюбивых студентов, прокричал viva, viva!

№ 12 11 июня 1845 г

Я все-таки что-нибудь да делаю, тружусь, хотя невольно, принужденно, подгоняемый капризами судьбы, которой не угодно было пожаловать мне и сотни копеек дарового дохо-

да. . Любимое местопребывание мое — Марьиная роща, где я изучаю Русь в хороводных песнях.

19 июля. Окончательно, решительно берусь за повесть, представляю ее на благоусмотрение мудролюбивой и прозорливой редакции «Москвитянина» ..

№ 13 9 августа 1845 г.

...Давно ли беззаботные, с полной головой, свежим сердцем, пустым желудком и таковым же карманом бродили мы по родной и гостеприимной Москве? С небольшим год тому, и оба мы страшно нахмурились. я на деле, ты на словах О, pos miseros!! «Почетные граждане» мои еще не устроились, журнальные работы тоже. Всему виновата проклятая лень и вечное откладывание до завтра. Но надеюсь, клянусь и обещаю, что это было со мной в последний раз. Прощай, золотая молодость, состоящая в дурачествах, в спанье, в потере нравственных сил, в стремлении к пошлой жизни — и здравствуй, молодость настоящая, живая, согретая деятельностью, освеженная мыслью! В печку все старое, все пеленки, связывавшие нас, и давайте сюда непочатые сокровища, какие гаятся в глубине наших голов . О Москва и град N! вы спите теперь, а мы за вас бодрствуем, трудимся и думаем

Стойкович возвратился и месяца через два совершенно переселяется в Петербург на службу С его отъездом я остаюсь на волю одних своих сил. «Нравы» в печати. О «Живописном обозрении» начинаем сильно хлопотать.

18 августа. Пишу теперь программу объявления о «Нравах и обычаях» Адрес мой на Самотеке, в Волконском переулке, в доме Гольденштейна.

№ 14. 23 ноября 1846 г.

«Живописное обозрение» в 1847 году издаваться не будет . в этом году я не еду в Петербург. Здесь рассчитываю кроме «Москвитянина» на «Московский городской листок» и еще предстоит возможность написать «Китай» (для «Нравов и обычаев»), потому что Жоли, вероятно, поручит работу мне Выйдет на свет мой литературный первенец, повесть «Сибирка» Для «Современника» готовлю также статью В запасе проектов и планов множество, а на деле мало

№ 15 [Январь 1847 г.]

Пишу из вавилонского столпотворения, из хаоса племен и языков, куда забросила меня волна неожиданности — из малой Сибири, страны не льдов и снегов, а жаров (топят ужасно) и табачного дыму. Пишу наскоро, едва выпросив льготу и позволение, и могу сказать только следующее: 1-е, по приезде прямо ко мне, а не записку по городской почте:

Москва старее какого-нибудь N 2-е, хлопочу о найме джентльмена, который заменил бы меня в царской службе, но не знаю, как справлюсь с деньгами: обещал частичку Погодин, еще, может быть, достану где, на тебя (на малую толику — до 100 руб сер.) — не знаю — рассчитывать ли говорю начистую, без обиняков, скорее, и если не выедешь в назначенный срок, напиши Некогда

М П ПОГОДИНУ

№ 16 28 октября 1846 г

Милостивый государь Михаил Петрович!

Вчера я получил известие о Вашем приезде и жетании видеть меня, желание, поспешно исполнить которое я почел бы непременно долгом, если бы болезнь не осудила меня на безвыходное сиденье дома Жду, пока простуженная нога разрешит мне смотреть на белый свет не из одних окон, и первый мой выход будет к Вам. А до того времени позвольте, хотя письменно, поздравить Вас с благополучным (надеюсь) возвращением из стран далеких на Русь, в родимую Москву, и пожелать, чтобы Вы нашли все по старому, если были довольны им, или измененным, если оно не вполне удовлетворяло Вас.

Отчет в моих занятиях далеко не таков, каким я желал и надеялся его представить. виню в этом и себя и обстоятельства, чересчур враждебные ко мне в нынешнем году

1) Отрывки кончены; остается сделать одну обертку В счете с г. Семеном не было никаких поводов к спорам: за перебор листов он не поставил ничего, и даже с необыкновенной снисходительностью напечатал даром те пол-листа, где находятся заглавия и предисловие. Касательно же данных ему Вами вперед 50 руб. сер, он показал в счете только 9 р. 50 к сер, говоря, что остальные (40^{1/2}) Вы должны были уплатить ему за «Москвитянина» и что Вы сами, при отдаче денег, позволили сделать этот перевод Не имея насчет этого никаких данных, я должен был верить его слову и доставить счет в контору. Произведена ли его вся уплата — не знаю

2) Печатание «Рассказов о Суворове» двигалось очень медленно. отпечатано только 24 листа Теперь произошла небольшая задержка, потому что я не мог доставить наборщику начала статьи «Русские на горах Альпийских». Писал об этом к г. Студитскому, он велел обратиться в контору: но в 1844 году «Москвитянина», как назначил я, руководствуясь своей заметкой, не нашлось этой статьи Сегодня опять писал

в контору, прося г. Кораблева потрудиться просмотреть 1843 год, но еще не получил ответа. Рукописное окончание статьи мною совершенно исправлено.

3) Условленное сотрудничество мое в «Москвитяине», которое я думал начать со всем жаром новичка, со всем рвением человека, обязанного Вами, — увы! шло и идет чрезвычайно плачевно. Дней через десять после Вашего отъезда я сильно захворал, и это лишило меня не только возможности предложить свои услуги г. Студитскому, но и отняло все уроки (в том числе и рекомендованный Вами). Оправившись несколько, я принужден был по семейным делам провести более месяца вне Москвы, а по возвращении опять заболел. 8-я книжка «Москвитянина» приближалась уже к концу, когда, не дожидаясь совершенного выздоровления и личного свидания с Александром Ефимовичем, я написал к нему, прося располагать мною, как заблагорассудится, но, вероятно, слишком занятый, он не снабдил меня никакими инструкциями и лишь прислал несколько корректур.

Теперь нога подрезала меня.. Будь я фаталистом, право, можно бы подумать, что это какой-то черный год!. Разумеется, оттерпевшись наконец, я вправе требовать от природы, чтобы на зиму она сделала меня крепким, как мороз, и последние номера «Москвитянина» да будут началом моего журнального поприща, на котором уж конечно лучше лечь костью, чем осрамиться и ударить себя в грязь лицом.

Сколько времени возьмет у Вас это письмо! Извиняюсь в его огромности: рука расходилась, как говорит Ваш Малоросс (в одном из «Психологических явлений»)

Предоставляю первому моему появлению высказать те чувства глубочайшего уважения и преданности, какие питает к Вам, милостивый государь, Ваш покорнейший слуга

И. Кокорев

Р. С. Не имеете ли Вы каких дел с г. Семеном? Предупреждая банкротство, он заключил мировую сделку со всеми своими кредиторами, а типографию передал (за долг) зубному лекарю Жоли

№ 17. [Август 1847 г.]

М. г. Михаил Петрович!

По одному обстоятельству я должен быть у Вас безотлагательно, и буду; но наперед посылаю эти строки, которые выскажут то, что с трудом высказывается на словах, особенно у меня. Неприятно беспокоить Вас, но это единственное средство, и лучше прибегнуть к нему, чем после упрекать

себя, зачем не решился сделать этого и обрушил на себя неприятные последствия нерешительности. Я не мог погасить своего долга конторе, потому что жестоко ошибся и в расчетах и в надеждах. Некрасов заплатит по напечатании статьи (для пояснения должен заметить, что во время рекрутской истории он прислал мне 200 руб., которые до сих пор не уплачены, следовательно, на неприсылку остального гонорара за повесть, до напечатания ее, сетовать много нельзя). Энциклопедия наша не вышла в предположенный срок: я недели с две головы не поднимал, а прочие сотрудники замедлили статьями. Да и с выходом ее мои средства не увеличатся, потому что гонорар забран вперед не только за первый, но почти и за весь второй выпуск. Крайние сроки моего финансового улучшения — 15 или 20 сентября (Москва) и 10 октября (Петербург), а между тем настоящее положение таково, что один день значит очень, очень много. Припомните мое сибирское заключение: теперь почти то же самое, нет заключения, но неприятность, грозящая в виде полиции, стоит его. После рекрутского истощения, когда уже не было возможности и меры просить Ваших пособий, я занял под официальный документ (простую расписку, но засвидетельствованную полицией) 140 руб асс., уплатил было 50, остальные требуются, наступая на горло... Срок давно прошел. Обращаюсь к Вам, прошу сделаться моим кредитором на сумму хотя 20 руб. сер., остальные как-нибудь сколочу или упрошу отсрочить. Я не заставлю Вас сделаться строгим кредитором. уплатить вдруг конторе и Вам трудно, но вы назначьте, в какой из означенных сроков куда уплатить. Может быть, Вы с неудовольствием примете эту просьбу, и справедливо. но я сам с наименьшей неохотой делаю ее. Иначе решительно некуда обратиться. Исстари известно богатство литераторов; но между безденежьем и.. не приберу выражения — бесчестьем резко, а что-то вроде его — разница неизмеримая. Не краснея сознаюсь в бедности, но едва ли допущу себя до благочинных напоминаний о чести. Сделайте милость, не откажите. Если можно, не заставляйте меня иметь дело с конторою (в этом случае): всегда отказ, и исполнение скромной просьбы не лучше его. И те 50 руб. я получил в 5 раз, по кусочкам, из которых половина расплылась между рук. Что, если и Вы откажете? Боюсь думать об этом, а только усердно прошу о милости.

Преданный Вам *И Кокорев*

P. S. В «Записках о Екатерине» Гайскон, кажется, неверно: должно быть Гаскоин; но наверно не знаю, справлюсь. Лист еще на той неделе пойдет в печать. Свежая статья есть в «Смесь». Успею?

№ 18 13 ноября 1847 г

М. г. Михаил Петрович!

Знаю, что неисправному плательщику оказывают мало доверия, и все-таки осмеливаюсь обратиться к Вам с просьбой. «Живописная энциклопедия» (главный источник, доставляющий мне жизненные средства) выйдет во вторник 18 ноября; но, несмотря на такой короткий срок, г. Жоли ни за что не хочет изменить порядок расплаты, ссылаясь при этом на большие платежи, которые он должен был сделать в это время, так что я получу следуемые мне деньги (до 150 руб. асс.) во вторник, и получу наверно. Между тем дома по части средств и по части квартиры и у меня самого столько настоятельных нужд, что эти четыре дня должны быть для меня сущей каторгой. Могу ли надеяться и просить, чтобы Вы доверили мне на этот срок, то есть до вторника, 10 руб сер? Что они будут возвращены Вам в назначенное время — в этом ручается то, что я получу должную мне сумму, и, кроме того, необходимость поддержать свое честное слово.

...Вы сделали мне честь упомянуть мое имя в списке членов «Комитета редакции» возобновленного «Москвитянина». Отдел внутренних известий — мой, и я надеюсь, что Вы позволите мне распоряжаться им если не самовластно, то хотя на конституционных началах. Выбрать две статьи не мудрено; но надобно самому писать, составлять ежемесячную хронику (вроде «Заметок» «Современника», но в другом виде). Для «Смеси» для обозрения журналов — перо мое в Вашем распоряжении. Если угодно, «Наташа» (продолжение «Сибирки») представится на Ваше благоусмотрение. И все эти труды должны вознаграждаться умеренною платою не иначе как из долга, до совершенного погашения которого я не потребую от редакции ничего.. Последнее слово: не откажите на первую просьбу.

Преданный Вам *И. Кокорев.*

А. Ф. ВЕЛЬТМАНУ

№ 19 10 июля [1849 г.]

М. г. Александр Фомич!

Статья г. Преображенского написана так резко, что, вероятно, Вы обойдетесь с нею, как со статьею Тхоржевского. Предмет спора ее чисто хозяйственный, следовательно, место ей в «Смеси», а не в «Критике», как полагает автор. В «Критику» получены от Михаила Петровича два юридических разбора Капустина и второе письмо об «Истории русской церкви».

Нынешний номер богат легким чтением: не заблагорассудите ли Вы поэтому поместить в «Смеси» статью г. Студитского «О календарях», уже просмотренную Вами. Она бы уравновесила номер относительно серьезного чтения. Обзор «Москвитянина» за полугодие для «Московских ведомостей» составлен мною, остается только переписать.

Ваш покорнейший слуга *И. Кокорев*

БИОГРАФИЯ И. Т. КОКОРЕВА¹

Иван Тимофеевич Кокорев родился в Зарайске, Рязанской губернии в 1825 или 1826 году. Родители его были в то ли время или прежде крепостными дворовыми людьми полковника Д. В. Крюкова. В Москву привезен он двух лет, к старшему брату Николаю, занимавшемуся иконописанием и довольно хорошо ведшему свои дела. Покойная мать их так всегда выражалась о своих детях. «Николай был первый по Москве живописец, а Иван — первый сочинитель». Николай умер 13 лет назад. Кроме него, у Кокорева были еще три брата, из которых один поступил в военную службу. Иван Тимофеевич — самый младший из них.

Воспитание ему дал старший брат, бывший с 1834 года купеческим сыном. В этом году, семи лет, Кокорев поступил в Адриановское приходское училище, а потом в 3-е уездное училище. Воспоминанием этого времени остались после него два похвальных листа за успехи и поведение. По выходе из училища родные хотели сделать его иконописцем, по художеству брата, но он, как выразилась его мать, «и руками и ногами что вы, говорит, тянете меня в живописцы! Еще бы вы сделали меня кузнецом. В кузнецы не хочу и в живописцы не хочу». После этого упорного отказа, при содействии одного полюбившего его уездного учителя Смирнова и директора И. А. Старинкевича, его отдали во второй класс 2-й Московской гимназии, уже после экзаменов, на которые он почему-то не успел явиться. Памятью об этом времени осталась подаренная ему в третьем классе за успехи и благонравие книга, от которой уцелел один первый белый листок с подписью директора.

Учителя и товарищи все его любили. Учителя на vacation не отпускали от себя — так рассказывала мать его, — всегда брали с собой «Богатых и благородных отцов были дети — не возьмут на vacation, а его возьмут. Дал ему господь талант, можно ему создателя благодарить, не только ему, а и нам!» Так всегда заключала она свои рассказы. Без сомнения, учителя брали его не с собой, а давали ему случаи отправляться в деревни для занятий с учениками низших классов, детьми богатых родителей. Покойный отец его рассказывал наивно и с самодовольством, как он пришел раз к сыну в гимназию. «Взошел я, смотрю — Ванюшка

¹ Написанная В. А. Дементьевым биография Кокорева не отличается художественными достоинствами: автор ее не обладал, подобно Кокореву, литературным талантом. Ценность этого документа в другом — в многочисленных фактических данных, до сих пор остававшихся неизвестными и сохранных для нас близким другом писателя. Мы сочли возможным поэтому опубликовать его здесь в подлинном виде, с сохранением всех особенностей стиля прошлого века.

мой сидит и спрашивает из книги одного барчонка, а барчонок перед ним стоит Я после и спрашиваю Ивана, зачем это он перед тобой стоял? — Да ведь я, говорит, над ним набольший» Кокорев и сам любил светлые воспоминания этого времени Он не раз с удовольствием вспоминал, как после классов провожала его толпа товарищей, любивших его и заимствовавших от него познания, как, по чьей-то рекомендации, он переписывал стихотворения графини Е П Ростопчиной и как ему приятно было, когда она хвалила его за знание правописания Около этого же времени, в последнем (пятом) классе, он подружился с одним товарищем, дружба с которым сохранялась долго и после

Из гимназии он вышел из пятого класса по несостоятельности внести в гимназию определенную сумму в 1841 году

По смерти брата Ипполита Кокорев вместе с отцом и братьями причислен был к московскому мещанскому обществу

По выходе из гимназии, лет 15—16, не имея средств к жизни и, подобно многим молодым людям, увлекшись сценой, он хотел поступить в актеры и с просьбой об этом был у М Н Загоскина, тогдашнего директора театра Старый литератор обласкал его, разговорился с ним Кокорев, с целью показать себя, начал высказывать свои сведения по литературе и стремление быть литератором Загоскин ухватился за это, нарочно распространился с ним о литературе, чтоб лучше узнать своего собеседника, и, угадав в нем талант, дал ему совет посвятить себя литературе Тогда Кокорев весь отдался чтению, которое любил еще в гимназии, читал без разбора все, что попадет под руку, и запасся, конечно, поверхностными, но весьма разнообразными сведениями, нужными для журнальной деятельности

До начала своего литературного поприща, в 1847 году, он помещал мелочи в «Живописном обозрении», поправлял для него язык некоторых статей, держал корректуру. В 1845 году он занимался приведением в порядок разных исторических документов у А Д Черткова за хорошую плату и жил у него хорошо, посещал театры, концерты, жизнь вел трезвую.

В том же году Кокорев участвовал в планах разных изданий с А А Стойковичем, как то они предпринимали составить обширное и полнейшее сочинение о Кавказе по всем известным источникам, русским и иностранным, ссылаясь на отсутствие и потребность в подобной книге, что было в то время действительной правдой. План для этого составлен был дельный В книге своей они хотели представить древнейшую историю и отношения Кавказа к России, описание природы Кавказа, его статистику, современные подвиги русских, совершенные и совершаемые там, биографии вождей, огромное значение для России Закавказья, с заграничными политипажами, портретами, с надеждой перевода за границу и иностранных языки За пособием для осуществления этого плана касательно источников и поддержки они намерены были обратиться с просьбою к кавказскому наместнику, и уже приготовлены были рисунки и перечислены все источники, русские и иностранные, которыми можно было пользоваться

В 1845 же году Кокорев принимал участие в плане начавшегося было великолепного иллюстрированного издания А Семена и А Стойковича «Нравы, обычаи и памятники всех народов земного шара», которого вышел, кажется, только один том, и приготовил для второго тома огромную статью «Япония» Неизвестна судьба ее даже отрывков из нее не нашлось в его бумагах

В это именно время началась та страшная тоска и запущенность, которые впоследствии так развились в нем Вот что писал к нему Стойкович

«Что же делаете вы над собой, Иван Тимофеевич? Для чего сидите в воде и живете на досках и кирпичиках, как морская птица, для чего

ОЧЕРКИ

И

РАЗСКАЗЫ,

И. Т. Кокорева.

ЧАСТЬ I.

МОСКВА.

Въ Университетской Типографіи

1858

Титульный лист сочинений И. Т. Кокорева изд. 1858 г.

не придете сюда, ко мне на сушу — работать или ничего не делать, но в теплой комнате; кажется, я не приучал вас к пустым церемониям, когда они заходят за требования приличий между умными людьми. Приходите, у меня есть кресло, диван, горячий чай, теплая комната, шлафрок, соберитесь с силами. Если нужны материальные средства, чтоб сегодня — завтра занять вашим родителям другую квартиру, скажите — сколько нужно, у меня готовы. Пожалуйста, отбросьте заботы о том, что скажут, подумают — что подумаю, то и скажу. Поручите папеньке искать квартиру, а сами идите сюда со всеми материалами, кипами, везите их. Одни, двое, трое суток — и вы опять оправитесь. Занимайтесь сколько угодно, чем хотите, читайте, думайте. Если даже и срок не вышел, бросьте ваше болото»

А А. Стойкович нашел было ему место корректора в Петербурге при «Современнике», и Кокорев намерен был отправиться в Петербург, сильно рассчитывал на это место и был занят планами отправления, но надежды обманули его почему-то

В 1847 году напечатана в «Москвитяине» его первая большая повесть «Сибирка», мещанские очерки. С тех пор до самой смерти он был постоянным сотрудником «Москвитяина», при котором сначала был корректором, писал много рецензий, разных мелочей для «Смеси». Многие сцены «Сибирки» автор имел случай взять из действительности. В сибирке у него был М. П. Погодин и его друг, который рассказывал, что он никогда не видал Кокорева так довольным, как в это время, когда по мановению его, как старшины, громко раздавались стоголосым хором военные и всякие другие песни. Кокорев был в восторге от этого и раз даже решался поступить в военную службу. Поступил брат его.

Неизвестно, какие были и чем кончились любовные приключения Кокорева. В дневнике своем он упоминает об этой любви, как о важном влиянии на его нравственную сторону. Наивные, до смешного ревнивые письма этой девушки (она была горничная у бывшего директора училища живописи и ваяния Добровольского) доказывают ее неразвитую, но беззаветно преданную, положительную и своеобразную натуру. Среди хаоса бумаг одни эти письма и письма друга найдены в порядке, особо хранимые, значит, покойник всего более дорожил ими.

Между 1845—1847 гг. он намерен был, кажется, жениться на любимой им девушке, жизнь вел правильную, распределив время для занятий; даже начал приобретать привычки семейного человека, так у него приучен был черный кот всегда сидеть на столе во время его занятий. После 1847 года Кокорев не бывал уже ни в театрах, ни в концертах и начал очень опускаться.

Самое большое участие в судьбе Кокорева принимал М. П. Погодин. Содержание почти всех неделовых писем к нему — обещание исправиться. В бумагах Ивана Тимофеевича остались разные корректурные листы, заметки, выписки. Это — живая и разительная картина его внутреннего состояния, его дум и стремлений.

Приведем несколько известных нам данных из жизни Кокорева. Получив деньги, он часто если не всегда отправлялся точь-в-точь в такое заведение, в каком задумался над «красной шалью» его Саввушка, заговаривая со всяким дружелюбно о его участи и жизни, с тою только разницею, что проводил в заведении сутки, и двое, и более, пока не истощатся средства.

Когда Иван Тимофеевич был сотрудником «Москвитяина», его по делам журнала отыскивали иногда и типография и контора [За «Саввушкой», например, в продолжение почти целого года было, может быть, доста понуждений и записок от М. П. Погодина. Крайняя нужда заставляла его приниматься за окончание начатых статей или писать свои мелочи] (Вставлено М. П. Погодиным — Б. С.)

Конечно, причиной этому надо полагать и щекотливость самолюбия. Но что же делать, если, как он сам говорит где-то, — «несчастье, потрясение, борьба, всякий толчок одну душу освежает и укрепляет, и толкает вперед, а другую вконец губит». В последнее время несчастная привычка или страсть доводила его до крайностей

Лицо его и наружность с первого взгляда выражали кротость. Он был робок и застенчив, пока не начнет говорить, но когда вступал в разговор, то говорил кратко, умно и основательно. Праздных слов никогда, ни в каком состоянии не слышали от него, насмешки над кем-нибудь и осуждения, даже за глаза, тоже; разве когда уже был вполне уверен в намеренном зле. Всегда обвинял самого себя. Иногда только острил самым невинным образом, называя полового «баринном», «господином честным» или заботящегося о шике своих речей приятеля — собеседника — «маркизом», «денди», «ваше сиятельство»

Занимаясь корректурой по «Москвитянину», часто отправлялся вместе с наборщиками в какой-нибудь трактир к Петровским воротам пить чай. Тут он дружелюбно беседовал с наборщиками, с половыми, особенно с одним любимым им ярославцем, страстным любителем газет, и был вполне в своей тарелке — тихо весел и развязен, пробегал газеты московские, петербургские, «Полицейские ведомости», «Пчелу», одни держа в руке, другие под мышкой, третьи притиснув к столу локтем. Как сотрудник журнала и составитель внутренних известий, он всегда следил за всеми журналами и газетами, и привычка эта обратилась у него даже в страсть. Просматривал в газетах даже публикации, которые послужили ему содержанием одного очерка и о которых он часто писал для «Смеси», вооружаясь против афер, пуфов, французского духа и французской порчи. Замечал черты великодушия, правдивости, честности, самоотверженности в характере русского человека и с жаром писал о них.

Следя за журналами и даже сам мечтая со временем управлять редакцией какого-нибудь журнала, он знал отношения друг к другу многих журналистов и литераторов, разные редакционные анекдоты, подмечал журнальные осенние обещания, которые повторялись одними и теми же словами и не исполнялись. Был очень начитан и имел любовь к библиографии. Не написал во всю жизнь ни одного стиха. Стоял за чистоту русского языка и терпеть не мог употребления в нем иностранных слов, особенно «рефлексия» и «индивидуум». Имел русское сердце, русский склад ума и любовь к труду, но не мог управиться с этими силами. Предпринимал от бедности даже книжные спекуляции и ни одной не осуществил. После всякого уклонения от правильной жизни он вновь собирался с силами, писал статьи в газеты, составлял известия и фельетоны.

Всегда носил с собою книжку, в которой записывал услышанные слова и выражения, характеризующие какое-либо лицо или сословие, вписывал заметки на память — что делать, куда сходить. Раскладывал и рассчитывал предварительно суммы, которые следовало получить, на что употребить например купить атласу на жилет, сукна на сюртук, и редко выполнял эти раскладки. Нередко не исполнял обещаний, но всегда сильно беспокоился об исполнении данного слова и стремился быть вполне правдивым и добросовестным. После его смерти мать рассказывала, как он был скуп. «Поднимешь с полу какой клочок бумажки, — так она доказывала его скупость, — он и тот отнимет, взглянет, да все в сундук». Действительно он все в беспорядке и без разбору сваливал в сундук,* как будто надеясь когда-то разобрать, и не разобрал.

Бедное положение его часто доходило до того, что они с отцом свертывали несколько газет и относили в мелочную лавочку продать за гривенник на обертку. Часто и теперь, идя по московской улице, как будто все ожидаешь встретить его, в старой чуйке внакидку, сделанной из шинели, у которой отпорот капюшон, — идущего и жмущегося к стене,

всем дающего дорогу и приветствующего, как будто смешавшись: «А, здравствуйте, как вас бог милует?» Это его всегдашнее выражение. Квартира его в последние семь лет была на Самотеке, в Волконском переулке, в доме Гольденштейна. Стоило только взглянуть на эту квартиру, чтоб иметь полное понятие о последнем времени его жизни (Он никак не хотел расстаться с нею, хотя несколько раз был приглашаем в хорошие дома. — М. П.)

По смерти его найдено несколько планов и множество одних только названий задуманных рассказов и повестей. Замечательны из этих названий: «Слуга всем», «Победная голова», «Сиротинка», «Маленький человек».

Один его знакомый, видевшийся с ним недели за две до смерти, рассказывал, что Кокорев передавал ему свои планы, мечты и надежды, сожалел о незаконно растроченных силах и высказал при этом мысль, что эта растрата не коснулась духа. Вообще трудно было заметить в нем что-нибудь особенное, какую-нибудь перемену и какое-нибудь тяжелое предчувствие. Бойко-веселым он не бывал и прежде, а всегда почти скрытно-тосклив.

Отъезжая за границу, М. П. Погодин поручил ему наблюдение над изданием «Москвитянина» из оставленных материалов под руководством в нужных случаях профессоров С. П. Шевырева и В. Н. Лешкова, и он обещал и твердо решился ревностно заняться «Москвитянином». Но в первые же дни подпал обыкновенному искушению. Через неделю после этого он сделался болен. В самом начале болезни его видел один знакомый в каком-то странном положении: он был в комнате один, и все лицо его имело на себе признаки сильного внутреннего волнения; на вопрос о здоровье отвечал, что здоров, только вчера потерял деньги. Потерянная сумма была значительна, и знакомый, подумав, что эта потеря — причина его волнения, стал звать его отыскивать, но он проговорил только: «Что деньги? не надо! Ну, уж верно, как попал в эту грязь, так тут и погибнуть!» — и опустил лицом в подушку. Тут входит старик из заведения и подает найденные им деньги Кокореву. Он даже не поблагодарил старика, а, отложив деньги в сторону, облокотился на стол, опустив голову на руки.

Через день или два с ним сделался на улице удар, случившийся тут же отец и знакомые подняли его и отвели в квартиру. Раз он стал звать отца в полпивную лавочку близ Трубы, недалеко от которой он жил, зная, что отец его во всю жизнь не пил пива и вина и бывал в подобных заведениях разве случайно и по необходимости, и, несмотря на его сопротивление, убедил его идти с собою. Там они стали пить чай, и Кокорев грустно-задумчиво смотрел на разнородных посетителей заведения.

Мать рассказывала, как он в последнее время сделался с ней необыкновенно ласков, вставал по ночам, подходил к ней, сонной, становился перед ней на колени, плакал и целовал ее руки и не раз будил ее этим. Дней за пять до смерти начал он часто бредить. Дома не хотел лечиться, с неделю никакой пищи в рот не брал, в больницу тоже не хотел ехать. В бесспамятстве его усадили на извозчика конторщики «Москвитянина», несмотря на сопротивление, и привезли в Екатерининскую больницу. Вслед за ним пришел к нему в больницу знакомый N. Кокорев лежал недвижимо, вверх лицом, почти умирающий. Запах мускуса носился по комнате. N подошел к Ивану Тимофеевичу, который, взглянув, узнал его тотчас же. Ясно было, что он обрадовался, по лицу его пробежало живое выражение, и он прошептал «А, здравствуйте» — и начал искать рукою руки N. Тот подал ему, и он около часа не выпускал из своей. Все это время он беспрестанно что-то шептал, силился что-нибудь сказать. Можно было только расслушать раза три повторенное имя «Что Михаил Петрович?» и «Зачем меня сюда привезли?»

— Разве вам было лучше дома? — спросил знакомый.

— Как же, несравненно! — прошептал он. Ясно, что ему хотелось умереть в тех стенах, в которых он провел столько времени, столько пережил, передумал и перечувствовал. N показал ему на образ, и он прошептал на это «Все от своей глупости!»

По временам от сильной боли делал судорожные движения ногою и сжимал болезненно лицо. Скончался тихо, одиноко, между чужими лицами, даже знакомый его не дождался кончины его — 14 июня 1853 года, на 28-м году от рождения

И остался в больнице только клочок бумаги, на котором написано: *Constitutionis fortis, bibator*¹.

Отпевание тела было в церкви Екатерининской больницы. Память его почтили своим присутствием человека два-три из профессоров и ученых, узнавших о кончине из «Ведомостей». Гроб подняли и вынесли типографские наборщики, все так любившие покойника.

Похоронен на Лазаревском кладбище, так элегически описанном им в «Саввушке».

Может быть, кто-нибудь из москвичей, посещающих это «тихое жилище смерти, одним только валом отделяемое от поля разгульного веселья» Марьиной роши, с грустной думой остановится на его могиле. Наборщики поставили на ней крест, на нем начертано камнем, едва заметно, имя покойного.

В. ДЕМЕНТЬЕВ.

¹ Организм здоровый, алкоголик.

БЫТОПИСАТЕЛЬ МОСКВЫ

«Что Москва растет, так сказать, не по дням, а по часам, растет зданиями и народонаселением, что, неизменно сохраняя вековое свое значение, как сердца земли русской, как матушки-Москвы, она в то же время не перестает быть обширным рынком всей внутренней торговли государства и, вместе с тем, городом, сосредоточивающим в себе главные силы промышленной деятельности. все это, кажется, не требует доказательств. Стоит побывать в Кремле, прислушаться к говору народа, наполняющего его в торжественные дни, стоит взглянуть... на фабрики и заводы, которые Москва считает сотнями... стоит, наконец, поговорить с любым старожилом или посетить московские предместья — и значение коренного города России представится ясно, как нельзя более».

Эти слова, принадлежащие бытописателю Москвы И. Т. Кокореву, как будто сказаны сегодня, хотя они написаны сто лет назад.

Советскому читателю, наблюдающему развернувшееся ныне гигантское строительство столицы, не лишне вспомнить о бытовом укладе в былые времена. Очерки Кокорева о Москве 40-х годов, превосходно сделанные им зарисовки трудящегося люда представляют поэтому большой интерес.

В Д. Бонч-Бруевич пишет о том, с какой симпатией о таланте Кокорева отзывался В. И. Ленин: «Вот небольшой писатель совершенно забытый, а как необходимо было бы переиздать его «Саввушку». Это такая прелестная повесть! У него есть и другие, не сильные, но все-таки интересные бытовые рассказы. Вот таких писателей мы должны вытаскивать из забвения, собирать их произведения и обязательно публиковать отдельными томиками. Ведь это документы той эпохи...»¹

В предлагаемый вниманию читателя томик избранных произведений И. Т. Кокорева включены лучшие из его очерков и повестей.

Незавидна судьба писателя, «дерзнувшего вызвать наружу всё, что ежеминутно пред очами, и чего не зрят равнодушные очи, всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога, и крепкою силою неумолимого резца, дерзнувшего выставить их выпукло и ярко на всенародные очи!...»²

Приведенные слова Н. В. Гоголя как будто прямо относятся к Кокореву, литературная судьба которого весьма примечательна. Именно его

¹ В. Д. Бонч-Бруевич. Ленин о книгах и писателях «Литературная газета» № 48, 1955 г.

² Н. В. Гоголь. Мертвые души, гл. VII

творчество Н. А. Добролюбов назвал «грустной историей гибели таланта», и, как будет показано ниже, это было правдой.

Многие обстоятельства жизни писателя до сих пор не были известны. Кроме одной статьи, опубликованной в «Москвитянине» в 1853 году, другой литературы о нем по существу не было. Близкий его друг В. А. Деметьев писал биографию покойного; однако в изданное в 1858 году трехтомное собрание сочинений Кокорева она не вошла, а в издании 1932 года указано, что Деметьев «собирался написать подробную биографию Кокорева, но обещания своего так и не исполнил».

Недавно среди бумаг М. П. Погодина нами обнаружена биография И. Т. Кокорева, подписанная В. Деметьевым 9 мая 1854 года. Таким образом, обещание оказалось выполненным, и мы располагаем теперь более подробными данными о личности писателя. К сожалению, биограф не оставил нам описания его наружности, что, в связи с отсутствием портрета, затрудняет и поиски его.

Иван Тимофеевич Кокорев происходит из крепостных. Отец его был дворовым полковника Д. В. Крюкова, вольноотпущенным и приписанным к мещанскому сословию. Мать служила кухаркой. Из найденной теперь биографии видно, что родился Кокорев в Зарайске, Рязанской губернии, и был привезен в Москву в возрасте двух лет. Следовательно, к коренным москвичам его причисляли не вполне обоснованно. Также приходится подвергнуть пересмотру прочно установившуюся дату его рождения — 1826 год, число неизвестно. Найденный нами дневник Кокорева проливает свет и на этот вопрос. Так, 6 сентября 1845 года Кокорев записывает в дневнике: «Двадцать лет! Двадцать лет тому, в эти самые минуты, когда ты, беспечный, безжизненный, стараешься вызвать чувства из истомленного сердца, в эти минуты твоя мать, обессиленная предсмертными муками, молилась о твоей жизни, о твоем благополучном выходе на свет. И ты вышел, напутствуемый ее молитвами — ты вышел в жизнь.»

Таким образом, датой рождения Кокорева следует считать 6 сентября 1825 года.

Из дневниковых записей видно, как относился Кокорев к своей матери, к той, «о ком всегда будет помнить сердце».

Она также гордилась своими сыновьями, особенно Николаем — «первым по Москве живописцем» и младшим, Иваном, — «первым сочинителем».

Семи лет Иван был отдан в приходскую школу, откуда поступил в уездное училище, а затем во 2-ю Московскую гимназию. В пятом классе гимназии он близко сошелся с одним из товарищей по классу, дружбу с которым сохранил на всю жизнь. Письма Кокорева к этому другу М., оставшемуся неизвестным, ценны своей искренностью, правдивым изложением автобиографических и литературных фактов и, главное, честным отношением к своему человеческому долгу. Письма рисуют светлый образ молодого человека, жаждущего славы своему отечеству. В связи с общественным интересом, который имеют письма к неизвестному другу, некоторые из них включены в настоящее собрание сочинений.

Из-за недостатка средств юноше пришлось покинуть гимназию. Обратившись к директору театра — известному романисту М. Н. Загоскину с просьбой принять его на сцену, Кокорев неожиданно получил другой совет — посвятить себя литературе.

В 1843 году Кокорев уже сотрудничает в журнале «Живописное обозрение»; работает у профессора А. Д. Черткова по разборке и обработке исторических документов, вместе с А. А. Стойковичем работает над книгой о Кавказе, принимает участие в иллюстрированном издании А. Семенина — «Нравы, обычаи и памятники всех народов земного шара». Задумывает он и множество других дел. «Я надеюсь пробить себе дорогу в «Библиотеку», — пишет он, имея в виду журнал «Библиотека для чтения».

«Надеюсь держать экзамен на звание домашнего учителя»; «Надеюсь вступить в ряды его сотрудников», — говорит он о журнале М. П. Погодина «Москвитянин», добавляя, что собирается «ратовать храбро за родимую Белокаменную» (письмо от 20 сентября 1844 г.). «Впереди много очаровательных замков», — обобщает он свои стремления. «Работать, работать!» — вот основное его желание.

И Кокорев работает. Из письма к Погодину от 28 октября 1846 года видно, что в это время Кокорев уже стал сотрудником его журнала. «Условленное сотрудничество мое в «Москвитянине», которое я думал начать со всем жаром новичка, со всем рвением человека, обязанного Вами, — увы! шло и идет чрезвычайно плачевно». Помещаемые им в отделе «Смесь» заметки, рецензии, мелочи написаны явно по заказу и поражают своим необычайным разнообразием. Здесь и «Воззвание к крысоистребителям», и «Искусство наживать деньги способом простым, приятным и доступным всякому».

«Какой талант, какая поэзия может сохраниться в человеке, принужденном убиваться над такими предметами?.. Никто из читавших «Москвитянина» и любовавшихся рассказами Кокорева не предполагал, конечно, что этот же самый человек, тут же, через несколько страниц, смастерил какие-нибудь заметки о парикмахерском объявлении, о новом полнейшем оракуле.. и т. п. Грустно перебирать эти заметки в собрании сочинений Кокорева, грустно за него и горько на тех, кто его довел до таких занятий»¹.

В «Живописной энциклопедии» появляется его статья «Кабрера» — о герое партизанской войны в Испании времен Дон-Карлоса, там же — статья о Державине.

«Разве ты не знаешь аксиомы, — пишет он другу, — что все литераторы умирают с голоду, и если Иван Тимофеевич до сих пор уцелел, так только потому, что он не литератор, а поденщик, не мастер, а работник».

В 1847 году встал вопрос о призыве Кокорева в солдаты. Об этом он рассказывает так «Кроме меня назначен и средний брат (скрывшийся теперь!) Он не годился в прошлый набор, но, может быть, годится теперь. Он негодяй, следовательно, лучше попробовать поставить сперва его; если он окажется негодным, тогда я получу отсрочку для найма рекрута Покуда, до появления брата, я должен оставаться заложником»

Кокорева посадили в «сибирку» — специальную тюрьму для состоявших на рекрутской очереди Беглец-брат отыскался было, но оплошность старшего брата дала ему возможность уйти. Только 7 февраля (через месяц) все кончилось благополучно брат был отдан в солдаты

Кокорев написал повесть «Сибирка», которую считал своим первым художественным произведением. Она появилась в «Москвитянине» в 1847 году с подзаголовком «Мещанские очерки». Одному из действующих лиц повести даны имя и занятие брата: живописец Николай Тимофеевич. Повесть во многом автобиографична.

Один московский литератор рассказал о знакомстве с Кокоревым и о его жизни в Москве, в Волконском переулке.

«Я был душевно рад познакомиться с автором «Саввушки», «Кухарки» и многих других прекрасных рассказов, и отправился Ищу час, другой. никто и не слыхал такой фамилии. В целом квартале никто не знает человека, имя которого произносит с уважением по крайней мере целая треть читающей Руси

Как ни далеко Девичье поле, я возвращаюсь туда к редактору, и пускаюсь в новый путь с советом справиться в квартале. Пройдя по обширному грязному двору, отыскиваю, наконец, самую уединенную

¹ Н. А. Добролюбов Собр. соч. в трех томах, М., 1952, т. 2, стр. 503

избенку с двумя окнами, обращенными к забору, за конюшней, и отворяю двери копать, мрак ужаснул меня, несколько минут я не мог ничего разглядеть, задыхаясь от плотно сгустившегося воздуха, предметы мало-помалу яснее начали обозначаться. В углу на голом деревянном канapé отдыхал старик, белый как лушь. Глухой кашель душил его. Приподнимаясь с усилием, он несколько минут не мог сказать ни слова. Я предупредил его, прося сохранить свое положение. Ясно, я ошибся. Я просил извинения и, прощаясь, спросил не может ли он сказать мне, где живет г. Кокорев? В это время в двери соседней комнаты высунулась голова какого-то молодого человека, он вопросительно посмотрел на меня. Я повторил свой вопрос, прибавив Кокорева, писателя, сотрудника «Москвитянина».

— В таком случае я к вашим услугам, не угодно ли вам войти в мою комнату, — продолжал он, заметно смутившись.

Я повиновался.

Комната, в которую я вошел, освещалась двумя окнами; стул, столик, заваленный бумагами, кровать, из-под которой выглядывали книги и журналы, рядом с чернильницей — бутылка на столе, исправляющая должность отсутствующего подсвечника, — вот все, что я нашел в мастерской художника, в которой столько передумано, перечувствовано, художнически воспроизведено. Как много людей, бесплодно обременяющих землю своим жалким существованием, располагают богатыми средствами, не зная ни цены, ни прямого назначения их. . . а он, это благородное существо! . . . Мать — кухарка, отец — слабый, больной старик, не покидающий постели (вольнотпущенный); брат — извозчик. И не пасть, и самоотверженно, твердо нести крест свой и гордо торжествовать в борьбе с подвигом жизни, — какое веское, многоценное слово оставил он на память о себе быту, среди которого вырос Автор «Саввушки» не скоро умрет, принадлежа истории литературы. . . Я встречался с ним еще несколько раз. Последняя встреча испугала меня пламя таланта, сосредоточенное, безысходное страдание пожирало нежную организацию: он угасал заметно. Труды огромные истощали все его силы, убивали здоровье — и за все его вознаграждали даже как поденщика! Люди промышленные пользовались его страстью к литературе и крайностью положения»¹.

Эта жизнь в условиях крайней бедности иногда доводила его до отчаяния. Каким криком о помощи выглядит письмо Кокорева в редакцию «Москвитянина» с просьбой о выдаче ему десяти рублей! Фотокопию этого автографа мы приводим в этой книге.

В одном из писем к Погодину Кокорев объяснял причину невозможности явиться в редакцию. за отсутствием сапог. «М. г. Михаил Петрович! В силу сделанного мне Вами замечания спешу известить, что сегодня я не могу явиться к Вам не потому, чтоб был болен, а по самой пустой причине, мешающей, однако, совершить пешее хождение под Девичье [поле]. Удивляйтесь, а между тем это факт». В дневнике Кокорев записывает, что сидит, как на мели (потому что нигде не может показаться), почти в рубище, без теплой одежды в порядочный мороз. Он стал сомневаться в своих силах. Только самому себе мог доверить он следующую, почти трагическую записку: «Сколько времени пишу повесть, но как создается она! Неужели я без всякого дарования, обделен всеми талантами и гоюсь быть лишь корректором; неужели бесплодно прожито столько лет и душа не получила никакого развития?» Нет, напрасно было вину переносить на себя, когда виноваты были другие.

В неопубликованных дневниках М. П. Погодина за 1849—1850 годы сохранилось много лаконичных заметок, рисующих отношение редактора журнала к своему работнику. Основной тон их: «несносные докучки от

¹ «Пантеон», СПб, 1855, т. XXI, кн. 5, стр. 12—17 (без подписи).

Кокорева» То разговор об его похождениях, то он «пилит деньгами» Вот одна из записей 1850 года: «Кокорев пропал опять с корректурой. Предосадно Сперва я был в досаде, а потом внутри расхохотался. Точно как разбойники в Туретчине. Вот каковы сотрудники». Через несколько дней опять: «А Кокорева нет». Еще через пять дней: «Досада Кокорев» И наконец снова он «пропал, из ума не выходит. Что будешь делать?»

Совершенно иначе относились к Кокореву другие писатели.

Во время «рекрутского истощения», когда Кокорев «хлопотал о найме джентльмена, который заменил бы его в царской службе», он собирал для этого необходимую сумму денег занимал у Погодина, у своего друга и т. д. Редактор «Современника» Н. А. Некрасов прислал в это время ему из Петербурга двести рублей.

Хорошо относились к нему и писатели, вошедшие во вновь организованную редакцию «Москвитянина». После «допотопных стариков», как называл их Гоголь, «молодая редакция» заметно оживила журнал. На страницах его появились пьесы А. Н. Островского, повести А. Ф. Писемского, критические статьи А. А. Григорьева.

«В пору надежд, зеленых, как цвет обертки нашего милого «Москвитянина» 1851 года я оживал душою, я верил, я всеми отправлениями ррался навстречу к тем великим откровениям, которые сверкали в начинавшейся деятельности Островского, тем светлым ключам, которые били в «Тюфяке» и других вещах Писемского да в ярко талантливых и симпатических набросках Кокорева»¹. Аполлон Григорьев любил Кокорева как человека и очень ценил его дарование.

Сохранились отзывы о Кокореве И. С. Тургенева. В письме к С. Т. Аксакову от 29 июня 1853 года Тургенев писал: «Мне очень жаль, что Кокорев умер. Его «Саввушка» подавал большие надежды. Много в нем было теплоты и наблюдательности. Нездоровится нашим писателям!»² В письме к П. В. Анненкову от 9 июля 1853 года Тургенев почти теми же словами пожалел о нем: «Услышал о смерти Кокорева — я прочел «Саввушку» — и искренне пожалел о смерти автора. Много в нем было простоты и теплоты и — при всей наблюдательности — какой-то детски наивный и ясный взгляд на вещи. Жаль его!»³

Наконец, в статье, помещенной позже в «Отечественных записках» под псевдонимом Т. Л., он назвал Кокорева «замечательным дарованием».

Один только Погодин не понял этого или не хотел понять, не замечал таланта своего сотрудника, держал его, как говорится, в черном теле, на униженные просьбы о помощи отвечал копеечными подачками и постоянно сетовал на его «несносные докуки».

Правильно сказал о Кокореве Добролюбов, что «за него общество могло бы спросить отчета еще у когонибудь, кроме слепой и неразумной судьбы. Люди, эксплуатировавшие его, загубили его талант и самую жизнь».

Даже узнав за границей о смерти своего ближайшего сотрудника, Погодин сделал вид, что удивлен: «Третьего дня в берлинских газетах я увидел нечаянно, что Кокорев умер. Несчастный! Что с ним случилось?» Похоронить его было не на что. Он был погребен на деньги, выданные отцу его Елизаветой Фоминичной (тещей Погодина), — восемнадцать рублей.

Такова была незавидная судьба труженика литературы в крепостином обществе.

¹ А. Григорьев. Мои литературные и нравственные скитальчества. Материалы для биографии П., 1917, стр. 48.

² «Вестник Европы», 1894, февраль, стр. 476.

³ «Вопросы литературы», М., 1957, № 2, стр. 183.

Время, когда Кокорев писал свои очерки, — 40-е годы XIX века. В этот период получил наибольшее развитие и пользовался особенным успехом жанр «физиологических очерков», правдиво отражавших действительность. Героями этих очерков были главным образом так называемые люди «низшего звания». Кокореву принадлежит здесь большая и почетная роль, как одному из создателей жанра физиологического очерка и как зачинателю изображения в литературе трудящегося человека.

Попытки создания физиологических очерков городского типа имели место в начале 40-х годов и у буржуазно-дворянских писателей — у Греча («Картинки русских нравов», СПб, 1842), Булгарина («Очерки русских нравов», СПб, 1843) и др. Однако консерватизм, реакционное содержание булгаринских «Комаров» и других нравоописательских картинок Петербурга были осуждены Белинским, как «старые, давно известные или новые пустяки, не имеющие никакого достоинства, — как плевелы на поле русской литературы». Интересен отзыв критика и об очерках Москвы, изданных в это время М. Н. Загоскиным («Москва и москвичи», М, 1842—1844): «Считая неуместным слишком распространяться здесь об этом произведении, скажем только, что оно, несмотря на все свои достоинства, вполне оправдывающие высокую славу его сочинителя, имеет тот весьма важный недостаток, что в нем нет ни Москвы, ни москвичей».

Революционно-демократическая литература искала и находила новые формы и методы изучения жизни народа. «У нас совсем нет беллетристических произведений, — писал В. Г. Белинский, — которые бы, в форме путешествия, поездок, очерков, рассказов, описаний, познакомили с различными частями беспредельной и разнообразной России. Москва и Петербург, Казань и Харьков, Архангельск и Одесса — какие резкие контрасты! Какая пища для ума наблюдательного, для пера юмористического»¹.

Результатом изучения жизни трудящихся слоев населения явились физиологические очерки Некрасова, Кокорева, Даля и других писателей-разночинцев. В сборник произведений нового жанра «Физиология Петербурга» вошли «Петербургские углы» Н. А. Некрасова, «Петербургские шарманщики» Д. В. Григоровича, «Петербургский дворник» В. И. Луганского (Даля) и др.² Одновременно в Петербурге работал в жанре физиологического очерка петрашевец С. Ф. Дуров («Петербургский Ванька», «Халатник», «Тетенька» и др.)

В Москве появляются бытовые очерки Кокорева, рисующие жизнь тех социальных слоев, которые только начинали привлекать внимание писателей, — городской бедноты, мастеровых, мелких ремесленников. Характерной чертой этих очерков является выражение действительности, то есть именно то, что составляло основную задачу литературы, о чем говорил Белинский в статье «Русская литература в 1844 году»: «Теперь, слава богу! хотят видеть в книге не средство к приятному препровождению времени, а мысль, направление, мнение, истину, выражение действительности. Все это составляет характер последнего периода нашей литературы, которому тон и направление дали Гоголь и Лермонтов»³.

В очерковом жанре вообще, кроме уже названных, работали также И. И. Панаев, В. Г. Белинский, И. С. Тургенев и другие передовые писатели 40-х годов. И. С. Тургенев, например, предполагал в серии

¹ В. Г. Белинский. Собр. соч. в трех томах, М., 1948, т. II, стр. 755.

² «Физиология Петербурга», составленная из трудов русских литераторов, под редакцией Н. Некрасова. СПб, 1845.

³ В. Г. Белинский. Собр. соч. в трех томах, М., 1948, т. II, стр. 703—704.

очерков описать Петербург так же, как Кокорев — Москву. Интересно сравнить здесь планы этих книг.

Кокорев План книги о Москве

Путешествие по трактирам. Московские улицы. Очерки Замоскворечья Ночь в Кремле Загородные гулянья (окрестности Москвы Петровский парк, Архангельское, Кунцево, Кузьминки, Бутырки) Монастыри. Гостиницы и подворья Кладбища

Тургенев План книги о Петербурге

Галерная гавань Наиболее удаленная часть города. Сенная со всеми подробностями Один из больших домов на Гороховой Физиология Петербурга ночью (извозчик и т. д.) Толкучий рынок Апраксин дворец Бег по Неве Внутренняя физиология русских трактиров

Как видно из названий физиологических очерков, они посвящены описанию быта людей, профессии которых считались «низшими». В очерках Кокорева изображаются дворники, извозчики, кухарки, портные, сапожники, пильщики, половые — все те, кто своим трудом обслуживает городских жителей. Бедный люд, а не дворянско-барская Москва, — вот кто впервые в то время стал предметом литературы!

Это оскорбляло аристократические чувства некоторых газетных критиков, заставляло их удивляться, что есть писатели, которые не гнушаются писать о дворниках! Но очерки имели важное прогрессивное значение. Они показывали, что за внешним блеском фасадной империи скрывается ужасающая нищета трудящихся масс.

Показ современной действительности — вот огромная и благодарная тема для писателя, как понимал ее Кокорев. В одном из своих очерков он так и сказал о ней: «Животрепещущая современность раскидывается перед нами такой великолепной картиной, поражает столькими диковинами, что нет никакой возможности устоять против ее обольщений».

Сын народа, бедняк-разночинец, вечно нуждавшийся и знавший цену трудовой копейки, Кокорев жил в тесном и душном кругу бедноты. Этот круг, говорит его биограф, был и мучением его, и пищей его таланта. Отсюда он черпал свои наблюдения, когда бродил по московским улицам и рынкам, беседовал с людьми, слушал и запоминал. В письме другу он сообщает, что любимое местопребывание его — Марьино роща, где он изучает Русь в хороводных песнях.

Очерки Кокорева интересны не только в историко-литературном отношении, они ценны в первую очередь как бытовые страницы, рисующие Москву 40-х годов. Героями очерков и рассказов его выступают не богачи — «существователи», а бедняки — «действователи».

Мещанские нравы, жестокая борьба за существование, надругательство над человеческим достоинством изображены Кокоревым очень ярко. «Немногим было известно, — говорит Добролюбов, — что эти очерки, изображающие горькую бедность с честным трудом, а подчас и грязь, и забвение горя за чаркой — что все это — воспроизведение того, что со всех сторон обхватывало и сжимало жизнь самого автора. Он не издали, не в качестве диллетанта народности, не в часы досуга, не для художественного наслаждения наблюдал и воображал жизнь бедняков, с горем и часто с грехом пополам добывающих кусок хлеба. Он сам жил среди них, страдал с ними, был с ними связан кровно и неразрывно»¹.

Именно этим и объяснялось превосходное знание Москвы, которое обнаруживал Кокорев в своих очерках. Он стал подлинным бытописателем Москвы, по глубине наблюдений не имея себе равных.

Этим же объясняется и любовь к народу, к его тяжелой доле, которую показывает Кокорев в своих произведениях и которая придает его таланту настоящую гуманность. Даже сквозь юмор и шутку чувствуется боль за свой народ и видны слезы за его тяжкую участь. Почитайте,

¹ Н. А. Добролюбов Собр. соч. в трех томах, М., 1952, т. 2, стр. 500

с какой любовью он говорит об извозчике «Кто в эту пору появляется на помощь людям? — Ванька. Кто предлагает свои дешевые услуги скромным весельчакам, кто развозит их по ночлегам? — Ванька. А в слякоть, в метель, у кого находит успокоение усталый, продрогший пешеход? — У ваньки». Он обращается к кухарке «Поклон тебе, правая рука, усердная помощница всякой доброй хозяйки! Привет тебе!»

Рассказы Кокорева полны простоты и естественности, в них нет ничего натянутого, псевдонатурального, он рисовал всегда тот мир, который изучал и знал. Рассказы согреты теплым сочувствием к людям, оттого в них столько правды

В кратком предисловии к циклу рассказов «Русское сердце» он говорит «Такое заглавие я дал собранию небольших рассказов, основанных на истинных происшествиях, в которых является светлая сторона нашей народной жизни».

Представляет интерес также небольшая его сценка «Пчелиный разговор», относящаяся к 1850 году. Не будет ошибочным сказать, что это была первая попытка в литературе дать аллегория на устройство современного общества в образах трутней и рабочих пчел. Вспомним, что очерк К. Фохта «Государство пчел» вышел в свет в 1859 году, а знаменитый социально-политический памфлет Д. И. Писарева «Пчелы» — еще позже. Конечно, этот памфлет — произведение большой политической силы, но и улей Кокорева — картинка «темного царства» в миниатюре.

Талант писателя особенно проявился в его последней повести — «Саввушка». Цензурная история ее настолько интересна, что необходимо сказать о ней подробнее.

В августе 1847 года Кокорев писал М. П. Погодину: «Некрасов заплатит по напечатании статьи (для пояснения я должен заметить, что во время рекрутской истории он прислал мне 200 рублей, которые до сих пор не уплачены, следовательно, на неприсылку остального гонорара за повесть, до напечатания ее, сетовать много нельзя). Крайние сроки моего финансового улучшения — 15 или 20 октября (Москва) и 10 октября (Петербург)».

Очевидно, Кокорев ожидал гонорара за принятую Некрасовым повесть. Между тем в «Современнике» за 1847—1848 годы повесть И. Т. Кокорева не появилась. 20 сентября 1847 года в своем письме официальному редактору журнала А. В. Никитенко Некрасов сообщил, что он послал цензору Срезневскому повесть «Савка», но что она печататься не будет: «Я узнал, почтеннейший Александр Васильевич, что повесть «Савка» уже послана к Срезневскому, поэтому, кажется, теперь осталось одно средство предупредить его затруднение и напрасный испуг: потрудитесь написать к нему, что Вы сами нашли повесть «Савку» неудобною к печати в том виде, как она набрана, и потому просите его не трудиться напрасно читать ее, ибо она будет переделана или вовсе уничтожена. Это письмо — если Вы найдете нужным поступить так — пришлите ко мне, и я тотчас отправлю его к Срезневскому. Весь Ваш Н. Некрасов».

Из переписки Кокорева и Дементьева с Погодиным видно, что цензура в это время вообще не пропускала в печать описаний быта «низших сословий». Характеризуя действия цензуры в одном из писем к Погодину (1847 года), Кокорев писал «Ваша статья изранена, исковеркана до такой степени, что ее узнать нельзя. Доколе будет это?» Значит, даже статьи самого Погодина, этого столпа «официальной народности», подвергались жестокой цензурной правке. То же было и с художественными произведениями, не исключая и стихов. Так, в одном из писем Дементьева к Погодину говорится что «цензор выкинул в Русской словесности стихи Жадовской, где описывается быт крестьянина».

Долгое время не было установлено, о какой повести и какого именно автора писал Некрасов. Сопоставление некоторых фактов и обстоя-

тельств дают теперь возможность установить, что этой запрещенной повестью была «Саввушка» Кокорева. Об этом говорит, кроме цитированного письма об ожидаемом гонораре, еще и следующее после запрещения повести, над которой Кокорев так долго и упорно работал, он пережил сильное душевное потрясение. В Дементьев в биографии писателя говорит, что «после 1847 года Кокорев не бывал уже ни в театрах, ни в концертах и начал очень опускаться». Предполагавшийся переезд его в Петербург для работы в «Современнике» не состоялся. О «несчастных обстоятельствах», приведших Кокорева к неправильной жизни, говорил и Н. А. Добролюбов. Однако то, что цензура запрещала, — правдивое изображение быта крестьян («Антон Горемыка» Григоровича) и ремесленников («Саввушка» Кокорева) — нашло все же путь к читателю. Повесть Григоровича появилась в печати в том же 1847 году и была отмечена В. Белинским, М. Салтыковым-Щедриным и Л. Толстым. Повесть же Кокорева появилась через несколько лет, уже не в «Современнике», а в «Москвитянине».

Указывая на ряд истинно художественных мест повести, Аполлон Григорьев причислял ее к числу замечательнейших явлений литературы 1852 года. Эта повесть о военном и партикулярном портном Савве Силине — самое задушевное произведение Кокорева, о котором Тургенев сказал, что в нем чувствуется своеобразная «теплая струя, которая дается только особенной бытовой близостью автора к описываемым нравам». Но, кроме знакомства с нравами, приходится отметить и глубокое знание характеров, психологии героев, выписанных с настоящим мастерством.

Несмотря на незаконченное образование, Кокорев обнаруживает широкое знакомство с родной литературой. Мы находим у него такие крылатые фразы: «Какая смесь одежд, лиц и состояний!», «Дистанция огромного размера», «Галантерейное, черт возьми, обхождение», «Трех губернаторов обманул» и многое другое.

Приведем здесь только один отрывок из сказки, которую рассказывает Саввушка соседской дочери Саше.

«Жить жил, а служить нигде не служил храбрый рыцарь кавалер, мушиный царь, комариный государь, что тот ли колесный секретарь. Дворец у него без крыши, а по полу гуляют мыши, на часах стоят жуки и ружье держат у руки, как на караул отдадут, так со страху упадут, петух главный у него генерал — чем свет и заорал. Кафтан, сударыня ты моя, у нашего кавалера воздушный, воротник на кафтане еловый, обшлага сосновые, подбит ветром, оторочен снегом. Кушает он сено с хреном, солому с горчицею, лапти с патокой — кушанья все деликатные, три дня не ест, а в зубах ковыряет, гостей на пир созывает.»

Образ Саши наделен автором большой симпатией и вызывает сочувствие читателя. В повести «Саввушка» Кокорев впервые поднял энергичный голос в защиту женщины, гибнущей в условиях ложной семейной морали. Но это, пожалуй, и единственный протест, вырвавшийся у писателя. Как правильно отметил Добролюбов, «ни отчаянного стога, ни могучего проклятия, ни желчной кроваво оскорбляющей иронии — ни разу не вылетело из этого нежного, терпеливого сердца».

Несколько портит повесть также сентиментальный конец — сцена на кладбище.

Нельзя не отметить впервые публикуемые в данном собрании письма Кокорева к неизвестному другу. Они относятся к периоду, особенно трудному для писателя в материальном отношении (1843—1847 гг.), что видно также из писем его к М. П. Погодну.

Однако в письмах к неизвестному другу меньше всего жалоб на бедность. Наоборот, они полны неудовлетворенностью сделанным и призывами к выполнению своего гражданского долга. Письма показывают патриотизм автора, готовность и страстное желание сделать что-нибудь

для отечества, его трудолюбие и сознание ответственности перед литературой. Написанные хорошим литературным языком, с предельной искренностью и беспощадностью к самому себе, они являются примечательным человеческим документом.

Говоря вообще о литературном мастерстве Кокорева, нужно отметить его живой народный язык, насыщенный пословицами, прибаутками и поговорками. Кроме купческих, рыночных, торговых терминов и гостинодворских эпитетов, Кокорев часто вводит сложные словообразования, придающие говору народный характер: белотелец, кудрерусый, серокафтанник, намосквичиться. Кстати можно вспомнить возражения Кокорева против засилья иностранных слов в публикациях, вывесках и пр. Это можно объяснить отчасти влиянием официальной народности, типичной для «Москвитянина», в особенности, например, замена иностранных слов русскими: апломб — увескость, пейзаж — краевид, портрет — поличие и т. д.

К недостаткам стиля писателя можно отнести некоторую непоследовательность изложения, частые, иногда ненужные отступления, слащавость.

Следует отметить у Кокорева попытку примирения с действительностью, покорность судьбе. В этом сказался, по мнению Г. В. Плеханова, тот период в развитии наших образованных разночинцев, когда они совсем еще не имели веры в народную самодеятельность.

После Кокорева в жанре очерка работали писатели-народники: Г. И. Успенский, физиологические очерки которого имеют заглавия «Дворник», «Извозчик», «Старьевщик»; А. И. Левитов, изображавший «Нравы московских девственных улиц», Н. Н. Златовратский (очерки крестьянской общины), Ф. М. Решетников, не только отразивший страдания крестьянства в пореформенный период, но и резко обличавший самодержавие. Примечательно, что В. И. Ленин цитировал этнографический очерк Решетникова «Подлиповцы», а сочинения Левитова до сих пор находятся в его библиотеке в Кремле.

Таким образом, можно считать И. Т. Кокорева в какой-то мере предшественником беллетристов-народников, которые в дальнейшем с большой полнотой отразили быт трудовых людей города и деревни и с публицистическим пафосом обличали самодержавие. Не случайно один из них, Ф. Нефедов, почтил статью «Забытый писатель» десятилетнюю годовщину смерти И. Т. Кокорева.

Очерки и повести И. Т. Кокорева о Москве имеют большое познавательное значение для современного читателя, и в этом их особая ценность.

Б. СМИРЕНСКИЙ.

ПРИМЕЧАНИЯ

Сочинения И. Т. Кокорева были изданы сто лет назад — в 1858 г., в трех томах, под названием «Очерки и рассказы». Подготовку этого издания начал лично автор, тщательная работа которого видна при сопоставлении первопечатных журнальных текстов с трехтомным изданием.

В дальнейшем отдельно издавалась только повесть «Саввушка» — в «Народной библиотеке» в 1886 г и в издании А. С. Суворина в 1905 г. Вторично «Очерки и рассказы» Кокорева были изданы уже в наше время — в издательстве «Academia» в 1932 г, под редакцией и со вступительной статьей Н. С. Ашукина.

Повесть И. Т. Кокорева «Сибирка» включена в издание «Русские повести 40—50-х годов XIX века» (М., 1952). В издание «Русские очерки» (М., 1956) вошли «Извозчики — лихачи и ваньки» и «Ярославцы в Москве».

Настоящее собрание включает очерки о Москве и повести. В него включены также вновь найденные письма Кокорева к М. П. Погодину, А. Ф. Вельтману и неизвестному другу. Все эти письма публикуются впервые. В книгу включена также найденная нами биография И. Т. Кокорева, написанная В. А. Дементьевым в 1854 г.

Произведения печатаются по тексту посмертного собрания, сверенному с первоначальными текстами в журналах, так как автографы Кокорева не сохранились. Опечатки и искажения устранены. В связи с избранным характером очерков порядок расположения их принят тематический. Примечания под текстом произведений, за исключением переводов иностранных слов, принадлежат автору. Даты писем, взятые в квадратные скобки, автору не принадлежат.

При подготовке издания были использованы экземпляр трехтомника 1858 г и некоторые редкие иллюстрации из собрания Н. П. Смирнова-Сокольского, которому пользуюсь случаем выразить признательность.

ОЧЕРКИ

Мелкая промышленность в Москве

Впервые напечатан в журнале «Москвитянин», 1848 г, № 11, за подписью — И. Кокорев. Текст дается по изданию 1858 г «Очерки и рассказы», ч. I, стр. 77—94.

Пуан (пуант) — единица счета в карточной игре

Талан — участь, судьба

Снить — трава, иначе называется «борщевник»

Хандошкин И. Е. (1747—1804) — композитор, скрипач-виртуоз, автор сочинений, в которых использованы русские народные песни.

Извозчики — лихачи и ваньки

Впервые напечатан в «Москвитянине», 1849 г., ч. VI. Включен в книгу «Русские очерки», М., 1956, т. I, стр. 355. Здесь текст дается по изданию 1858 г., сверен с «Москвитянином».

Казенная мера — мера роста при призыве в солдаты.

Биржа — здесь стоянка извозчиков.

Подушные — подать или налог, которые крестьяне платили с каждого члена семьи мужского пола.

Дворник — здесь содержатель постоянного двора.

Будка — сторожевое помещение полицейского сторожа, «бутаря».

Живейный извозчик — легковой.

Калибер — дрожки, иначе назывались «гитара».

Старьевщик

Впервые напечатан в «Ведомостях московской городской полиции», 1852 г. Текст дается по изданию 1858 г.

Балкан — район Москвы, где расположены Мещанские улицы

Площадь, Старая площадь — между Ильинскими и Варварскими воротами.

Ярославцы в Москве

Впервые напечатан в «Москвитянине», 1849 г., ч. I, кн. 2, за подписью — И. Кокорев

Включен в книгу «Русские очерки», М., 1956, т. I, стр. 747. Здесь текст — по изданию 1858 г.

Офеня — коробейник, странствующий торговец галантереей, ситцами, лубочными книжками и картинками

Теньер Давид (1610—1690) — фламандский художник

Трактиры Бубнова, Морозова, Печкина — известные московские трактиры 40-х годов, популярные среди купцов, актеров и писателей

Трубка Жукова — табак фабрики В. Г. Жукова.

Пчелка — газета «Северная пчела».

Кухарка

Впервые напечатан в «Ведомостях московской городской полиции», 1852 г. Текст — по изданию 1858 г.

Тредиаковский В. К. (1703—1769) — поэт и теоретик литературы

Угодил под красную шапку — попал в солдаты.

Публикации и вывески

Впервые напечатан в «Москвитянине», 1850 г., ч. I, № 2—3. Здесь текст — по изданию 1858 г.

Политипаж — гравюра на дереве.

Знаменитый «Яр» — ресторан в Москве. Здесь часто бывал Пушкин с друзьями.

Бумагопрядильная литература — так Кокорев называет литературу, издававшуюся с целью наживы. Такую литературу ему приходилось рецензировать для «Москвитянина».

Боско Б. (1793—1863) — итальянский фокусник, гастролировавший в Москве.

С а м о в а р

Впервые напечатан в «Москвитянине», 1850 г, № 4, стр. 85—113, под названием «Похождения самовара», за подписью — И Кокорев
Здесь текст — по изданию 1858 г

Basso-cantante (итал) — бас контанте, мужской голос.

Mezzo-soprano (итал) — меццо сопрано, женский голос

Imitation de diamants (франц) — имитация бриллиантов

Сумароков А. П. (1717—1777) — писатель, драматург.

Глинка Ф. Н. (1786—1880) — поэт и публицист.

Логогриф — шарада, в которой заданное слово отыскивается путем исключения или перестановки букв

Анаграмма — перестановка букв в слове, образующая новое слово (пила — липа и т. п.)

Клопшток Ф. Г. (1724—1803) — немецкий поэт.

Кубовый — темно-синий цвет.

En negligé (франц) — небрежно

Сологуб В. А. (1813—1882) — писатель

Кирейка — лисий тулуп, покрытый сукном

Козлов И. И. (1779—1840) — поэт, автор романтической поэмы «Чернец» и др.

Ч а й в М о с к в е

Впервые напечатан в «Москвитянине», 1848 г, № 4, стр. 33—39, за подписью — И Кокорев
Текст — по изданию 1858 г

Ab ovo (лат) — с начала.

С б о р н о е в о с к р е с е н ь е

Впервые напечатан в журнале «Москвитянин», 1849 г, № 6, в разделе «Московская летопись», под заглавием «Сборное воскресенье в Москве», за подписью — И Кокорев
Очерки о сборном воскресенье были напечатаны также в «Московском городском листке», 1847 г, № 39, за подписью И С, и в «Москвитянине», 1850 г, № 7, за подписью Л Мея

Сборное воскресенье — так называлось первое воскресенье великого поста, в которое устраивались традиционная распродажа животных и птичий базар
Описанная Кокоревым торговля в Охотном ряду в 80-х годах была переведена на Трубную площадь

Раек — ящик с передвижными картинками, которые показывались на гуляньях и базарах.

Доезжачий — охотник, управляющий псарями.

Кулачные и петушинные бои, собачьи и медвежьи травли — излюбленные виды зрелищ в старой Москве

ПОВЕСТИ

Сибирка

Впервые напечатана в «Москвитянине», 1847 г, ч I, за подписью — И Кокорев, с подзаголовком «Мещанские очерки» При включении в собрание сочинений Кокорев отредактировал повесть заново, внося многочисленные стилистические изменения Здесь текст дается по изданию 1858 г Тот же текст приведен в «Русских повестях 40—50-х годов XIX века», М, 1952, т II, стр 617—662

Троицкая застава — переименована позже в Крестовскую (ныне Ярославское шоссе)

Слушай! — переключка часовых в ночное время

«Парижские тайны» — мещанский роман Эжена Сю (1804—1857).

Нотации — здесь ноты

Распуколка — почка цветка

Иван Яковлевич (Корейша) — известный юродивый «прорицатель» в старой Москве (умер в 1861 г)

Эсмеральда, Феб — персонажи романа В Гюго «Собор Парижской богородицы».

Приказная пиявка от Иверских ворот — На месте Воскресенских ворот, где была часовня с иконой Иверской богородицы, по утрам толпились выгнанные со службы «приказные пиявки», писавшие просьбы и прошения.

История Наташи — Кокорев собирался писать продолжение «Сибирки» — рассказ «Наташа» (письмо М П Погодину от 13 ноября 1847 г)

Саввушка

Повесть написана в 1847 г и предназначалась для журнала «Современник», однако не была пропущена цензурой

Впервые напечатана с подзаголовком «Рассказ» в «Москвитянине», 1852 г, № 15, стр. 49—92, и № 16, стр 121—176 Дважды издана отдельно в «Народной библиотеке», М, 1886 г, и в издательстве А С Суворина, СПб, 1905 г Здесь текст дается по изданию 1858 г, сверен с журналом

Буки, покой — славянские названия букв «б» и «п»

Шампольон Ж. Ф (1790—1832) — французский ученый-египтолог, открывший ключ к чтению иероглифов.

Галенок — порция чаю

Фризка — фризская шинель

По крючку на брата — Крючок — мера для продажи водки — кружка с крючкообразной ручкой

Катит под Новинское — на гулянье в район Новинского бульвара

Под колокол — палатка в виде колокола, где торговали водкой

Засидки вечеров — начало работы ремесленников в начале сентября

Метет улицу. — Задержанных ночью нарушителей порядка полиция заставляла по утрам мести улицы.

Конюшню показать — выпороть на конюшне

Падит! — крик извозчика, предупреждающий пешехода.

Щепетильный товар — мелочный товар, продаваемый коробейниками, офейями.

Маюкон — сорт китайского чая.

Хмыл — пламя, *хмыл все взял* — все сгорело

Осталось в газетах, выехал в Ростов. — В газетах печатались списки прибывших и убывших

Шконтик — бочонок.

Шереметевские награды — так назывались денежные пособия осиротевшим невестам, выдаваемые приютом графа Н. П. Шереметева. Последний учредил эти пособия по завещанию своей жены, бывшей крепостной актрисы крестьянки Параши Жемчуговой

Гулянье в Марьиной роще. — В противоположность «барскому» гулянию в Сокольниках 1 мая, гулянье в Марьиной роще в так называемый семик (на седьмой неделе после пасхи, в день поминовения усопших) было гулянием народным.

Лазарево кладбище — в Марьиной роще, названо по кладбищенской церкви Лазаря На этом кладбище похоронен И. Т. Кокорев

ПИСЬМА

Неизвестному другу

Письма И. Т. Кокорева неизвестному другу, скрытому под буквой М, в оригинале до нас не дошли. Копии хранятся в архиве М. П. Погодина в рукописном отделе Государственной библиотеки СССР имени Ленина.

№ 1 *Рубини* Джованни Баттиста (1795—1854) — знаменитый итальянский певец, тенор, гастролировал в Москве

Лючия ди Ламермур — опера (1835) итальянского композитора Г. Доницетти (1797—1848).

Фальери Марино (1274—1355) — венецианский дож, глава заговора 1355 г. Казнен вместе со своими сообщниками

Гебель Франц-Ксавер (1787—1843) — пианист, дирижер и композитор, с 1817 г. жил в Москве, где давал концерты камерной музыки

№ 2 *Изыскания о Китае и Японии* — Из статей Кокорева известна только статья о Японии, написанная для издания «Нравы и обычаи народов земного шара», М., 1845

«*Живописное обозрение*» — иллюстрированный журнал, издававшийся А. Семеном с 1835 по 1844 г.

«*Не отвечал на твои письма*». — Письма М к Кокореву не сохранились

Рисунки, раскрашенные в Париже. — Издание А. Семена и А. Стойковича «Нравы и обычаи» было богато иллюстрировано, что отмечал В. Г. Белинский

Даццаро — магазин гравюр и открыток на Кузнецком мосту

№ 3. *Полевой Н. А.* (1796—1846) — журналист, писатель.

Labora et spera (лат.) — трудись и надейся

«*Библиотека для чтения*» — журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод — наиболее распространенный журнал 30—60-х годов, издававшийся А. Смирдиным в Петербурге и ориентированный главным образом на провинциального читателя, редактор — О. И. Сенковский

Экзамен на звание домашнего учителя — Кокорев постоянно давал домашние уроки

№ 4 *Погодин М П* (1800—1875) — издатель журнала «Москвитянин» в 1841—1856 гг

Сенковский О. И. (1800—1858) — писатель, востоковед, редактор журнала «Библиотека для чтения» с 1834 г, псевдоним — «барон Брамбеус».

Dahin, dahin (нем.) — туда, туда.

№ 5 *Ст[ойкович] А. А* — один из издателей «Нравов и обычаев» (см выше)

Линд — переводчик с английского языка.

Китай и Япония. — Статья Кокорева о Китае неизвестна.

Повесть моя. — О какой повести говорит Кокорев в этом письме, установить не удалось

Чертков А. Д. (1789—1858) — историк и археолог, с 1847 г — президент Общества истории и древностей российских.

Мальтийский орден — духовно-рыцарский орден (объединение), названный по имени острова Мальта В 1798 г император Павел I был избран великим магистром (начальником) ордена

№ 6 «*Гамлет*» — Цитата взята из монолога Гамлета в 4-м акте (сцена 4)

№ 7 «*Черное время.*» — Имеется в виду тяжелое для Кокорева время, описанное в письме № 16

№ 8 *Поденщик.* — В другом месте Кокорев говорит. «статья — товаря — мастеровой».

№ 10 *Не в силах выдумать новых паров.* — В очерке «Публикации и вывески» Кокорев описывает паровоз — «эмблему нашего парового века».

№ 11 «*Консуэло*» — роман (1843) французской писательницы Жорж Санд (1804—1876).

Виардо Гарсия-Мишель Полина (1821—1910) — певица, гастролировала в Москве

№ 13 *O, nos miseros!* (лат) — О, наше несчастье!

«*Почетные граждане.*» — Это произведение Кокорева не сохранилось.

№ 14 «*Московский городской листок*» — газета, в которой сотрудничали виднейшие московские писатели того времени — граф В Сологуб, А Вельтман, князь П Вяземский, С. Шевырев, К. Павлова, Ю. Жадовская и другие

Жоли — издатель «Живописной энциклопедии».

№ 15 Письмо написано из «сибирки», где Кокорев содержался, состоя на рекрутской очереди, в 1847 г.

М П. Погодину

Подлинники писем И Т Кокорева хранятся в архиве М П. Погодина в рукописном отделе Государственной библиотеки СССР имени Ленина Они раскрывают истинные взаимоотношения сотрудника с редактором журнала В письмах упоминаются Гоголь, Тургенев, Некрасов, Григорович, Жуковский, Загоскин и другие. Из 90 писем здесь публикуются три

№ 16 *Известие о Вашем приезде* — Погодин вернулся из заграничного путешествия в октябре 1846 г.

Семен А. — издатель, владелец типографии, которую передал за долги Жоли.

«Рассказы о Суворове» «Рассказы старого война о Суворове, в 3 книгах», издание журнала «Москвитянин», М, 1847

Студитский Александр Ефимович — член редакции «Москвитянина» в 1846 г.

№ 17. *Записки о Екатерине* — напечатанные в «Москвитянине» (1847 г, ч II, стр 65—95) «Записки о Екатерине Великой состоявшего при ее особе статс-секретаря и кавалера Адриана Моисеевича Грибовского, с присоединением отрывков из его жизни»

№ 18 «Комитет редакции» — Объявление о «Возобновленном «Москвитянине» на 1848 год» гласило «Приглашено несколько лиц, взявших в свое ведение разные отделения, и Комитет редакции образовался так академик М П Погодин — по части истории, профессор С П. Шевырев — литературы русской и иностранной, И М Снегирев — достопримечательности Москвы, И Т Кокорев — внутренние известия, А А Григорьев — европейское обозрение».

А Ф Вельтману

Подлинник письма хранится в архиве Вельтмана в рукописном отделе Государственной библиотеки СССР имени Ленина

№ 19 *Вельтман А Ф.* (1800—1870) — помощник редактора «Москвитянина», романист, автор «Приключений, почерпнутых из моря житейского» и др.

Тхоржевский И. Ф. — литератор

«История русской церкви» — имеются в виду «Письма по поводу рецензий на историю русской церкви», напечатанные в «Москвитянине» в 1849 г, № 11 и 18.

БИОГРАФИЯ

Рукопись биографии И. Т Кокорева хранится в архиве М П. Погодина в рукописном отделе Государственной библиотеки СССР имени Ленина Содержит вставки, сделанные рукою Погодина

Ростопчина Е. П. (1811—1858) — поэтесса, писала также повести и комедии

Загоскин М. Н. (1789—1852) — директор московских государственных театров с 1831 по 1842 г, автор исторических романов «Юрий Милославский», «Рославлев», «Аскольдова могила», «Брынский лес» и др

«Современник» — литературный и общественно-политический журнал издававшийся в Петербурге с 1836 по 1866 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Очерки о Москве

Мелкая промышленность в Москве	5
Извозчики — лихачи и ваньки	14
Старьевщик	23
Ярославцы в Москве	30
Кухарка	39
Публикации и вывески	61
Самовар	77
Чай в Москве	102
Сборное воскресенье	108

Повести

Сибирка	121
Саввушка	168

Письма

Неизвестному другу	243
М П Погодину	250
А. Ф Вельтману	253
Биография И Т Кокорева	255
Бытописатель Москвы — послесловие <i>Б Смиренского</i>	262
Примечания	272

И о к о р е в
Иван Тимофеевич.
МОСКВА Сороковых годов

* * *

Редактор В Фирсов
Художник П Зубченков.
Техн редактор И. Егорова

* * *

Издательство «Московский рабочий»,
Москва, проезд Владимирова, 6.

Л32764 Подписано к печати 17/III 1959 г.
Формат бумаги 60×92¹/₁₆ Бум. л 8,75.
Печ л 175 Уч изд л 16,75
Тираж 100 000 (1 й завод 1—60 000)
Цена — в ледериновом переплете 7 р.,
в коленкоровом — 6 р. 50 к Зак. 963.

Типография изд ва «Московский рабочий»,
Москва Петровка 17